

Выстрел в Метехи

РДХ

михаил лухвичишви







Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1976



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

*Михаил
Лохвицкий*

ВЫСТРЕЛ В МЕТЕХИ

ПОВЕСТЬ
О ЛАДО КЕЦХОВЕЛИ

Второе издание

Михаил Лохвицкий (Аджук-гирей) в годы Великой Отечественной войны был матросом, морским десантником. Прежде чем стать профессиональным писателем, долго работал журналистом. Сейчас он живет в Грузии, с которой сроднился, изучив грузинский язык. Лохвицкий — автор многих книг. Его перу принадлежат роман «Неизвестный», повесть о буднях аварийно-спасательного судна «Человек в море», сборники повестей и рассказов на современную тему — «Люди горных кряжей», «Шумит Кура», «Заклятие цыганки», «Охота на тигра» и другие.

Герой новой повести писателя — неуловимый и бесстрашный, романтичный и обаятельный грузинский революционер Ладо Кецховели. Читатель увидит Тифлис, Баку и Киев конца прошлого — начала нынешнего века, ощутит своеобразный колорит этих южных городов, станет свидетелем яркой, трагически оборвавшейся жизни молодого революционера, острой схватки его с жапдармским ротмистром Луничем, из которой Кецховели выйдет победителем.

Книга, тепло встреченная читателями, выходит вторым изданием.

**„Итак, борьба! Борьба!.. И если
я паду в этой борьбе, не печалься;
всякое дело, а тем более свобода
требует жертв“.**

*(Из письма Ладо Кецзовели
брату Сандро, 26 июля 1903 г.)*

Возвращение

Ладо возвращался на Кавказ. Омнибус остановился на размытой ливнем дороге. Пришлось стоять, пока из ближайшей деревни не пригнали быков. Возле Коби, перед подъемом на Крестовый перевал, омнибус задержали казаки. Урядник сказал, что омнибус пойдет дальше, как только прогонят арестованных. Из-за деревни вывели толпу осетин и чеченцев, связанных за руки по трое, по четверо. Позади везли на арбе мертвых. Конные казаки подгопляли арестованных пагайками. По обочинам, с детьми на руках бежали грузинки-горянки, проклинаая предков и потомков осетин, чеченцев и всех других нехристей.

Старик, стоявший у омнибуса, объяснил, что казаки ведут участников набега.

— Князя Чоникашвили паняли наших в чабаны, гнать овец на зимние пастбища, и там вторглись в чеченские земли, а чеченцы сговорились с осетинами, задумали отомстить нам.

— Куда их ведут?— спросил Ладо.

— Хотели в Тифлис, а теперь распоряжение пришло — во Владикавказ,

Седобородое лицо старика казалось знакомым. Не у него ли Ладю ночевал два года назад, когда бежал из Тифлиса в Баку, а из Баку перебирался во Владикавказ? Боясь, что станут осматривать омнибусы и кареты, он раздобыл крестьянскую одежду и пошел по Военно-Грузинской дороге пешком, останавливаясь в саклях мохевцев, осетин и чечепцев. Повсюду, не спрашивая, кто он, ему давали почлег и выкладывали на стол гостевой запас, который имеется даже в самом бедном доме для нежданного пришельца, щедро поили пивом. Чтобы сварить пиво, горцу нужно вырастить ячмень, а ячмень выращивают, повисая на веревке, разрыхляя скудную землю крутого обрыва мотыгой, заталкивая каждое зернышко в почву пальцем. Может быть, горцы потому и отличаются достоинством, честностью и прямоотой, что вся их жизнь проходит под тенью смерти. Разрыхляя почву для посева, того и гляди сорвешься, упадешь в пропасть. И не забывай поглядывать по сторонам — если появится враг, успеешь доползти до ружья. А враг — такой же горец, только он говорит на другом наречии, молится Аллаху, призывает на помощь в горе своем Мухаммеда, читает саят аль-хаджа, молитву об исполнении желания, а ты молишься Богу и, прося защиты у святого Георгия, зажигаешь свечу перед иконой. Лучшее поле, лучшее пастбище и у тебя, и у врага твоего отбирают князья, но свой единоверец-князь кажется тебе ближе врага-бедняка, и вы враждуете, называя человека другой народности бранимым презрительным словом, все стычки свои разрешаете пулей и кинжалом, а потом и тебя, и твоего врага казак избивают нагайками, и чиновники, говорящие на непонятном языке, называют вас разбойниками, судят и отправляют на каторгу.

6 Омнибус медленно полз к туманной седловине

перевала. Внизу, по ту сторону перевала,— деревня Млети. Там Ладо тоже ночевал и за скудным ужином долго толковал с крестьянами. Он не мог забыть, как полиция и казаки избивали нагайками и рубили шашками кондукторов и кучеров тифлисской конки, которых Ладо поднял на забастовку, мучился нобоищем, каждую ночь вспоминая израпечных, избитых людей. Крестьянам Ладо говорил о мести — они должны не только сообща защищаться от князя, владельца этих мест, но и сами нападать на него, на его слуг.

Если бы удалось сегодня започевать в Млети и снова встретиться с теми крестьянами, Ладо начал бы разговор с другого, с того, что им надо прежде всего полюбить простых ингушей, не называть нечестивцами, нехристями чеченцев, не передразнивать говор осетин, признать братьями бедняков армян и русских и понять, что у обездоленных есть только один враг — тот, кто всех их грабит и притесняет.

В Тифлис приехали затемно. Выйдя из омнибуса, Ладо посмотрел на оживленный, освещенный газовыми фонарями Головинский проспект. Возле Разгонной почты уютилось несколько лавок. Одна была открыта. Ладо купил хлеб, свой любимый тушинский сыр, остановил проезжавшего извозчика и поехал на железнодорожный вокзал. Кучер не оборачивался, и Ладо на темных улицах отламывал хлеб и сыр и бросал кусочки в рот.

Кое-где выросли новые дома. Город за последние годы стал отстраиваться, расти. Города меняются скорее, чем люди, потому что люди, перебираясь в новый дом, переносят в него старые привычки. А может, он и ошибается — пышнее время сильно разрушает прежний уклад.

— По Михайловскому или через Кирочную? — спросил кучер.

— Через Кпрочную.

Михайловский проспект слишком многолюден. До чего иногда все это надоедает! То, что несколько лет назад вызывало азарт, привлекало, понемногу превратилось в привычку, а привычка — тяжелое бремя. Двойная жизнь нелегка. Или Ладо слишком много вкладывает в свою игру? Порой ловит себя на том, что, изображая для окружающих дьякона или кунца, он и мыслить начинает как священнослужитель или делец. А от фамилии своей — Кецевели Ладо, кажется, совсем отвык.

Подъехали к вокзалу. Ладо послал кучера купить ему билет до Баку. Кучер принес билет, получил па водку и остался доволен щедрым господином.

В купе вагона сидел красивый, словно на парном молоке взращенный блондин, он был хорошо, с рассчитанной небрежностью одет, гладко причесан, серые глаза умны, на щеках румянец. Обычно такие люди поздно стареют, и даже в восемьдесят лет на их лице не бывает морщин.

— Добрый вечер, — поздоровался Ладо, — разрешите представиться: Николай Абрамович Меликов, бакинский домовладелец.

— Костровский. Инженер. Еду поступать на службу в Товарищество братьев Нобель.

— О-о, завидная перспектива! — Ладо бросил на полку баул и снял шляпу. — Устал. Родственники, друзья, рестораны! Еле вырвался.

— Да, по вас заметно, что кутили.

Костровский оживился и принялся расспрашивать о Баку. Ладо удовлетворил его любопытство. Да, инженер не ошибается, Баку действительно один из крупнейших в мире нефтяных центров. До кризиса промыслы давали более половины миро-

вой добычи. Приблизительный доход, полученный в прошлом году братьями Нобель...

По коридору прошелся смуглый господин, заглянул в куле, протупал взглядом собеседников и остановился у окна, спиной к куле. Новый костюм сидел на нем мешковато.

— Нигде в мире добыча нефти не обходится так дешево, ее не только качают, но и черпают из колодцев ведрами, — продолжал Ладос.

Смуглый господин прислушивался. В широкой спине его таилось что-то подозрительное, он прикрывался спиной, как маской.

— А рабочие как устроены? — вяло спросил Костровский.

— Никак, — безразлично ответил Ладос, — одни спят в бараках, на соломе, скопом, вповалку, остальные или живут в пещерах, или ночуют прямо на промыслах. Еще налюбуетесь на жизнь нефтяников. Картинки ада видели, конечно? У художников бедная фантазия, им побывать бы на промыслах.

— Сочувствуете пролетариям?

Неужели личное отношение все же прорвалось?

— Воспитан на том, что жалость к нуждающимся — одно из достоинств истинного дворянина.

Костровский дернул головой — ответ ему не понравился.

— Моя фамилия Меликов, — поддразнивая инженера, сказал Ладос, — происходит от «мелик», что в переводе с армянского значит «князь».

— Как много на Кавказе князей, — недружелюбно произнес Костровский. — Простите, а какое у вас образование?

— Закончил елисаветпольскую гимназию, мы будем проезжать этот городок, раньше он назывался Гапжой.

Костровский сплсходителъно улыбулся. Вероятно, инженер из мещан и пробился в Техпологиеский институт благодаря способностям и настойчивости, поэтому и педолюбуливает дворян.

Пришел проводник, постелил три постели, одну на верхней полке.

Ладо показал инженеру глазами на дверь.

— Наш попутчик?

— Наверное.

Смуглый господин услышал их разговор и заглянул в купе. Глаза у него были как фиолетовые маслины.

— Не хотел мешать вашей беседе, господа. Очень утомлен. С вашего разрешения, сразу лягу.

Лицо его папоминало южный плод, прокалепный солпцем, долго пролежавший в тени и немного поблекший. Губы толстые, как у негра. В общем, приятный человек, глаза вот только какие-то непрпицаемые.

— Вы тоже в Баку?— осведомился Ладо.

— Да. Простите, не назвал себя. Ставраки, владеец типографий в Одессе, в Симферополе и в Ростове-па-Дону.

Владелец типографий? Ладо встретился с ним взглядом. В глазах Ставраки мелькнуло что-то живое, беспокойное, а губы отвердели. Уж не с подвохом ли назвалса он владельцем типографий? Рассчитывает, что Мелпков заинтересуется? Беседовать, однако, Ставраки не расположен, скорее даже хочет избежать разговоров.

Ставраки, еще раз извипившись, прикрыл дверь, проворно разделся и влез па верхнюю полку. Устроившись па правом боку, закрыл глаза, но заметно было, как он сквозь ресницы наблюдает за Ладо.

Ладо тоже разделся, лег, вытянув уставшие ноги.

Свеча в фонаре тускло освещала купе.

— Скажите, господин Меликов,— спросил Костровский,— а почему вы не займетесь нефтедобычей? Я слышал, многие местные сказочно разбогатели, из грязи шагнули в князи.

— Видите ли, у меня от домов небольшой, но верный доход. А нефтедобыча может разорить. Нобелям кризис не страшен, уцелеют, а мелкие товарищества лопаются, как мыльные пузыри.

— Без риска ничего не добыешься. Скажите, какое нынче число?

— Двадцатое.

— Благодарствую. Это я потому, что двадцать первого августа родилась моя матушка. Завтра отправлю ей депешу.

— Сколько же лет ей исполнится?

Костровский зевнул и улыбнулся.

— Она родилась в год смерти Лермонтова, в 1841 году. Ей исполнится, следовательно, шестьдесят один год. Мы с ней друзья, и я ей многим обязан.

Славный человек инженер, хорошо сказал о матери. У Ладо до сих пор сохранилась скверная привычка: при виде всего красивого — будь то человек, или желтеющее под солнцем поле, или тонконогая кабардинская лошадь, смотреть, не отрывая глаз, па то, что радовало. Братья уверяли, что Ладо слишком влюбчив и человеку, который ему по душе, может выложить о себе все. Братья, конечно, сильно преувеличивали. Свойство откликаться на красоту выручило его летом. Он шел по одесской улице, как всегда очень быстро, и вдруг обратил внимание на картину, выставленную в витрине антиквара: девушка в золотистом сиянье солнца, с кистью черного винограда в руке. Он круто остановился, и флиер, следовавший

ва ним,— Ладю не замечал его раньше — палетел сзади и шарахнулся в сторону. «Весьма признателен, мадемуазель»,— сказал Ладю в витрину.

Костровский спал. Ставраки тоже, кажется, заснул. Губы во сне у него совсем выпятились.

Странное все-таки существо — человек. Всегда ему кажется, что вдали от того места, где он находится, живет вольготнее, и полицейские там помягче, и жапдармов числом поменьше. Словно Россия не всюду Россия! Как сравнительно легко ладилось с «Ниньей» вначале, во всем сопутствовала удача. Но с этой весны словно тугим узлом начал завязываться. Повсюду арест за арестом, провал за провалом. В марте взяли почти всех членов комитета, тогда же в Баку ввели «положение об усиленной охране», на улицах появились филеры из Тифлиса. Как уберечь, как спасти свое детище — типографию? Перевезти в Россию? Там, в рабочих центрах, вроде Екатеринослава, или Иваново-Вознесенска, или в купеческих городах на Волге, или в дремлющих глубинных городках нетрудно будет найти тайное пристанище для «Ниньи» — единственной технически оснащенной типографии, в которой после провала кишиневской «Акулипы» можно печатать «Искру»!

Быстро ликвидировать все! Печатную машину и стереотипный станок — в ящики. Ящики, под видом токарных станков, — на хранение в склад пароходного общества «Надежда»! Квитанцию на предъявителя. Шрифты — в пакеты и через помощника машиниста Виктора Бакрадзе — на станцию Аджикабул, к знакомому кладовщику. И в дорогу! По русским и малороссийским городам в Самару и, быть может, за границу!

12 Все оказалось не так, как он предполагал. Попытка организовать нелегальную типографию в промыш-

ленном городе не удалась. Жандармы свирепствовали всюду. Кое-где рабочие разошлись с интеллигентами, сторонились их, обвиняя в частых провалах. Но главная беда состояла в другом: кроме искряков действовали различные не связанные между собой союзы и группы; доходило до того, что в некоторых городах имелось по две-три группы разных направлений — одна исповедовала эконоизм, другая все еще проповедовала террор, третья колебалась между «Искрой», эконоизмом и социал-революционерами. Группы не ладили, не согласовывали своих действий, и если одна организовывала демонстрацию, две другие старались сорвать ее. В иных губернских городах комитеты верили, что успеха можно добиться разрозненными силами, хотели иметь не общероссийскую газету, а свою — в каждой губернии, в каждом уезде. Это напоминало поведение удельных князьков при объединении русского государства. Ладо чуть не побил, когда он сказал это. Представители группы «Южный рабочий» — они выпускали свою газету и были заинтересованы в типографии — брались помочь, если «Нипа» будет подчиняться им, а не «Искре». Подобное требование он уже слышал — «Нипа» тогда только создавалась, и члены Тифлисской организации соглашались выделить из партийных средств 150 рублей при условии полного подчинения «Нипы» Тифлисскому, а не Бакинскому комитету. В тот раз он ответил, что обойдется сам, с помощью рабочих. Теперь он привел острую грузинскую поговорку: «Я буду первым и самым главным! — закричал поросенок. Визг его был услышан, и повар жарил поросенка первым». В организациях часто ссорились, многие претендовали на роль руководителя. Ладо начинал сомневаться в искренности революционеров такого пошиба.

Расстроенный и рассерженный, он решил прощупать почву в глухой провинции. Надежда на дремлющую глубинку пропала очень скоро, хотя он упрямо и долго искал подходящее место. В маленьких городках каждый человек на примете, тем более с такой резко выраженной кавказской внешностью. Приезжим интересовались, о нем болтали все обыватели, все изнывающие от безделья и жирных пирогов кумушки...

Ставраки завозился — повернулся с боку на бок, сел, снова лег, зашуршал чем-то. Кажется, жует.

Прислушиваясь, Ладо заснул. Проснулся первым, но продолжал лежать. Утром всегда так хорошо думается!

Проводник принес в серебряных подстаканниках стаканы с чаем. Ладо выпил чай, не поднимаясь. Ставраки спал. Проснувшись, испуганно подскочил, посмотрел вниз и снова лег. Чего он испугался?

Ладо оделся, посмотрел в окно. Унылая, выжженная солнцем равнина! До Баку часа два езды. Ладо почувствовал на себе взгляд Ставраки, быстро обернулся, и тот, словно наколовшись, отвел глаза. Кем бы ни был этот человек, с ним лучше побыстрее разойтись. Кроме того, в Баку на вокзале всегда дежурят жандармы. Еще, чего доброго, наткнешься на ротмистра Зякина — начальника Бакинского отделения жандармского управления Закавказской железной дороги. Они знакомы, встречались однажды. В январе прошлого года Ладо пришел на обед к родственнику, помощнику начальника станции. Хозяева знали, что Ладо уже давно разыскивает полиция. Они сели за стол, и вдруг в дверь постучал тучный, с багровым лицом ротмистр. Поздравив всех с Новым годом, он бухнулся на стул. Ладо пришлось взять на себя обязанности тамады, наполнить большие бокалы

и рассказать первый пришедший на ум анекдот о чиновнике-бюрократе. Ротмистр, одобрительно поглядывая на тамаду, подливавшего ему вино, поддерживал беседу и тоже вспомнил о знакомом бюрократе из департамента полиции. Он выдул около двух литров вина и удалился. Хозяйке стало дурно, муж ее пил холодную воду. К такого рода неожиданностям, видимо, никогда не привыкнешь.

Ладо потянулся. За ночь он плохо отдохнул. Вот уже четыре месяца в дороге! Самое досадное — плачевные результаты поездки. Оказалось, что аресты прошли не только в Баку, они волной прокатились по всем городам России, и куда он ни приезжал, всюду видел безотрадную картину — искряки сидели в тюрьмах, и только в редких случаях можно было отыскать их «последников». Случалось, что приходил на провалившиеся явочные квартиры, и спасало его только чудо.

Помогали ему прятаться мастеровые, студенты, всюду находились люди, которые охотно выручали человека, преследуемого полицией. Встречались и другие — они не сочувствовали, относились даже с враждебностью, но считали бесчестным предать, довести, отказать в помощи тому, кто просит убежища. Но, пожалуй, наиболее запомнился ему день, когда он сидел в зале маленькой станции, ожидая поезда на Иваново-Вознесенск. На соседней лавке устроились мужик — старенький, несмотря на лето одетый в анпу, и баба — высокая, худая, в пизко повязанном головном платке. На руках она держала младенца. Укачав ребенка, она передала его мужику, видимо отцу своему, и достала из торбы краюху ржаного хлеба, несколько лукович и узелок с солью. Постелив на скамье платок, она нарезала хлеб, очистила лук, развизала узелок с солью, о чем-то пошепталась со

стариком, поглядывая на Ладю, и подошла к нему:— Извиняйте, просим с нами откусать.— Самое вкусное из всего, что он ел за дорогу,— домашний ржаной хлеб и луковица, густо посыпанная серой солью!

— Скажите, а в Баку пролетарии часто бунтуют?— вдруг спросил Костровский.

Ставраки приподнялся на локте и как-то странно посмотрел сначала на инженера, потом на Ладю.

А ведь глаза у него, когда раскрываются фиолетовые заслонки, умные.

— Как и всюду,— ответил Ладю.— У вас, в Петербурге, тоже ведь бастуют. Баку — новый Вавилон! Смешение языков и народов — идут, чтобы заработать на хлеб, грузинские крестьяне, беженцы из Армении, уходят на промыслы крестьяне-азербайджанцы из ближайших сел, есть и персы, и турки, а больше всего — их десятки тысяч — голодающих из России...

— Я вас не утомляю своими расспросами?

— Нет, нет, что вы!— Ладю достал из кармана папиросы. — Вы, кажется, не курите?

— Студентом баловался.

— Я покурю в коридоре, а то здесь и так дышать нечем.

Ладю вышел из купе и закурил. Вчера пришлось для конспирации купить арабские папиросы, которые он терпеть не мог, предпочитая самокрутку с сухумским табаком или, на худой конец, с солдатской махоркой. И сейчас не стал бы курить, если б не голодные боли в желудке.

Накурившись до тошноты, Ладю вернулся в купе.

Ставраки сидел рядом с Костровским, щуря фиолетовые глаза. Пожалуй, он не грек. Похож на румына. Затеять разговор не собирается, но какое-то

неясное напряжение пробивается сквозь внешнее безразличие и сонную вялость. И почему он ночью ел втихомолку? Прощупать его?

— Вы с какой целью в Баку, если не секрет, конечно?— спросил Ладос.— Хотите открыть новое дело?

— Да, намереваюсь,— буркнул Ставраки.

— Может, я сумею вам помочь советом? Вы где остановитесь? Есть у вас в Баку знакомые?

— Не знаю еще. Знакомых не имею.

Ставраки притворно зевнул.

— У нас небольшие типографии — Промышлянского, Шапошникова. Если по-настоящему пустите дело, конкуренции они не выдержат,— продолжал Ладос.

— Посмотрим,— сухо произнес Ставраки.

— Вы только хозяйничаете или сами когда-нибудь работали в типографии?

— Почему вы решили?..

— Судя по вашим рукам, вы когда-то имели дело с рабочим инструментом.

Ставраки холодно усмехнулся.

— Всю жизнь столярничаю. Но вы правы. Отец, когда я еще учился в реальном училище, обучал меня в своей типографии набору и верстке. А вы тоже сведущи в типографском деле?

Быстрый вопрос его был как ответный удар шпагой.

— Да, много раз заказывал визитные карточки,— барски пренебрежительным тоном ответил Ладос.— Вы сказали — «верстке». Что это такое?

— Неужто не знаете?— Ставраки коротко и толково объяснил.

Возможно, он в самом деле ничего не сочиняет. А может, владеет собой? Ладос перестал задавать 17

Ставраки вопросы, но продолжал поглядывать на него.

За окном появились и уползли глинобитные домики с плоскими крышами.

— Азия!— сказал Костровский.— В Баку тоже такие сакли?

— Да. Но не думайте, что у нас одна нищета. В центре города,— стал рассказывать Ладо,— вокруг площади, ее пазывают «Парапетом», стоят дома, говорят, не хуже, чем в Петербурге.

— Вы не бывали в Петербурге,— сказал Костровский.— И там трущоб хватает — как и в любом российском городе. Да-а, мастеровой люд всюду у нас живет по-свински, не то, что в Европе.

— Вы бывали за границей?

— Нет, но я знаю, читал!

Костровский стал говорить об отсталости России, тупости и ограниченности правительства, бездарности царствующего монарха, власть которого, по примеру европейских государств, следовало бы ограничить хотя бы введением конституции.

— Почему у нас нет сильных правящих партий, как в Англии?— спросил он.— Ответьте мне, господа.

Ладо молча взглянул на Ставраки. Глаза его словно потускнели, губы вытянулись в две полоски.

— Не знаю. В Англии не бывал!

Костровский пренебрежительно фыркнул.

— Потому что все трусят, как вы, прошу извинить меня за резкость и прямоту. Абсолютизм держится потому, что все набрали в рот воды и молчат. Да, да! Каждый в своем углу сидит, как сыч, и молчит.

— Но проходят ведь забастовки, стачки,— сказал Ладо.

— Е-рун-да! Ерунда и еще раз ерунда! Бастуют рабочие, а царя должна обуздать техническая интеллигенция.

— А вы не боитесь произносить такие слова? — спросил Ладо.— Ведь если вы всюду так рассуждаете, мысли ваши могут дойти до слуха господ жандармов.

Слова «господ жандармов» он произнес с нажимом и быстро посмотрел на Ставраки. Глаза у того забегали. На этот раз он явно себя выдал. Что ж, посмотрим, что будет дальше.

Костровский снова усмехнулся:

— Я инженер, господин Меликов, а просвещенные головы инженеров нужны сейчас, никто их не тропет. И в конце концов, я знаю, где можно говорить. Хотя, должен вас заверить, я с наслаждением бросил бы свои слова прямо в лицо императору. Да, да! Я сказал бы, что ему пора сходить со сцены, что пришло время уступить место деловым, умным людям!

— Да вы революционер, господин инженер, у вас такие стремления,— опасно произнес Ладо.

Ставраки опустил голову.

— В известном смысле — да,— подтвердил Костровский. Он встал и, размахивая руками, продолжал говорить. Видя перед собой, как ему казалось, испуганных и восхищенных слушателей, он совсем разошелся.

— Я страдаю, когда вижу умирающего от голода рабочего!— выкрикивал Костровский.— Мне стыдно за свою страну!

Он так кричал, что проводник открыл дверь, выясняя, не произошло ли скандала.

— Закрой дверь, осел!— рявкнул Костровский и пронзил взглядом Ладо и Ставраки.— Вы возражайте, возражайте мне, господа, если не согласны со

мной. Можете вы назвать хоть кого-нибудь, кто сейчас всерьез борется с царизмом?

Ставраки отрицательно качнул головой.

— Не могу, — ответил Ладо. — Откуда мне знать, кто в России против царя злоумышляет?

Костровский вздохнул: — Господи, сколько надо изменить, сколько отбросить! Только промышленная революция, только техника, наука способны радикально изменить жизнь общества.

Ставраки встал и вытащил из-под подушки саквояж.

— Прошу извинения, господа. Я скоро вернусь, в соседнем вагоне едет приятель, проводаю его.

Он вышел, закрыв за собой дверь.

— Вы, кажется, напугали нашего попутчика, — заметил Ладо.

— Ну и пусть! Мне все равно.

Неужели Ставраки пошел за жандармом? Или действительно в соседнем вагоне кто-нибудь еще едет?

— Я на минутку, господин Костровский, извините.

Ладо быстро пошел в конец вагона. Туалет был пуст, в тамбуре тоже никого. Почувствовав чей-то взгляд, Ладо посмотрел сквозь стекло двери в тамбур соседнего вагона и увидел Ставраки — он был один, стоял, курил. Ладо отвел глаза, отошел от двери и немного спустя выглянул снова — Ставраки в тамбуре уже не было. Загадочная история. Не хватает еще попасться перед самым Баку после стольких злоключений, кончившихся благополучно! Почему Ставраки понадобилось выйти? Кого-нибудь ждал в тамбуре? Или же увидел, сказал, что хотел, и выдерживал время, прежде чем вернуться? Он явно чего-то испугался. Постойм здесь и мы, тоже покурим...

Кржижановский удивлялся: «Ну, батенька, п везучий же вы». Глеб Максимилианович Кржижановский рано облысел, но высота его лба не казалась от этого благоприобретенной. Крутые надбровные дуги, глаза немпого навывкате, и в глазах умная сосредоточенность. Удачно поселились они с женой в Самаре — в стороне от города. Еслп за тобой нет хвоста, придешь к ним незамеченным.

Забавное происшествие случилось в день приезда Ладо в Самару. Отыскивая явочную квартиру, он рассматривал город. Пожалуй, из тех, что он повидал, этот был самый сонный. Деревянные срубы, уйма лавок и трактиров. Несмотря на будний день, на деревянных тротуарах валялись пьяные, облепленные мухами. У купцов — сытые, грубые лица быстро разбогатевших крестьян. Здесь обывателей даже приезжие не интересовали. Отвечать на вопросы тяготились. Пожалуй, это его и спасло. Полдня те, у кого он спрашивал пужный адрес, скребли в затылке и после тяжких раздумий говорили: «А чего... идите... туды». Вдруг за спиной кто-то сказал: «Не ходите туда, куда вам назначено. Спросите в редакции «Самарской газеты» секретаря. Не оглядывайтесь». Голос был мужской. Человек вскоре отстал. Провокатор? Но тогда незачем было предупреждать, его просто подстерегли бы в квартире. С трудом он разузпал, где помещается редакция, спросил секретаря. Оказалось, что явка провалилась, его не могли найти, и всем членам комитета наказали: «Ищите смуглого человека с бородой, в соломенной шляпе». Глеб Максимилианович от души хохотал. «Кавказца в русском городе сразу заметишь! Ну-пу, рассказывайте. Как поживает «Нипа», где побывали, кого повидали?» Слушая, Кржижановский часто поглаживал ладонью высокий лоб и приговаривал: «Да, да, понимаю вас... 21

Конечно, вы поступили правильно... «Южный рабочий»? Думаю, они все же исправятся... Экономизм, говорите, у вас не привился? Да, но у вас свой опасный зверь — национализм. Не страшно? Рад вашей уверенности... Так что же все-таки решили с «Ниной»? Или в Баку или ликвидировать и открыть грузинскую типографию за границей? Вы написали об этом в Лондон, я знаю... Наверное, вам на всякий случай пришлют надежный иностранный паспорт, а вы уж решайте сами... Создание нелегальной газеты «Брдзола» на грузинском языке было делом первостепенной важности. Царизм запрещает говорить на родном языке, а тут на родном языке выходит революционная газета! Да, если грузинский пролетариат и крестьяне не знают русского языка, «Искра» до них не дойдет. Но тогда придется создавать за границей и грузинские, и украинские, и армянские, и другие типографии. Реально ли это? Может быть, лучше иметь национальные типографии на местах? Посмотрим, что ответят из Лондона. Удивила вас российская неразбериха? Владимир Ильич определяет последние годы как «период разброда и шатания». В новой работе «Что делать?» он отвечает на многие вопросы. Весьма остро Ульянов высмеивает кустарничество. Так и пишет, что мы своим кустарничеством уронили престиж революционера на Руси. И экономистам достается. В «Что делать?» говорится и о значении передовой революционной теории, и о том, какой должна быть революционная организация, там и план общерусской политической газеты...»

Поезд резко остановился.

Ладо выглянул в окно. Семафор. А Ставраки все не возвращается. Ладо выбросил окурок и вернулся в купе.

22 — Разве уже Баку? — спросил Костровский.

— Нет еще. Сейчас будут Баладжары. Я сойду. Здесь живут мои родственники.

Костровский думает, что революция может и должна быть только технической. Но между тем, что человек думает и что делает, часто огромная пропасть. Философ Гегель искренне считал образцом государства прусское самодержавие, но учение его о том, что в мире происходит постоянный процесс изменения и развития, приводило к выводу, что борьба с действительностью, с существующей неправдой и царящим злом тоже коренится в мировом законе вечного развития. Если все развивается и меняется, то почему должно вечно сохраняться прусское самодержавие, как и вообще любое другое государство, в том числе и российское? Абсолютизм сменится буржуазной республикой, буржуазная — демократической, и так будут сменять друг друга все новые и новые, более совершенные формы государственного управления.

— Значит, господин Костровский, — спросил Ладос, — вы мыслите благотворной только одну революцию — науки и техники?

— Разумеется. — Костровский более не горячился. — Попробуйте, я не о вас, конечно, говорю, пусть революционеры попробуют прогнать у них вот — он кивнул на окно — беков, пашей, объявить социальное равенство и всякие прочие свободы. Только и разницы, что весь народ будет одинаково голодать. А добейтесь развития техники, дайте людям машины, потом научите народ управлять ими... Какое государство у нас сейчас наиболее цивилизовано? Англия! А почему? Ведь все началось с ткацких станков и паровоза Стефенсона. Человечество должно, в первую очередь, избавиться от нужды, голода. Вы, господин Мелшков, наверное, не знакомы с социалистическими

идеями, а в них ведь только одно и говорится — власть народу. А к чему могут повести общество они вот? — он снова показал на окно. — Неужели не ясно, что вести человечество вперед должны те, кто больше всех знает, видит, — люди науки?

— Я действительно не знаком с социалистическими теориями, — осторожно сказал Ладю, — и меня лично ваши доводы убеждают, но разве, если отвлечься от нас с вами, техническая революция даст людям равенство? Разве не останутся те же наши и беки, только уже от науки?

— Сытые, образованные, технически грамотные народы, — сказал Костровский, — сами изберут для себя наиболее разумные формы правления. Так что овладевайте наукой, сударь.

— Увы, в гимназии я хуже всего успевал по математике. Всего наилучшего.

Попрощавшись с Костровским, Ладю направился к выходу. Поезд уже подходил к платформе. Надо выйти после того, как поезд тронется.

Ладю поболтал с проводником.

Пробил станционный колокол, паровоз загудел, и, как только платформа стала уходить назад, Ладю спрыгнул и зашагал к станционному домику. Обернувшись, он увидел в тамбуре вагона, за дверным стеклом лицо Ставраки.

За станцией ждали пассажиров дрожки.

— В город! — сказал кучеру Ладю. — Ошибся, принимаешь, думал, уже Баку.

— Проводник не мог сказать, дурная голова? Садись, господин, недорого возьму.

Ветер дул жарко, ровно — словно сухая душная стена двигалась. На зубах скрипел песок. Прячась за спиной кучера, Ладю соображал, к кому пойти. Пожалуй, к Грише Согорашвили — заведующему винным

складом Удельного ведомства, а от него на конспиративную квартиру.

На окраине деревушки, которую огибала дорога, женщины с криками бежали за цыганкой, бросая в нее камнями. Цыганка, плача, обернулась, стала что-то объяснять, но в нее снова полетели камни, и она, ускорив шаг, скрылась в овраге. Женщины, шумно переговариваясь, пошли к домам.

Ладо проводил их взглядом. Возле одного из глибобитных домиков торчало из-за глухого забора одинокое дерево. Ветер старался согнуть его, а оно упорно сопротивлялось. Если бы рядом росли другие тополя, деревцу было бы легче. Но в здешних песках и на камнях почти ничего не растет. Не то что на Днепре. В Киеве густые парки, под Полтавой он насмотрелся весной на цветущие вишневые сады, а как прекрасны пахнущие хвоей леса в средней полосе России! Ладо словно воочию охватил все, увиденное за лето: и могучее течение Волги, и влажный, отдающий солью и йодом морской воздух, и бурный говор Терека и Арагви, и людей, говорящих на разных языках, но одинаково умеющих любить и страдать. Сколько сил надо положить на то, чтобы убедить всех людей, что освобождение придет к ним только тогда, когда они поймут — не может быть свободным и счастливым человек, живущий на берегах Оки, если другой человек — кавказский горец — в нищете и в неволе.

Румяный, подвижный здоровяк Гриша Согоршвили обрадовался.

— Давно не видел тебя, Датико! Соскучился! Вах, как рад!

Кроме них в винном подвале никого не было.

— Ты один? — спросил Ладо.

— Иди, там в комнате Енукидзе с гостем,

Авель здесь! Ладо распахнул дверь и увидел за столиком, на котором стояла бутылка вина, Авеля Енукидзе и напротив него... Ставраки. Как этот тип пробрался сюда?

Ставраки, побледнев, вскочил. Авель опередил его, бросился к Ладо и крепко обнял.

— Вернулся! А к нам приехал... Познакомьтесь, товарищи: «Отец Нины»...

Ставраки провел рукой по лицу.

— Вы... «Отец Нины»? Господи! Я — «Маша».

«Маша»? Человек, который по заданию «Искры» должен был приехать в Батум, а оттуда в Баку? Ладо, еще раз проверяя, испытующе посмотрел на смугло-оливковое лицо, улыбающиеся толстые губы, на умные глаза и прыснул. Они оба, тряся друг другу руки, хохотали, не в силах выговорить ни слова.

Авель ничего не понимал.

— Мы ехали в одном купе, — объяснил ему Ладо, — и, кажется, боялись друг друга.

— Вы всерьез напугали меня! — в восторге сказал «Маша».

— Припiali за филера? — спросил Ладо.

— Нет, но вы как-то странно присматривались, и я не мог понять... Не то в чем-то подозревали, не то... Я себя чем-нибудь выдал?

— Вы мне понравились, но в ваших глазах было напряжение. Потихоньку ели ночью. На меня зачем-то поглядывали, — стал припоминать Ладо. — Костюм на вас мешковатый... Мне трудно даже объяснить. Я колебался, не мог понять, кто вы на самом деле. Вы румын?

— Еврей.

— Для чего вы назвались хозяином типографий?

26 Меня это насторожило.

— Типографское дело — моя легальная профессия. И Ставраки ведь тоже подлинное лицо. Только он сейчас где-то в Петербурге и не подозревает, что его именем кто-то пользуется. Я перепугался, когда вы пачали приставать ко мне с вопросами. А потом еще этот инженер кричал о революции и ругал царя! Я решил побыстрее испариться.

— Прятались вы не очень удачно, — с усмешкой заметил Ладос. — Но я тоже решил поскорее исчезнуть с ваших глаз. Что ж, сядем, послушаем вас, да и вины попробуем.

Гость полез в нагрудный карман.

— Прежде всего, — сказал он, — я должен передать вам, Отец, вот это, — он протянул Ладосу иностранный паспорт. — Он настоящий, бельгийский, со всеми визами.

Предчувствие ротмистра Луничина

За окном ослик цокал копытами по булыжной мостовой.

Мужской голос басил:

— Земля, земля! Черпоземный земля!

Какой-то человек каждое утро являлся в город со своим ослом и упорно старался продать чернозем. Чушь какая! Бывают же такие маляки. Наверно, никто и никогда не покупает у этого незадачливого коммерсанта землю. А может, он и не надеется на барыш? Может, ему просто нравится роль живого будильника?

В косом луче солнца плясали разноцветные пылинки. Разгильдяй Гришка год не выбивал ковры и ставни вчера не притворил.

Ротмистр отдельного корпуса жандармов Лунич щелкнул пальцами и пропел:

— Тарам-там-там, тарам-там-там!.. Который час? Пора вставать.

Он отлично выспался, хотя домой вернулся поздно. В девятом часу вечера он вышел слегка навеселе из Дворянского собрания. Хорошие у них вина в погребе, особенно «Цинадали», из имения князя Чавчавадзе, — легко пьется, веселит и укрепляет сердце. Вино вчера и подстегнуло его, он прошелся по Лермонтовской мимо дома, в который давно собирался проникнуть, и увидел Амалию, она, как это в Тифлисе принято, лежала на подушках в окне и скучала.

Лунич потянулся. Эх, удачно и быстро дело сладилось! Он поклонился. Какие глаза! Они давно ослепляют весь Тифлис. Не может ли он войти? Амалия ответила, что горничная ушла, а нянька мужа уехала в деревню к родственникам. Он осмотрелся: улица пустынна, на дальнем углу горит керосиновый фонарь, а возле дома, под деревьями, полумрак. Он взялся руками за раму. Шпоры звякнули, и он был уже в комнате. — Ой! — кажется, единственное, что она сказала. Все было, как в авантюрном романе, и то, что она ничего не говорила, тоже было превосходно.

Лунич откинул простыню и погладил смуглый живот — возраст все-таки берет свое: под кожей нарастает жирок. Он усмехнулся, вспомнив вчерашнее, и вскочил. Несмотря на сентябрь, почти были душные, и Лунич спал без рубашки. Взяв гантели, он стал делать гимнастику перед зеркалом. Многие здесь принимают его за кавказца. До чего долго сохраняется порода. Предки переселились из Венгрии еще в

а сербы, но несмотря на то, что все в роду женились на русских, никто не приобрел среди российских снегов белой кожи и светлых глаз. Примечательна их устойчивость и в другом: все Луничи верно служили царю и отечеству.

Сам Лунич тоже преуспел на государственной службе. Еще молод, а уже помощник начальника губернского жандармского управления.

Лунич положил гантели, попрыгал, пока тело не покрылось испариной, и позвал денщика. Гришка припес в кувшине воду. Лунич наклонился над умывальником, из-под руки наблюдая за ухмылкой на сытой роже денщика. Тот не терпел голых людей, а Лунич, зная это, подолгу не надевал исподнего белья. В остальном они привыкли друг к другу и ладили. Ради порядка Лунич время от времени грозился:— В строй отправлю.— Гришка привычно притворялся, что пугается.

— Еще полей,— со стоном приговаривал Лунич,— на шею. О-о, хорошо! На спину. Хватит. Полотенце! Завтрак!

Лунич надел белье, накинул халат, и Гришка подал неизменный завтрак: стакан мацони, яйцо всмятку, салат из помидоров, кровавый бифштекс и кофе с молоком и булочкой.

— Гришка!

— Слушаю, ваш-родие!

— Разгильдяй, мясо пережарил! Пойди в цветочный магазин, вели, чтобы приготовили букет из белых роз, и отнеси по адресу: улица Лермонтова... Запиши, а то забудешь.

Внимание к женщине тоже входило в установленный Луничем для себя кодекс поведения. Букет цветов, флакон духов «Риге» от Чарахчианова — долг чести офицера. Вряд ли штатской штафирке придет в 29

голову послать букет роз женщине, с которой ему довелось, как говорят монахи, вознестись на воздух.

Отхлебывая кофе, он подумал о том, как необходимо сейчас раскрыть большую организацию эсдеков или, найдя тайную типографию, заполучить в руки всех, кто имеет к ней отношение. Сколько было споров с Лавровым, сколько Лунич доказывал, что типография находится в Баку, а не в Тифлисе, и не в России, как предполагал начальник Тифлисского жандармского управления генерал-майор Дебиль. Наконец, в бакинской таможне вскрыли в конце прошлого года посылку, направленную из Мюнхена на имя зубного врача Софьи Гинзбург, и в двойном дне нашли стереотипное клише «Искры» под номером 12. Стало ясно, что именно в Баку находится главная типография российской партии социал-демократов. Дебиль пожал руку Луничу: «Дивлюсь вашему чутью». «Теперь, ваше превосходительство, ротмистр Лавров поймет, наконец, куда увезли из Тифлиса стереотипный станок и почему в обращении нет «Искры» под номером 12». Дебиль кивнул: «Конечно, конечно, наш старательный начальник розыскного отделения должен более благосклонно прислушиваться к вашему мнению. Не так ли, ротмистр?» Лавров щелкнул каблуками и сказал: «Возможно, ротмистр Лунич имеет, помимо нашей, свою личную агентуру?» «Нет,— ответил, улыбаясь, Лунич,— я имел следующее основание стоять за Баку, я рассуждал так: будь я эсдеком, лучшего города, чем Баку, для сохранения тайной типографии не найдешь. Там десятки тысяч рабочих и, кроме того, прошу прощения, ваше превосходительство, за откровенное высказывание, кроме того, я считал бы, что в Баку легче остаться нераскрытым, чем в Тифлисе, где розыскным отделением руководит ротмистр Лавров».

Лавров, не поняв, поклонился. Генерал улыбнулся, оценив иронию, по все же покачал укоризненно головой. «Впрочем,— сказал он,— вы подали мне хорошую идею, надо послать в Баку наших флиеров. Начальнику бакинского управления полковнику Порошину, дабы не нарушать целостности агентурной работы, об этом сообщать не будем, а департамент поставим в известность».

Лунич с помощью Гришки надел мундир и вышел из дому. Он шел по Михайловскому проспекту, оглядывая прохожих, особенно дам, позванивал шпорами и щурился от солнца. По дороге в управление он зашел побриться к старичку-парикмахеру, когда-то замешанному в польском восстании и сосланному на Кавказ.

— Ну,— сказал он, усаживаясь в кресло,— может быть, сегодня вы признаетесь в своих связях с социал-демократами?

Это была обычная шутка, с нее он всегда начинал разговор. Забавно, что старик никак не мог привыкнуть к этому вопросу, каждый раз бледнел, и руки у него пачинали трястись.

— Не пугайтесь,— с удовольствием сказал Лунич,— а то еще оцарапаете меня.

Лунич не испытывал к бунтовщикам никаких острых враждебных чувств как к индивидуумам. Дебиль как-то высказал парадоксальную мысль о том, что, исчезни бунтовщики, жандармы лишились бы куска хлеба. «Если бы не было бунтовщиков,— ответил Лунич,— мы с вами, ваше превосходительство, их придумали бы». Дебиль улыбнулся. «Рискованное суждение, но не лишенное смысла. Государство не может не подавлять. Если оно перестанет это делать, его разрушат. Знаете, ротмистр, я всегда чувствую в вас внутреннее спокойствие, уверенность. Вы никогда не суете-

титесь, как, например, Лавров. Чем это объяснить?» «Я всегда делаю по утрам гимнастику, ваше превосходительство, обливаюсь холодной водой, не болею и думаю прожить долго». Лунич увернулся от прямого ответа, ибо знал, что в разговорах с начальством не стоит выходить за определенные границы, хотя в его возможном ответе не было бы ничего особо предосудительного. Откровенно Лунич ответил бы так: «У меня твердые убеждения. Заключаются они в следующем: государство всегда останется таким, каково оно есть. Допускаю, что со временем могут измениться формы правления, так сказать, вывеска на лавке, но суть останется одна. Что изменилось, например, для французской полиции от того, что нет императора и государством правит президент Лубе? При Петре Великом был Сыскной приказ и стрельцы, а теперь есть департамент полиции и жандармский корпус. Раньше бунтовали, теперь бунтуют и в будущем будут бунтовать. Правителям всегда нужны Лунич, на нас все и держится. В этом мудрость бытия. Не будь Луничей, вместо порядка на земле воцарился бы хаос. Русский интеллигент требует свободы для себя, для народа, свободы бунтовать, устранять того, кто имеет власть. Но ежели интеллигент добьется власти, он тотчас призовет на помощь Лунича: а ну, проследи за порядком, поймай, посади в тюрьму всех бунтовщиков».

Парикмахер sprыснул ему волосы вежеталем.

— Спасибо,— сказал Лунич.— Сегодня я не продолжаю нашего разговора, но к следующему разу... Подумайте, я жду вашего чистосердечного признания.— Он кивнул и пешком, ради моциона, зашагал в управление.

Вскоре его попросил к себе генерал-майор Де-32 биль. У него сидел ротмистр Лавров.

Дебиль еще не привык к генеральскому мундиру. Он не то чтобы не умел носить его, но прежде бросался в глаза мундир, а уж потом его владелец. «Недостаточная внутренняя содержательность», — подумал Лунич.

И у генерала, и у Лаврова был вид именинников. Лунич вопросительно посмотрел на Дебиля.

— Давайте посоветуемся, — сказал Дебиль, — получено известие о том, что утром на станции Аджикабул унтер-офицер Капранов обнаружил на паровозе у помощника машиниста... э?

— Виктора Бакрадзе, — подсказал Лавров.

— ...Несколько пудов типографского шрифта. Дали знать на станцию Баку штаб-ротмистру Зякину о необходимости обыскать квартиры машиниста... э?

— Циклаури, — сказал Лавров.

— И Бакрадзе. Что вы на это скажете, ротмистр? — он уставился на Лунича.

— Сообщение исходит от полковника Порошина, ваше превосходительство?

Генерал переглянулся с Лавровым, и Луничу это не понравилось.

— О наших филеров, — ответил Дебиль.

— Они вошли в контакт с бакинским управлением? — спросил Лунич.

— Нет, — усмехнулся Лавров, — они в курсе дел управления. Это я их проинструктировал.

Тифлисское и Бакинское губерпские жандармские управления были самостоятельны и действовали независимо друг от друга. Но в Тифлисе находился губернатор края, и Дебиль, мня себя фигурой более значительной, мало считался с полковником Порошиным. Посылать тифлисских филеров в Баку, да еще с заданием наблюдать не только за эсдеками, но и за самими бакинскими жандармами, было с точки

зрения служебной действием неэтичным. Но Лавров знал, что победителей не судят и за излишнее рвение никого не наказывают.

Лавров сиял, ожидая похвалы коллеги за проявленную инициативу. Однако Лунич, ведавший следственными делами, относился к начальнику розыскного отдела Лаврову примерно так же, как Дебиль к Порошину. Лунич небрежно сказал:

— Насколько я помню, идея посылки филеров в Баку принадлежала его превосходительству. И право, лучше было бы, чтобы прифты обнаружили наши филеры, а не подчиненные полковника Порошина.

— Без сомнения,— внушительно произнес генерал.

Лицо Лаврова покрылось пятнами.

— Но сам факт отрадный,— смягчившись, продолжал Дебиль,— имею основание думать, что тайная типография социал-демократов будет обнаружена.

Лунич пожал плечами:

— Я тоже надеюсь, однако...

— Что, ротмистр?

— Я патриот нашего управления, ваше превосходительство. Обидно будет, если честь раскрытия типографии достанется не нам.

— По моему указанию сообщено филерам, чтобы они держали нас в курсе событий. Всех задержанных доставят сюда, и следствие будем вести мы. Более важно не ухватиться за нить, а распутать клубок.

— Разрешите мне выехать в Баку? — Лавров вскочил со стула.

— Лавров спешит за лаврами,— дружески улыбуясь, сказал Лунич.

Дебиль задумался.

— Подождем, как развернутся события,— сказал

34 он.— Ежели сегодня до вечера ничего нового не

возникнет, завтра вы поедете. Департаменту в случае чего объясним, что вы вмешались, заметив медлительность бакинского управления. Садитесь, ротмистр.

Лавров сел.

— Ваш бакинский коллега, ротмистр Вальтер, кажется, дружен с вами? — спросил у него генерал.

— Так точно, ваше превосходительство. Вальтер — неплохой работник, знает грузинский и татарский языки. Но вспыльчив во хмелю.

— Он, кажется, зарубил студента.

— Ротмистра Вальтера оправдал суд чести, ваше превосходительство.

— Все же офицерам Отдельного корпуса жандармов не следует привлекать внимание общественности к нашей службе, тем более такого рода действиями. В Петербурге тогда были недовольны. Но вернемся к делу. Кто из лиц, находящихся в Баку под негласным надзором полиции, подозревается в причастности к типографии?

Лавров наморщил лоб.

— На заводе «Электрическая сила» под наблюдением находятся Енукидзе и Козеренко. По агентурным данным, деятельным участником организации типографии является Енукидзе...

— А Владимир Кецховели? — спросил с невинным видом Лунич.

По лицу Лаврова словно судорога прошла. Попытки его поймать Кецховели давно стали притчей во языцех. Он, не скрывая злобы, покосился на Лунича и процедил сквозь зубы:

— Да, филеры утверждают, что он в этом деле главный.

— Ротмистр, — резко сказал ему генерал, — то, что Кецховели водит вас за нос, не есть основание

умалчивать о нем. Доложите точно и обстоятельно.

Лавров заерзал на стуле.

— Кецховели, по нашим данным, где-то скрывался с начала 1900 года. Его или личность, по приметам схожую с ним, видели многократно в Тифлисе и в Горийском уезде. Затем стало известно, что он проживает в Баку под фамилией Деметрашвили...

— Отличная осведомленность,— окончательно рассердившись, сказал генерал,— добавьте еще, что вы с ним, так сказать, лично знакомы.

— Так точно, ваше превосходительство, встречался,— нехотя подтвердил Лавров.

Лунич усмехнулся так, чтобы это заметил генерал.

— Летом сего года,— продолжал Лавров,— если не ошибаюсь, в июне, поступили сведения о том, что он собирается выехать из Баку в Петербург вместе с Ваню Стурюа и какой-то акушеркой-еврейкой якобы для совершения террористического акта. Затем дополнительно нам сообщили, что какой-то Георгеньяни...

— Георгобиани, вероятно,— поправил Лунич, искоса разглядывая Лаврова. На щеках румянец, сложен крепко, такие в юнкерских училищах отличаются в фехтовании на саблях, хорошие службисты, но хороши в строю, а не в розыскной службе.

Лавров, сбитый репликой Лунича, помолчал, потом счел за лучшее согласиться:

— Возможно, что Георгобиани. Так вот, этот Георгобиани приобрел паспортную книжку на имя Николая Меликова. С конца весны Кецховели нигде филерами замечен не был.

— Есть основания полагать, что он вернулся в Баку? — спросил Дебиль.

— Такого рода данных не поступало.

Дебиль посмотрел на Лунича.

— Что скажете вы?

— Уверен, что Кецховели — главный организатор типографии, ваше превосходительство. У меня вопрос к ротмистру Лаврову. Разрешите?

Дебиль кивнул.

— Вы как-то рассказывали, ротмистр, что некий аноним указывал на местопребывание Кецховели. Не удалось ли отделению установить личность анонима?

— Никак нет, — ответил Лавров, — хотя мы в этом весьма заинтересованы. Видимо, он близок к Кецховели, осведомлен о его появлениях в Тифлисе. Например, о том, что Кецховели будет почевать в квартире Джугели, было сообщено этим неизвестным лицом, затем...

— Ротмистр, — вновь рассердился генерал, — объясните все же, каким образом Кецховели всегда ускользает от вас?

«Настоящий debil! — подумал Лунич. — Генерал и Лавров стоят друг друга. Неужели ему не ясно, что Лавров не в состоянии соперничать в уме и находчивости с Кецховели!» Кецховели брал и будет брать верх над Лавровым потому, что его поступки всегда неожиданны, противоречат представлениям Лаврова о действиях революционеров. Лаврову кажется, что Кецховели должен бояться жандармов, убегать от них. А если он не боится и не убегает, значит, он не Кецховели. Буквально так и случилось на квартире Джугели. Кецховели, услышав, вероятно, стук в дверь, лег на матрац, постеленный на полу, и захрапел. Хозяйка сказала, что спящий — ее крестный из деревни, дьякон. Лавров даже ткнул Кецховели сапогом и сказал: — Ишь, горазд храпеть, деревенщина! — И удалился, раздосадованный неудачей. А когда он все же вернулся, «дьякона» и след простыл. Ей-ей, за такой фортель, сделанный с

Лавровым, Лунич при случае с удовольствием пожал бы руку Кецховели.

— Я многократно докладывал, — наконец ответил генералу Лавров, лицо его пламенело, — что Кецховели бывал то в рясе священника, то в мужицкой одежде, то в дворянском платье, что он владеет грузинским, русским, армянским языками, что он... да что я могу сказать, ваше превосходительство, когда вам и без того все известно! Уверяю, что вы сами могли бы ехать с ним в одном поезде и не догадаться, кто он.

Последнее высказывание Лаврова было бестактным, такого рода предположений допускать не следовало. Но обратить внимание на его слова было бы еще большей бестактностью, и Лунич промолчал.

— Возможно, вполне возможно, — с напускным добродушием произнес Дебиль.

— Ваше превосходительство, — сказал Лунич, — у меня сегодня с утра было приятное предчувствие, и на ум мне приходили и типография и эсдеки. Предчувствия редко меня обманывают.

— Дай-то бог, — сказал Дебиль. — Прошу вас остаться, а вас, ротмистр, я больше не задерживаю. Лавров вышел.

— Его сиятельство, — сказал Дебиль, — изволил вчера поинтересоваться некоторыми печатными изданиями, выходящими в Тифлисе, и я обещал дать ему сегодня сведения. Насколько я понял, речь шла о газете, которую редактирует господин Жордания.

— «Квали»?

— Вот-вот. Она не становится опасной?

— Видите ли, ваше превосходительство, левые убеждения — все еще общая мода, о социализме говорят и пишут. Я считаю, что ventиль для выпуска паров из паровозного котла — весьма полезное изо-

бретение. Газета «Квали» пользуется успехом, ее читают, она легальна, номера разрешаются цензурой. Раньше она была острее, в ней под псевдонимами печатались статьи революционных эсдеков, но теперь левое крыло имеет нелегальную «Брдзолу», и с «Квали» они разошлись. Так что пусть себе тешится пынешний редактор господин Жордания, когда надо будет, наступим ему на ногу. Я, конечно, обрисовываю картину весьма схематично.

— А что нового вам известно об «Иверии», которую издает князь Чавчавадзе?

— Об «Иверии» бабушка надвое сказала, ваше превосходительство.

— Не говорите загадками, ротмистр.

— Позиция газеты прежняя — выражение взглядов сторонников освобождения Грузии от... нас с вами.

— Ну-ну, не шутите так.

— Князь не возражает против дружбы с российским дворянством, но на расстоянии. Свой царь ему правился бы больше. Но он, говорят, великий писатель и, судя по отзывам, в произведениях своих защищает народ и весьма хлестко высмеивает провинциальных грузинских дворян. Он, говорят, крупный общественный деятель, собирает у себя свободомыслящую молодежь, однако занимает пост управляющего банком и он князь...

— Что-то я не понял, ротмистр, каково же ныне должно быть наше к нему отношение?

— Одобрять князя и управляющего банком и не одобрять писателя и общественного деятеля, когда он заходит слишком далеко в своих национальных высказываниях.

— Господи, как все сложно здесь, на Кавказе! Благодарю вас, голубчик. Я очень желал бы, чтобы

все сотрудники нашего управления были такими знающими, как вы.

— Ваше превосходительство, рад заверить вас в моей искренней преданности.

— Вот что, голубчик, заготовьте все материалы, затребуйте у Лаврова копии агентурных донесений. В случае удачи я хочу поехать на доклад к его сиятельству во всеоружии. Типография, да еще Кецховели — это было бы недурственно. Однако заговорит ли Кецховели?

— Если Кецховели попадет в мои руки, я приложу все старания, чтобы он заговорил.

Круглые серые глазки генерала и карие Лунич встретились. Генерал отвел взгляд, придвинул ящик с сигарами, выбрал одну, повертел перед носом, снова положил в ящик и взял другую. Сигары были совершенно одинаковые, и Лунич проглотил улыбку.

От автора

Между днем, когда ушел из жизни Ладó, и днем, когда я родился, лежит промежуток в два десятка лет. Теперь, когда я пишу эти строки, расстояние, отделяющее меня от Ладó, увеличилось до семидесяти лет. Сумею ли я приблизиться к нему, увидеть его таким, каким он был, сумею ли сделать далекое близким?

Живописец Бастьян

Лампа чадила, керосин был на исходе. Над столом слоями висел табачный дым.

40 Ладó снял очки, нагнулся и пробежал глазами напи-

санное. Это были наброски статьи о том, какой вред причиняется народу, если правительство душит всякую свободную мысль.

Ладо подергал себя за усы, но сонливость от этого не прошла. Тогда он отыскал среди бумаг папиросу, прикурил от лампы, быстро и сильно затянулся несколько раз. Огонь скользнул к мундштуку, картон затлел, и Ладо, сплющив окуроч в блюдце, разом выдохнул из легких дым. Испытанный способ помог. В голове прояснилось. Он перечитал статью, выпрямился, разорвал листки. Много общих фраз, растянуто и вяло!

В соседней комнате застонал Георгобиани. Ладо шагнул туда. Голова Георгобиани свесилась с кровати. Ладо повернул его на спину и, мягко ступая, вернулся в свою комнату.

Движения Ладо не были резкими, угловатыми. Лишь когда ему в голову приходила неожиданная мысль, его словно подбрасывало: он стремительно вскакивал и начинал бегать по комнате. Окружающие вздрагивали, а брат Нико говорил: «Опять пружина выскочила из часов».

Лечь спать или посидеть еще? Он разделся и попробовал рукой матрац. Жесткий, повезло. Вытянувшись на спине, он сразу заснул...

Медленно, лицом вниз, он полетел над рыжей пустыней, над свинцовым морем, над заснеженными горами, над городами и селами. Засмеявшись от восторга, вдруг стал падать, стремительно, так, что в ушах засвистело. Внизу тысячи людей испуганно смотрели, как он падает, и он поспешно выбирал, где есть промежуток между ними, махал руками, в ушах стучало: «Только не на них, только не на них!..» Тут его подбросило вверх, как камень из рогатки, и он снова засмеялся и вдруг снова стал падать,

лихорадочно постоя: «Только не на них, только не на них!..»

Проснулся Ладо в поту, с тяжелой головой. Нашарив рукой папиросы, спички и блюдечко, он поставил блюдечко на грудь, поднял ноги на спинку кровати и закурил. Так чувствуют себя пьяницы, опохмелившись, — тяжесть от бровей и переносицы поползла вверх, проделала извилистые ходы к затылку и исчезла.

Судя по солнцу, Георгбониани давно ушел в депо. Дмитрий Бакрадзе еще не вернулся с дежурства. Авель придет в полдень, после того, как встретит Виктора Бакрадзе. Сколько в Аджикабуле осталось шрифта? Пуда четыре, вероятно. Виктор ездит в Аджикабул раз в три дня, привозит по пуду за рейс, значит, дней через двенадцать весь шрифт будет в типографии, и снова ночь за ночью, месяц за месяцем надо будет безвылазно сидеть в доме. Днем сон, ночью верстка набора, чтение корректуры, потом по очереди с наборщиком вертеть маховик печатной машины...

Новое убежище для «Нины» удалось найти неожиданно быстро. Чадровая улица почти всегда пустынна, немного оживляется, когда жители идут в мечеть, потом снова вымирает. Разве что мелькнет женская фигура в длинной белой чадре. Мусульмане живут, отгородившись от улицы глухими стенами, высокими глинобитными заборами. Окна домов с плоскими крышами выходят во внутренние, закрытые со всех сторон дворики. В гости друг к другу без приглашения не ходят, вина и водки не пьют. Придя в дом, закрытыми дверьми не интересуются. Раз двери закрыты, значит, там женская половина, куда вход постороннему мужчине запрещен. И вообще мусульманину негоже проявлять любопытство.

Хозяин дома Джибраил перебрался в Баку из деревни, живет один, о революционерах никогда ничего не слышал, сдать часть дома под картонажную мастерскую согласился охотно — лишние деньги не помешают! Когда установили машины, Джибраил сварил плов и заулыбался в бороду, услышав, что хозяин мастерской Датиго предлагает ему побрататься. Теперь если даже Джибраил что-нибудь узнает, он скорее даст отрезать себе язык, чем выдаст побратима. Но Авеля Енукидзе и наборщика Вапо Болквадзе — работников побратима — Джибраил на плов не пригласил, дал понять, что всяк сверчок должен знать свой шесток. Наполнив пловом миску, он вынес ее в комнату, где стояла печатная машина, и сказал: «Хозяин вам посылает».

Какой все же длинной и растянутой колонной движется человечество! Уже XX век, люди ездят на поездах и пароходах, летают на воздушных шарах, говорят по телефону, изобрели беспроволочный телеграф, мир стремительно меняется, а Джибраил такой же, какими были его предки. Но хвост колонны далеко позади Джибраила. Там пробираются сквозь джунгли охотники за черепами с каменным топором в руке. Когда, через сколько столетий хвост подтянется к голове? Пока что разрыв увеличивается...

На улице слышались шаги. Ладо поднял голову. Шаги удалились. А он было решил, что это Авель.

Ладо раскурил погасшую папиросу. Сколько Авель успевает делать! И кружковой работой занимается, и с типографией все время помогал, и приемка транспортов литературы из-за границы полностью легла на его плечи после ареста Гальперина. Недаром нелегальная кличка Авеля «Старшая лошадь». На вид он совсем еще молод, гораздо моложе своих

двадцати пяти лет. Что ж, поэтами и революционерами становятся рано... Авель ведет переписку с «Искрой». Сложными путями идет литература из Германии и Англии. Один: Лондон — Марсель — Александрия — Батум. Второй: Лондон — Берлин — Вена — Тебриз — Баку, потом есть еще через Вену и Киев, через Стокгольм — Або в Петербург, другие... Чья-то рука берет безобидный журнал, медицинский, допустим, и между печатными строками вписывает тайнописью цифры. Журнал посылается почтой в Берлин. Там другая рука разрывает конверт, вкладывает журнал в новый и надписывает адрес, по которому в Москве проживает... ну, хотя бы мадам Канцель. Получив журнал, мадам Канцель посылает его, опять в другом конверте, мужу, врачу промысловой больницы, живущему в Балаханах. А врач Канцель любит грузинские вина, он забывает журнал в складе Удельного ведомства, куда забрел выпить стаканчик «Цинандали». Так журнал попадает к Авелю или к Ладю. Подержав журнал над огнем, проявив цифры и расшифровав их, можно прочесть просьбу отпечатать брошюру «Морозовская стачка» и разослать ее по таким-то адресам. Никто из посторонних не знает и не должен знать, что он пересылает. Мадам Канцель понятия не имеет, кто ей посылает журнал мод или медицинские справочники для мужа из Берлина. И сами эсдеки знают не так уж много. Только у агентов «Искры», особенно разъездных, сосредоточились десятки путей...

Увидел бы Красин его сейчас, посмотрел бы, как он валяется. Сколько лет Красину? Тридцать или чуть больше. Всегда собран, элегантен, деловит, сдержан, хотя в улыбке, в блеске глаз, в крепком пожатии проявляется человек сердечный и добрый. Леонид Борисович держит чувства под контролем разума. Но

то что некий «Отец Нины», который часто поверяет правильность умозаключений чувством. Красин — главный инженер общества «Электрическая сила». Он устраивает эсдеков к себе на работу, добывает деньги и бывает в высшем обществе, откуда выносит иной раз очень полезные сведения. Его главная обязанность — уцелеть при любых провалах, чтобы потом было кому восстановить прерванные связи «Искры» с бакинской организацией.

Ладо бросил окурок в блюдечко. Вставать не хотелось.

Повернув голову, он увидел паутину — округлую сеть, протянутую между спинкой кровати и стеной. От центра сети во все стороны — так дети рисуют лучи солнца — шли струны потолка, их пересекало множество тончайших кругов, и все нити отливали на свету голубым и фиолетовым цветом. Серенький паучок сноровисто оплетал вздрагивающую муху. От дыхания Ладо ажурная пряжа заколебалась. Паучок забеспокоился, оставил муху и пробежался по своим воздушным дорожкам. Но с ним что-то случилось, он упал и повис, раскачиваясь на паутине. Ладо наблюдал за паучком, который стал делать что-то непонятное. Быстро перебирая длинными лапками, он полез вверх, словно гимнаст в цирке по канату, но канатик все укорачивался, и казалось, что паучок вбирает его в себя.

Ладо смел рукой паутину и отвернулся.

...Обычно много паутины бывает осенью. А этим летом, особенно в Киеве, паутина летала всюду. Он долго слонялся тогда по городу. Нового агента «Искры» — Наследника Красавца в Киеве не было — он должен был приехать на следующий день утром, и Ладо решал в уме проблему ночлега. Вдруг захолодало, подул ветер.

В парке на Владимирской горке паутина свисала с восток, связывала листву, липла к лицу и рукам. Навстречу Ладю шла девушка, некрасивая, с большими светлыми глазами. По ищущему взгляду, по запаху дешевых духов Ладю угадал, кто она. — Где тут поблизости кухмистерская или обжорка? — спросил он. Она остановилась, показала пальцем: — Там. — Очень уж у нее был одинокий вид. Он, даже не успев подумать, предложил: — Пойдемте, поедим вместе. — Она сдвинула брови, оглянулась. Вокруг никого не было. Снова посмотрела на него. Он улыбнулся. — Что ж, пойдемте, — сказала. Он заказал борщ. — Я выпила бы, — сказала она. Он в уме пересчитал наличность и заказал два шкалика водки. Лицо у нее порозовело, она растегнула ворот легкого пальто и сперва украдкой, потом откровенно стала рассматривать его. — Вот вы красивый, сильный, а мне вас жалко. — Он удивился, но ничего не сказал. Они выпили по стакану чая, и Ладю позвал полового. Ее рука под столом вдруг положила на колени Ладю кошелек. Он почувствовал, что бледнеет, — он не краснел, а бледнел от стыда или возмущения — и посмотрел на нее в упор. Она сидела напряженная, готовая расплакаться, если он не возьмет деньги. Надо было сказать, что он с Кавказа, что у них так не принято, пусть не обижается. Как она угадала, что у него плохо с деньгами? Он сделал над собой усилие, взял кошелек и расплатился. Лицо ее посветлело. — Вы не тутошний, есть у вас где переночевать? — Он покачал головой. Когда они вышли, он молча вернул кошелек. Она спрятала его в ридикюль. — Пойдемте, сведу вас к себе, поспите, я уйду до утра, не помешаю. — Она пошла вперед, не дожидаясь согласия. Привычная осторожность снова заставила задуматься. Некоторые на таких, как она, состоят на службе в охране. Но ей, кажется, можно

было довериться. Он прибавил шаг и догнал ее. Они дошли до какого-то дома. В каморке не было окон, дверь выходила на лестницу. Она зажгла лампу.— Утром, если рано уйдете, ключ под половиком оставьте.— Опустив глаза, она торопливо вышла. Ладо накиннул крючок на дверь, разделся, потушил лампу, лег. На стене тикали ходики. Засыпая, услышал какой-то звук за дверью, вскочил, быстро, на ощупь оделся, неслышно подошел к двери и прислушался. Жандармы сразу постучали бы... Откинув крючок, слегка приоткрыл дверь и скорее угадал, чем узнал женщину, которая дремала, сидя на нижней ступеньке лестницы. Он позвал ее в комнату и, ругаясь по-русски и по-грузински, уложил на кровать, закутал одеялом и лег рядом, укрывшись своим пальто.— Дуреха! — сердито повторил он и заснул, словно провалился в яму. Проснувшись, увидел, что она ходит по комнате, накрывая на стол. Он вскочил, посмотрел на часы. Она показала рукой в угол комнаты: — Рукомойник. Умойтесь. Чай горячий.— Он шагнул к рукомойнику, фыркавая, мгновенно умылся, провел полотенцем по лицу, одной рукой влез в рукав пальто, другой схватил чашку с чаем. Она сказала, не переводя дыхания: — Хорошо вы давеча меня ругали, а что дурехой оказалась, простите, и не жалею я вас, как вчера, я благодарствую и очень вам желаю, чтобы душа ваша никогда не была, как у меня, заблудшая и чтобы не были вы одинешеньки на белом свете.— От взгляда ее, голоса и от того, что она сказала, на глаза навернулись слезы. Она испугалась: — Почему вы плачете? — Он вытер слезы.— Глаза у меня, милая, так устроены, видать, материнские.— Они посмотрели друг на друга, радуясь и печальясь, и он шагнул за порог, пригнув голову, чтобы не задеть за притолоку, и улыбаясь ее улыбкой. Так, с улыбкой, он и пришел к Наследнику

Красавца. — Чему вы радуетесь? — растерянно спросил тот. — Надеюсь, добрались без «хвоста»? — Не беспокойтесь, — ответил Ладо. — Я подарок получил от одного человека, пожелание хорошее. — После встречи он прошелся по городу, посмотрел издали на знакомую ему Лукьяновскую тюрьму. «Пусть добрая судьба поможет вам уйти оттуда, друзья мои», — подумал он.

Пожелание сбылось. Вчера Красин рассказал Авелю, что из киевской Лукьяновки бежали одиннадцать заключенных и в числе их, кажется, бывший агент «Искры» в Баку Гальперин. Наверное, они ушли из тюрьмы оврагами...

Ладо поставил блюдечко с окурком на стол и увидел, что паучок снова протягивает нить от кровати к столу.

Встать! Он вскочил, ополоснул лицо, взял со стола горбушку хлеба и зачерствленный сыр и принялся завтракать, запивая хлеб и сыр водой из кружки и неслышно расхаживая по комнате. Вода пахла болотом. Ее черпали из Куры, в баржах-водоливах морем доставляли в Баку, развозили по городу в деревянных бочках. Ждать Авеля или выйти в город? Дел до полудня нет. Удивительно, что после возвращения в Баку Ладо ни разу не заметил слежки за собой. Как ни странно, чувствуешь себя увереннее, если знаешь, что за тобой ходит филер, да еще знакомый. Его всегда можно провести — или скрыться, или долго водить за собой, отдаляя от конспиративной квартиры. Может быть, оттого, что филеров не видно, и появилось в последние дни это ощущение кольца, которое сжимается вокруг тебя? Такое ощущение было не раз. Главное — не поддаваться ему, не спрятаться в пору, а идти навстречу тому, что грозит, и тогда кольцо словно разожмется.

Выйти, немедленно выйти! Пройтись по городу, посмотреть на море, полюбоваться на гуляющих барышень.

Он несколькими взмахами щетки очистил от пыли свою щегольскую сюртучную пару, оделся, повязал галстук, протер тряпочкой штiblеты, сдвинул шляпу на затылок и вышел за калитку, окунувшись в сухой вной и слепящий свет солнца. Было жарко, и это было хорошо.

Ладо шел неторопливо, но из-за того, что каждый шаг его был чуть ли не метровый, казалось, что дома проносятся мимо него.

«Кто я сейчас? — спросил он себя. — Деметрашвили, Меликов, Георгобиани? А может, я снова Ладо Кецховели?» Интересно, догадались ли жандармы, что Дати́ко Деметрашвили два года назад раздвоился, и одна половина его по-прежнему обитает в Гори, а другая с паспортом в руках живет в Баку? Настоящий Дати́ко далек от революционных дел, но он с детства, еще с Горийского духовного училища, привязался к Ладо и охотно подарил ему свое имя вместе с удостоверяющим его личность паспортом.

Если вдруг встретится инженер Костровский, придется опять превратиться в Меликова. Так кто же я? Меликов? Я — бельгиец Бастьян. Альфред Теодор Иосиф Бастьян. И баста!.. У нас в Бельгии... Море ваше пахнет нефтью и потом, а вот в Монте-Карло... А ргорос, я живописец. Au revoir! Почти все его познания во французском. Не густо.

Ладо остановился у лавчонки с надписью «Колониальные товары». Бастьян, на сцену!

Степенный кахетинец с бородкой молча поклонился. Ладо ткнул пальцем в груши.

— Пять копеек, — по-русски сказал продавец.

Ладо пожал плечами и показал три пальца. Про- 49

давец подумал, догадался и показал пятерню. Ладо хотел спросить о цене на арбузы и дыни, но увидев виноград, крупный, с прозрачными ягодами, без косточек, ткнул пальцем в него, купил фунт и тут же у лавки стал есть — как в детстве, держа кисть винограда у рта и объедая по нескольку ягод, отчего рот сразу наполнился соком. Продавец посмотрел на Ладо, навалил виноград на чашку весов, не взвешивая, поставил чашку на прилавок и знаками объяснил, что он угощает.

Ладо сказал:

— Мерси.

Глазами и бородкой кахетинец напоминал мужичка, у которого Ладо ночевал в селе под Иваново-Вознесенском. Мужичок, взяв деньги за ночлег, ушел, вернулся пьяным, полез на печь к Ладо, рвал на груди рубаху и хрипел: «Мы за батюшку-царя против кабатчиков. Водка будет дешева — бога хвалить станем!» Жена позвала его, он слез с печи и схватился за топор. Ладо спрыгнул за ним, отнял топор, долго уговаривал его и успокаивал. Мужичок заснул на лавке, а Ладо сел возле, но задремал, а когда очнулся, мужичок прилаживал петлю из вожжей к крюку для колыбели. Ладо отнял вожжи, и тогда мужичок стал на колени и попросил, чтобы он не мешал, дал ему волю удавиться. И такой он был жалкий, что Ладо заплакал. Мужичок дико на него посмотрел, вскочил, торжествуя закричал: «А-а, пожалел! Тот же! — Сразу отрезвев, он снова бухнулся на колени. — Христа ради, прости. Иди на печь. Не бойся, сняло у меня теперича», — он показал на грудь. Наутро мужичок одарил Ладо торбой с ржаными сухарями. «Зарок даю тебе, зелья проклятущего в рот не возьму». «Смотри же», — сказал Ладо. «Не веришь? А ты поверь, поверь». «Верю», — сказал Ладо...

— Бери еще, — сонно сказал продавец. — Откуда ты? Не понимаешь? А на грузина похож.

Ладо вытер рот и бороду платком, показал продавцу большой палец и причмокнул.

— Пхе! — с презрением сказал продавец. — Хороший виноград, из которого вино делают. Красное вино — кровь и солнце! Карданахи! Белое тоже — Цинандали!

— Велисцихе! — отозвался Ладо.

— Кварели! — сказал, оживившись, продавец.

— Чумлаки! — весело напомнил Ладо.

— Рунспири! — воскликнул, распаляясь, продавец.

— Ахмета! — не уступал Ладо.

— Веджини!

— Шормацхоне!!

— Вах, ты на него посмотри! — крикнул продавец. — Откуда столько вин знаешь? Ты кто?

— Из-за границы приехал, — смеясь, по-грузински ответил Ладо, — разве не понял, я — иностранец?

— Понял, как не понял, — сказал продавец. — Смотри, до чего дело дошло, иностранцы и по-грузински говорят, и кахетинские вина знают. Да здравствует моя родина!

— Да здравствует! — повторил Ладо.

— Твоя родина тоже пусть здравствует! — сказал продавец.

Ладо засмеялся на всю улицу и зашагал дальше.

— Эй, шутник, подожди! — крикнул ему вслед продавец. — Вина вместе выпьем!

Ладо, с удовольствием поглядывая на солнце, дошел до парашета. Он пошел к морю, сел на камень и стал смотреть на воду. Когда смотришь на море, понимаешь, каким цельным и красивым может быть мир. Человек на земле должен быть подобен капле в 51

море, каждый в отдельности прозрачен и чист, а все вместе — едины и слиты. А жить человек обязан, как чинара, что растет возле Телави. Ей восемьсот лет, а она все шелестит листвою, дает прохладу путникам и прикрывает своей тенью от зноя родник.

У ног плескался прибой, так же, как в прошлом году в Батуме. Он вырвался тогда из типографии на два-три дня, сказал, что хочет сам проверить, как доставляют с французских пароходов литературу, но говоря это, слукавил, ему попросту хотелось развеяться, подышать другим воздухом. Отдохнуть было просто необходимо, потому что у него от постоянной ночной работы уже ум за разум стал заходить. Авель все в Батуме устроил. Явка была в аптекарском магазине Апик-Ефенди — так в Батуме называли фармацевта Джераяна, — увидев Джераяна, надо было спросить Фридриха. Фридрихом были иногда связанные, иногда сам Авель. На пароль «победа» Фридрих отвечал: «света над тьмой». После этого можно было заговорить о делах.

В комнате позади аптеки они с Авелем провели весь день. Вечером отправились в порт, где был приготовлен ялик. Ладо посадил Авеля на корму, сам сел за весла. Море ровно вздымалось, видимо, докатывались отголоски далекого шторма, а небо было звездным, спокойным. Пароход чернел на рейде огромной слоновьей тушей. Кто-то на палубе пел песенку по-французски. Он бросил весла, достал папиросу, прикурнул. На палубе тоже трижды чиркнули спичкой. Он подогнал ялик к борту, и сверху посыпались пакеты. Один упал в воду. Авель подцепил его багром. Пакет был обернут в клеенку и не промок. Когда ялик отделился от парохода, Ладо бросил весла. Теплый бриз принес с берега запах цветущей магнолии. Вдруг где-то далеко засмеялась девушка. Смех возник словно из

ничего. Он сначала звучал совсем тихо, потом окреп, усилился, зазвенел и тут же ослаб, пронесся дальше... Если бы не пакеты с литературой и не Авель, он погнал бы ялик в том направлении, откуда прилетел смех, и нашел бы девушку, которая смеялась так, будто в мире извечно живет и будет жить одна только радость.

Где-то вдали загудел пароход.

Ладо увидел на ярко-синем полотнище моря белую черточку. За ней кометным хвостом тянулся дым.

А ведь он мог быть далеко, в чужих краях, бродить туманными улицами Лондона или пить где-нибудь в шумном марсельском кабаке бургундское, или любоваться снежной вершиной Юнгфрау в стране, которая издавна дает приют беженцам. За ним не ходили бы филеры, не надо было бы остерегаться жандармов, он мог бы говорить вслух все, что думает, и печатать в газетах статьи обо всем, как это делают многие, бежавшие из своей отсталой, бесправной страны. Рассказывают, что по сравнению с абсолютистской, полуазиатской Россией Англия — свободная и цивилизованная страна. Все это, по-видимому, так, и бельгийский живописец Бастьян, предъявив свой паспорт, выехал бы из России и за границей стал бы тем, кто он есть, — Владимиром Кецховели, но неизвестно, когда Кецховели смог бы вернуться в привычные, любимые места. Как ни хороша чужбина, она все-таки чужбина. Богатой и красивой матери не нужен чужой сын, в нем куда больше нуждается его собственная, больная всеми недугами мать.

Когда «Маша» — человек, посланный по заданию из Лондона, протянул Ладо паспорт на имя Бастьяна, это означало, что путь ему открыт, что его ждут и что он сам должен решить — ехать или не ехать. Он решил остаться...

Пустячный давний случай

Разложив на столе материалы, имеющие отношение к Кецховели, Лунич не спеша их просматривал. Прошрое его мало интересовало, но последние сообщения он читал внимательно. Агентурные сведения о Георгеньяни. Конечно, должно быть — Георгобиани. Приметы Георгобиани совпадают с приметами самого Кецховели. Приобрел паспортную книжку на фамилию Меликова... Кажется, все ясно. Кецховели — Деметрашвили — Георгобиани — Меликов — одно лицо. Когда Кецховели ночевал на квартире Джугели и жена Джугели сказала Лаврову, что это ее крестный из деревни, она, кажется, назвала его фамилией Деметрашвили. Или как-то иначе?

Лунич покрутил ручку телефона и снял трубку.

— Ротмистра Лаврова, барышня... Ротмистр, несколько вопросов в связи с Кецховели. Как назвала его жена Джугели, когда вы не опознали «крестного»? Помните?

— Деметрадзе, — раздраженно ответил Лавров.

— Благодарю вас. Скажите, ротмистр, а содержание наших агентурных сведений о приобретении паспорта на имя Меликова, о Георгобиани, и так далее, передано в Баку Порошину и Вальтеру?

— Мне сие неизвестно. Мы сообщили в Петербург, в департамент полиции, а как поступили дальше...

— Понимаю. Нового из Баку ничего нет?

— Нет.

— Благодарю.

Лунич повесил трубку и дал отбой.

Деметрашвили, Деметрадзе — все одно. Почему

54 у Кецховели было пристрастие к одной фамилии?

Видимо, это фамилия реально существующего человека. Так же, наверное, существуют и Георгобиани, и Меликов. Фальшивые паспорта на выдуманные фамилии — слишком грубо. Давно можно было найти первоначальных владельцев паспортов, и сразу протянулись бы нити к Кецховели. Но Лаврову и в голову не пришло обобщить данные. Впрочем, чтобы это сделать, надо иметь голову. Здорово, однако, мы сами помогаем эсдекам скрываться. Наверняка и департамент не счел нужным сообщить агентурные данные Порошину, наверняка в Петербурге их просто подшили к другим донесениям из Тифлиса. Ох уж эти мне неповоротливость и чиновничья тупость! Дать депешу Порошину? Без Дебиля нельзя, да это и не в интересах ни Дебиля, ни его собственных.

Лунич немного устал, как обычно уставал перед обедом. Но обедать было еще рано. Неужели он так утомился вчера? Быть того не может.

Он откинулся на спинку кресла и вытянул ноги. Отдохнув, принялся складывать бумаги в папку. Сегодня вечером обязательно надо пойти в ресторан Дворянского собрания, потом — к Амалии. Уходя, он сказал ей — «До завтра», и она, кажется, кивнула. Если Гришка позабыл заказать букет, придется накоптылять подлецу по шее.

Луничу попалась фотография Кецховели. Фотография старая, на ней — трое мальчков, посредине он, Кецховели. Высокий лоб обнаруживает ум, а глаза... Что-то примечательное в этих темных глазах. Пожалуй, так выглядят дети в очках. От очков взгляд становится твердым, лицо — взрослым, а снимет мальчуган очки — и видишь, что он еще совсем ребенок. Почему-то лицо Кецховели кажется знакомым. Где он мог его видеть? Нет, определенно лицо знакомое.

Лунич поднялся и, прогулявшись по комнате, остановился у окна. Проехал фазтон. За ним бежали мальчишки, стараясь прицепиться сзади. Кучер, не оборачиваясь, хлестнул их длинным кнутом. Один из мальчишек завопил и, схватившись за глаз, убежал. Товарищи побежали за ним.

Луничу вспомнился совершенно пустячный давний случай. Лет семь тому назад он выехал с казаками в карательную экспедицию: не по службе, просто захотелось поездить верхом и проветриться. Казаки по просьбе князя Амилахвари должны были совершить экзекуцию — выпороть крестьян за какую-то провинность. Пока казаки работали нагайками, Лунич объехал деревню и собрал на склоне горы букет азалий для супруги князя, к которому он и хорунжий были званы на обед. Конь у Лунича был горячий, он пустил его в карьер. Возле церкви из-за кустов на дорожку выбежал оборванный мальчуган лет шести. Конь метнулся в сторону, на деревья, но Лунич удержал его. Когда он обернулся, оборвыш лежал на спине, и лоб, рассеченный копытом, покраснел от крови. Глаза мальчика были широко раскрыты, он смотрел на Лунича — без испуга, без боли, он словно удивлялся и спрашивал о чем-то. Конь храпел, метался, Лунич прищипорил его и поскакал дальше.

Лунич подошел к столу, повертел в руках фотографию Кецховели — где все-таки он его видел? — бросил фотографию в папку, завязал тесемки, сделал несколько приседаний и дыхательных упражнений. Хорошо бы съездить в прохладную Россию. После смерти матери отец живет вдвоем со старым денщиком, писать не любит, совсем одряхлел, наверное. Лунич мысленно обошел отцовский дом. Скрипучие полы, темные коридоры, ветхая мебель, комодики, секретеры, огромные сундуки. Все после смерти отца

падо будет выбросить, все, кроме драгоценностей матери и портретов прадеда и деда.

Лунич представил себе растерянного мальчишку, но спохватился — Кецховели вовсе не мальчишка, ему около двадцати шести лет, он опытный революционер, — и почувствовал вдруг странную неприязнь, не служебную, не профессиональную. Он подумал, что это кровь Луничей заговорила в нем. Пожалуй, следует пренебречь личным, дать сегодня срочную денежку ротмистру Вальтеру насчет фамилий, под которыми скрывается Кецховели.

Задремезжал телефон.

Лунич вздрогнул от неожиданности и взял трубку.

Ладо

Можно стараться ни о чем не думать, просто смотреть на море, просто ходить по городу, просто жмуриться от солнца, но мысли все равно лезут в голову, и снова кажется, что кольцо вокруг тебя смыкается, хотя ты не замечаешь ничего подозрительного.

К порту подошел таможенный чиновник. Может быть, тот самый, который вскрыл посылку со стереотипным клише «Искры». Как похожи все таможенные чиновники! Тот, что проверял на пристани в Одессе багаж у пассажиров, выпячивал грудь, поднимался на носки, чтобы казаться выше, дотошно просматривал чемоданы и баулы и ко всему придирался. Сколько нужно перемен и времени, чтобы у маленького чиновника, маленького человека исчезло желание унижать других и чувствовать себя от этого значительнее? Когда в таможенную вошел генерал, чиновник перестал пыжиться, согнулся, и сделал он это,

будучи уверен, что генералу понравится его угодливость, и генералу в самом деле понравилась приниженность чиновника. Самое отвратительное, что с обеих сторон все это не было игрой, а вызывалось внутренней потребностью. У одних — потребность унижаться, у других — унижать, и если их поменять местами, тотчас переменятся и потребности. Что это — приспособляемость ради того, чтобы выжить, отсутствие достоинства, стремление, с одной стороны, подтвердить свое право на захват чужого куска, а с другой — попытка даже путем унижения сохранить то маленькое, что у него есть?.. В саратовском поезде, когда все пассажиры уснули, сосед — румяный купец — вдруг заговорил с ним. — Мечту имею — жепиться. Чтобы девица маленького роста была, нежная, волосы светленькие, как у ангелочка, и чтобы все мне потом прощала, все... Не знаете, в каком городе такая девица на выданье есть? Может, встречали? Вы не по торговой части? — По торговой. — Так я и подумал. А вы не слыхали — говорят, что царь наш крепко зашибает, то есть водку пьет? Я это знаете почему спрашиваю? Другая мечта моя — с царем по-свойски штоф водки распить. И слыхал я еще, будто в кои-то года, вроде в семнадцатом столетии, царя чистых кровей подменили и поставили простого, не то из мужиков, не то из мещан, поэтому имена у них такие: Александра, Миколай. Правда это? — Если бы и так, — сказал Ладо, — вам-то что от этого? — Лестно, если своя косточка в царях. — Ладо усмехнулся и закурил. Купец присматривался к нему. — Вы не из цыган будете? — Ладо рассмеялся: — Наблюдательный вы, я и правда кочевник. — Так скажите тогда, исполнятся мои мечты или не исполнятся? — Станете ли вы царем? — Я про такое не спрашивал. — Но про себя подумали. — Ишь ты, — пробормотал купец и

немеого отодвинулся.— Вы лучше насчет девицы скажите.— Скажу. Познакомьтесь с высокой, да черноглазой, да озорной, женитесь и сами ей все и всегда прощайте. Еще одно добавлю — когда на место приедем, пустите меня к себе ночевать дня на три, и пусть и околоточный, и соседи только одно знают, что я по торговой части и ваш знакомый.— Чего? — купец оцепенел, снял картуз и вытер пот со лба.— Так, значит, вы вовсе не по торговой части? — Не бойтесь, не грабитель я.— Ишь ты, заковыку какую мне обладили! Чтобы я прощал, а не мне прощали. Вы что же хотите сказать, что я должен стать не таким, каков я есть? — Да,— сказал Ладос.— Ну, не знаю, господин, вы, конечно, не из цыган, не знаю, как там... Тыфу ты, прямо промеж рогов вы меня долбанули! Люблю таких, как вы, своеобразных. Ладно, валите ко мне, купили вы душу мою со всей моей требухой. Ночуйте у меня, ешьте, пейте, никого не бойтесь! — он опять оглянулся на пассажиров и понизил голос.— Скинете Миколу? — Обождем, пока вы с ним штоф водки разопьете..

Ладос ушел от моря и стал бродить по городу, оставившаяся иногда у витрин или закуривая, — филеров за ним не было. Осторожность не мешала размышлять о том, о чем само собой думалось, и это создавало иллюзию полной освобожденности, сняло привычное напряжение. Мир многослоен и глубок; как объяснить душевные переломы каждого отдельно взятого человека, мужика, вскричавшего с облегчением: «А-а, пожалел!», купца с его затаенным стремлением достичь власти или хотя бы приблизиться к ней, с его чувством вины за это стремление и потребностью в прощении.

На перекресток выехал фэзтон. Ладос скорее угадал, чем разглядел седока, и вошел в подъезд дома.

Фаэтон медленно проехал мимо. Костровский удобно сидел на подушках, положив на колени фуражку, и с любопытством осматривал дома. «Красивый человек, — подумал Ладó, — и не одинок в своей идее о технической революции».

Опустив глаза, Ладó прочитал на мозаичном полу надпись по-латыни «salve» — «здравствуй». Чем объяснить, что в подъездах одних домов написано «salve», а в других «vale» — «прощай»?

Цокот копыт отдалился. Ладó вышел из подъезда и проводил взглядом фаэтон. Vale, Костровский!

Который час? Вернуться или не вернуться? Нет, Авель с Виктором Бакрадзе наверное только встретились. Когда Виктор склоняется над ним и с высоты своего роста ласково спрашивает: — Что надо еще сделать, Дати́ко? Ты только скажи мне, — кажется, что Виктор годится ему в отцы. Добродушное спокойствие Виктора идет от огромной физической силы, и он, кроме того, как ребенок, верит в то, что все, сказанное Давидом, правильно и бесспорно. Виктор не станет рвать на груди рубаху, бросаться на жену с топором или делать петлю из вожжей, чтобы повеситься. И ему не нужна беленькая девочка, которая все ему будет прощать. Он сам очень добр. Но помощь одинаково нужна и тому, кто делает из вожжей петлю, и такому, как Виктор, потому что несчастны и те люди, душа которых разорвана, и те, чья цельность не выросла из пеленок.

Незаметно для себя Ладó свернул на Балаханское шоссе и подошел к дому, в котором помещалась первая их типография. Захотелось заглянуть внутрь, но он прошел мимо. По соседству жили излишне любопытные люди — одна из причин, по которой пришлось убрать отсюда типографию. Пройдя немного, он оглянулся. Возможно, что большие не придется увидеть

дом, в котором родилась «Нина». Когда из «Искры» сообщили, что конспиративное название типографии будет «Нина», Ладос сказал: — Уж не в честь ли святой Нины — распространительницы христианства в Грузии ее так называли? — Гальперин рассмеялся: — Что ж, это дважды символично. Ведь имя «Нина», как вы мне говорили, распространилось по миру из Грузии. Пусть будет так: в Кишиневе — «Акулина», а на Кавказе — «Нина». — А что, была такая женщина по имени Акулина? — спросил Авель. — Чем она прославилась? — Гальперин не был смешлив, но захохотал, повторяя: — Простите меня... Ой, не могу!.. — Авель посмотрел на него и тоже засмеялся. Он умел отнестись к себе с юмором.

Пройтись, что ли, до дома Али-Бабы? Можно. В этой одежде, в очках, с бородой, его не узнают, да и вряд ли кто-нибудь выберется на улицу в такую жару.

Сюда перенесли типографию с Балаханского шоссе. Жаль, нельзя увидеть Али-Бабу и его сынишку Нури. Они обрадовались бы ему.

Али-Баба, когда они работали, заходил вместе с сыном, присаживался и молча наблюдал. Он просил: — Возьми к себе Нури в ученики, Давид, пусть пять лет бесплатно работает, научится книжки делать, ученым человеком станет. — Нури, когда отдыхали, забирался на колени к дяде Давиду и приглаживал его растрепанные волосы. Или брал оттиск и, водя пальцем по буквам, спрашивал: — Это что? — Это буква «б». — А это? — Это «р»... Все вместе «Брдзола», а означает это слово «Борьба». — Нури можно было отвечать на такие вопросы. Он по молодости лет все быстро забывал.

Кржижановский, услышав, как законспирирована «Нина», только ахнул: — Здесь, в России, вы прова-

лились бы на второй же день, — сказал он. Кржижановский был прав. Но в Баку — хаотичном, многоязычном, где почти все были приезжими и не знали друг друга, каждый предприимчивый человек или открывал сапожную мастерскую, или варил леденцы, или клеил картонные коробки, или ткал коврики. Разрешения на создание кустарной мастерской не требовалось. Мастерские открывались, быстро прогорали и возникали вновь. По-бакински все было в порядке вещей: ковыряются себе Давид с помощником Вано, деньги зарабатывают. Секретов от хозяина нет. Хочешь зайти поговорить — милости просим, а чужих не приводи, Али-Баба, они только мешать станут. Что посторонние могут помешать, Али-Баба понимал — он видел, как много работают Давид и Вано, и одобрял их. Залог безопасности «Нины» был именно в этой «открытости». Заметь Али-Баба, что от него таятся, он заподозрил бы неладное: вдруг мошенники?

Так было. Но теперь, когда жандармы рыщут повсюду, искрякам придется стать осторожнее. Хозяин дома Джигбраил смекалистее, чем Али-Баба. Хорошо бы включить его самого в работу, а еще лучше — подыскать на будущее новое убежище и вырыть под домом подвал с потаенным ходом. Надо сказать об этом Авелю. Пусть посоветуется с Красиным, тому нетрудно набросать чертёжик...

Жандармы, наверное, до сих пор считают, что «Брдзола» печатается за границей. В статье «От редакции» для первого номера специально было написано, что, находясь вдали от родины, редакция лишена возможности своевременно давать хронику и просит читателей писать о революционном движении в Грузии. Бывало, наборщик Вапо и он не выходили

внал, где находится «Нипа». Даже Красина сюда не приводили. Таково было требование Ладо — он остерегался своих больше, чем Али-Бабы и соседей-мусульман. Али-Бабой жандармерия не интересовалась, дворников в Баку только еще заводили. Но за эсдеками следили филеры, и любой находящийся под наблюдением эсдек мог, не заметив «хвоста», навести на типографию жандармов. Остерегаясь, Ладо не говорил и наборщику Вану, что типография называется «Ниной». В шутку Ладо называл ее типографией Али-Бабы и двух разбойников.

В том, что только Авель приходил в типографию, было одно неудобство — если он уезжал из Баку, никто не приносил еду, и они часто голодали. Как на зло, на другой стороне улицы был в подвале духан¹. Оттуда пахло шашлыком и пловом. Запахи из духана терзали, как терзают грешников в аду, приговоренных к голоду, поставленные поблизости яства. Если становилось невтерпёж, Ладо предлагал: — Будем питаться запахом. Вах, какой вкусный плов, я уже сыт.

Уставали и от бессонницы. Вану долго крепился. Наконец ночью вдруг бросил маховик. — Не могу больше, Датико, хочу спать. — Круглое, плотное лицо его с челочкой черных волос на лбу было сонным, как у ребенка, и он шатался. — Ложись, — разрешил Ладо. Вану вышел в другую комнату, было слышно, как затрещала тахта. — Датико! — вдруг позвал он. — Да, Вану. — Давид, тебе не бывает трудно смотреть на меня? Понимаешь, все время перед глазами одно лицо, один человек и день, и ночь, и месяц... — Нет, Вану. А с тобой так бывает? — Я просто так спросил, Давид, подумал, вдруг тебе надоело, что я все время торчу перед тобой. — Вану вздохнул и захрапел. Ладо

¹ Духан — закусовая, трактир.

сел, придвинул лампу, но глаза слезились, править гранки он больше не мог. Задумавшись над словами Вано, он почувствовал тоску по близкому человеку и, закрыв глаза, стал вызывать в воображении разных людей, но из этого ничего не получилось. Он вытер руки, отворил дверь и вышел во двор. Светила большая луна. От свежего воздуха закружилась голова. Ладо хотел вернуться, прилечь, но в калитку вдруг стала царапаться какая-то собака. Ладо прислушался — кроме собачьего повизгивания, ничего не было слышно, и он открыл калитку. Во двор вбежала остромордая собака с обрубленными ушами и обрывком цепи на шее. Ладо протянул руку, собака отскочила. Сухое, поджарое туловище напряглось, собака пригнувалась, а ее темные, в желтых ободках глаза пытливо рассматривали Ладо. Он улыбнулся, она замахала хвостом, дала себя погладить, лизнула ему руку, легла на спину и задрала лапы. — Собачина ты этакая, — сказал Ладо, — откуда ты взялась? — Она поднялась, вошла в галерею, оттуда в комнату. Ладо пошел за ней. Собака понюхала спящего Вано. Он всхрапнул. Собака отскочила, взъерошилась и просительно посмотрела на Ладо. Он засмеялся. Собака обнюхала комнату и побежала к выходу, оглядываясь на Ладо. Недоумевая, он направился за ней. Собака вывела его на улицу, тявкнула и, оглядываясь, побежала. — Куда ты меня зовешь, псина? Что-нибудь случилось? — Ладо запер калитку и пошел за собакой. Увидев, что он идет, она завиляла хвостом и побежала вперед пустынной улицей, по которой он иногда прогуливался ночами, отдыхая после работы. Может, собака видела его раньше, а он ее не замечал? Появление собаки было загадочно, как во сне. Немного погодя он остановился, оглянулся. Внизу город подковой обжимал бухту. У мыса Зигбурун светились

на мачтах пароходов белые огоньки. В городе тоже кое-где, как светлячки, горели газовые фонари. Лачуги Чемберекенда были в темноте. Собака таякнула.— Хватит! — сказал Ладос.— Дальше я не пойду, я хочу спать.— Он повернул обратно. Собака завизжала, потом завывала.— Ва! — Ладос снова остановился и посмотрел на собаку. Она, наклонив голову, глядела на него. Ладос пожал плечами и побрел за ней. Впереди показалось кладбище.— Эй,— сказал Ладос,— мне сюда еще рано! — Собака оглянулась, дождалась его и, виляя хвостом, повела за собой между полуразрушенными мавзолеями и осевшими в землю плитами. У мавзолея из плоского кирпича собака пролезла сквозь кустарник и скрылась в проломе стены. Ладос нагнулся, раздвинул колючие ветки и заглянул в пролом. Собака сидела в нише на сухой траве и, повизгивая, звала его. Кроме нее, в нише никого не было. Ладос сел, притянул собаку к себе и поцеловал в голову.— Тебе нужен товарищ? Не хочешь быть одна? Эх ты, собачина, собачина! Небось, сбежала от хозяина, который держал тебя на цепи? — Собака легла и положила морду ему на ногу. Ладос снова заговорил с ней:— Как же ты нашла меня? Бегала по городу, искала? И учуяла, что только в нашем доме не спят? — Собака посапывала и преданно смотрела ему в лицо снизу вверх. Хлопая крыльями, над кладбищем пролетела ночная птица. Луна светила над Локбатанской долиной. Ладос поднялся. Собака заскулила. Он погладил ее.— Не могу, поверь мне, никак не могу остаться. Пойдем лучше ко мне, а? — Пожалуй, завести такого сторожа было бы неплохо, ни один посторонний близко не подойдет. Кормить вот только нечем. Он пошел с кладбища. Собака, поскуливая, побежала за ним, но вскоре отстала. Когда он оглянулся, ее не было видно.

До сих пор осталось нелепое чувство потери, словно он то ли изменил кому-то, то ли в чем-то ошибся. Красин пожал бы плечами, услышав историю с собакой. Он говорил: «Не употребляйте, пожалуйста, вы этих словечек: «кажется», «ощущаю». Точнее надо — факт за, факт против, вывод».

Ладо колесил по бакинским улицам. А как назывались улицы в Самаре, по которым он ходил, пытаюсь узнать, где находится явочная квартира? Одна называлась Царской. Чуть ли не в каждом городе Российской империи есть Царская улица, Николаевская, Александровская. Красин как-то показал запрещенную книгу француза маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» и перевел: «В России рабское восторженное поклонение, безмерный фимиами... культ обожествления своего монарха прерывается вдруг страшными кровавыми антрактами». Когда-нибудь люди перестанут рабски поклоняться царям и называть улицы Николаевскими и Александровскими.

По привычке все ускоряя и ускоряя шаг, Ладо пошел в сторону Чадровой улицы. Немного не дойдя до дома Джибраила, где стояли печатная машина, стереотипный станок и кассы со шрифтом, он поднял голову и круто повернул обратно. Места, связанные с типографией, притягивают его сегодня к себе как заколдованные.

Ладо, прищурившись, посмотрел на солнце. Хорошо, что он дал себе волю погулять по городу. Не так уж много надо человеку, достаточно вообразить, что ты свободен в своих поступках. На самом же деле человек в нынешних условиях волен только в своих мыслях, да и то, если он держит их при себе.

Выйдя к окраинным улицам, Ладо издали посмотрел на черную землю, окутанную вонючим дымом, — где-то горел мазут, и крохотные темные фигурки

суетились вокруг пожарища. Пожары бывали часто, хозяева ставили водку ведрами за спасение своего добра, и люди лезли в пламя, чтобы потом хоть ненадолго забыться в пьяном угаре.

Обратно Ладо шел кружным путем, мимо ночлежного дома. Он побывал там как-то. Во дворе ночлежки цементные ямы для нечистот залиты карболкой, смрадом от них несет на всю округу. В бараке — нары, покрытые грязными циновками, по которым бегают жирные клопы. Среди босяков ночлежка считается приличным пристанищем. Но рабочие нефтепромыслов не могут платить пять копеек в день за место на нарах.

Навстречу, волоча босые ноги, шел чумазый, с нечесаной головой и опухшим лицом человек. Мешок с дырами для рук свисал с костлявых плеч, бесцветные глаза, лишенные ресниц, с веками, изъеденными какой-то болезнью, невидяще смотрели на Ладо. Приблизившись, оборванец протянул руку и остановился. Мозолистая клешня его не просила, а требовала.

Роясь в карманах, Ладо с жалостью всматривался в опухшее от долгого недоедания, почерневшее лицо. Куда-то запропастились десять копеек — сдача, полученная от торговца колониальной лавки. Видимо, Ладо обронил монету. Других денег у него не было.

— Кто ты? — спросил Ладо по-русски.

Человек не ответил.

Ладо повторил вопрос по-грузински, по-армянски и по-осетински.

Человек молчал. Или не понимал, или был глухим.

Как помочь несчастному? Снять с себя сюртук? Невозможно, любой встречный обратит внимание на него и запомнит. Привести с собой на квартиру? Но кто он, этот человек? Ладо нашел в кармане листок бумаги, карандаш, быстро написал на одной стороне

листка адрес родственников, на другой: «Помогите этому несчастному чем сможете, накормите хотя бы. Л». И положил листок на протянутую ладонь. Рука опустилась, бумага слетела на камни, и человек снова требовательно протянул руку. Глаза его были настолько пустыми, что сквозь них, как показалось Ладю, виднеяся забор ночлежки.

— Что ты молчишь? — спросил в отчаянье Ладю. — Скажи хоть что-нибудь. Нет у меня денег, ничего нет. Ну, возьми камень, ударь меня, заведи мою одежду!

Человек смотрел на него, не мигая. По лбу его ползла зеленая муха.

Ладю задыхался от бессильной боли. Он снял и отдал единственное, что мог, — шляпу и очки.

— Продай, поешь...

Пройдя немного, Ладю остановился. Почему он не отдал сюртук? Можно было бы притвориться пьяным. Никто не обратил бы на него внимания. Как он мог рассуждать? Разум не должен брать верх над состраданием, иначе мир будет меняться слишком медленно. Люди не обманываются, когда говорят: нужны социальные перемены, а не филантропия. Но не обворовывает ли себя человек, если, думая о будущем, работая на него, он говорит: «Сегодня всех не накормишь, не оденешь», и отказывает в помощи голодному, оставляя все свое себе?

Широко шагая посреди улицы, Ладю клял свою рассудительность. Пот заливал лицо. Он вытер лоб и глаза. Очки были куплены для работы, когда он почувствовал, что оттиски с набора расплываются перед глазами и часто болит затылок. А потом прыг к очкам и стал носить их и на улице. Однако без очков, ей-богу, все видно гораздо лучше.

Авель

Что могло быть отчаяннее и безумнее решения Ладос отдаться в руки жандармов ради спасения товарищей? «Виктор не должен отвечать за меня». Что значит — «не должен»? Рискует все, кто участвует в борьбе. Что, в конце концов, случится с Виктором? Наверняка он догадался сказать в Аджикабуле полицейским: подошел к паровозу незнакомец, попросил отвезти в Баку пакеты, с чем они, я не спрашивал, кто в Баку должен был встретить, тоже не знаю. Поспрашивали бы Виктора, постращали, и иди на все четыре стороны. А Ладос пошлют на каторгу. Неужели он об этом не думает? Нет, у Ладос минутное затмение, оно пройдет, должно пройти. Вернуться, еще раз поговорить?

Авель остановился и тут же побежал дальше.

Надо быстрее делать то, что сказал Ладос. Как он вскочил, когда увидел его лицо! — Что случилось, Авель? — И услышав ответ, отошел к стене, постоял, отвернувшись, потом снова обернулся, и Авелю стало неловко за него: как он мог от огорчения плакать? — Слушай меня внимательно, — сдавленно проговорил Ладос, — в первую очередь немедленно уберите всю литературу из квартиры Виктора. Потом разыщи Ваню Болквадзе, пойдите вместе на Чадровую, Джиб-раилу скажите... что у Давида умерла жена в Тифлисе, и он уехал. Разберите и упакуйте машину, станок и шрифты тоже упакуйте в ящики и снова сдайте на хранение на пристань пароходства. Ваню пусть сразу уедет, и ты тоже скройся. Утварь и мои галоши оставьте Джиб-раилу на память. Скажите Грише Согорашвили, пусть куда-нибудь спрячет литературу. И Красину сообщите! Все! — Не понимаю. А ты, Ладос? — Я останусь здесь и, когда придут жан-

дармы, назову себя.— Ладо, опомнись! Ты с ума сошел! — Ладо покачал головой.— Оставь мне табак.— Он сделал несколько стремительных шагов от стены к стене, сел на стул и закурил... Глаза у него были светлыми, ясными.— Подумай, Ладо, на что ты идешь! Ты заблуждаешься...— Пусть душа не будет заблудшей,— сказал, улыбнувшись, Ладо.— Иди, Авель, пока не нагрянули жандармы.

Авель выбежал на улицу.

Встретив знакомого паренька, он послал его в Удельное ведомство, попросил передать Согорашвили, что Датико опасно заболел и боится, что Согорашвили заразится от него.

Авель уже дошел было до дома, в котором снимал квартиру Виктор, но сообразил, что одному ему сразу все не унести, и позвал одного из соседей Виктора — железнодорожного рабочего Луку. Лука был медлителен, неразговорчив, коренаст и крепок.

— Можно будет где-нибудь спрятать вещи Виктора? — спросил Авель.

Лука ответил минуты через две:

— Можно, спрячу в сарайчике у сестры. Она не здесь живет.

Они рассовали брошюры и книжки в два сака и баул. Лука легко поднял два сака. Авель с баулом в руке пошел за ним.

— Ты Датико знаешь? — спросил Авель.

Лука кивнул. Авель не мог пожаловаться на недостаток физической силы, но рядом с Лукой он чувствовал себя подростком.

Он заметил, что водовоз, проезжавший со своей бочкой по улице, проводил их взглядом. Что он подумал, увидев приземистого мастерового с двумя саками в руках и бородатого парня с баулом, куда-то торопящихся? Неважно. Вряд ли жандармы станут

расспрашивать прохожих и водовозов, да им все равно не получить толкового ответа — кому охота связываться с полицией? Ушел Ладо или еще сидит, дожидается? Он не из тех, кто меняет свои решения, если они относятся к нему самому.

— Скверно, — вслух произнес Авель.

Немного спустя Лука спросил:

— Что?

— Жарко, говорю.

Авель давно знал Ладо, встречался с ним месяцы и годы, привык к его взгляду, к голосу, был уверен, что знал об этом человеке все, но, оказывается, никогда нельзя быть уверенным, что знаешь человека до конца. То неразумие из неразумий, которое он хочет совершить — отдаться в руки тех, кого не видит, с кем борется, это не противоречие, не неожиданный вывих, а проявление всего, что было и есть в Ладо, — его стремления уберечь, выгородить, облегчить участь других людей, своих товарищей. «Жизнь за друга ты отдай!» — Ладо часто повторял эти слова. Увидеть бы его скорей, на свободе, без наручников, обнять и расцеловать!

— Значит, знаешь Датико? — снова спросил Авель.

Лука покосился на него черным мрачноватым глазом и кивнул.

— Знаешь, каким он человеком был?

Лука, пройдя квартал, остановился, опустил свою ношу на пыльную мостовую и вытер пот с бритой головы.

— Послушай... Ты много хвалишь Давида. Это хорошо, и я тебе верю. Только зачем ты говоришь: был, был? Разве он умер?

Авель опешил.

— Разве я сказал — был?

— Ты много раз сказал — был.
— Тебе слышалось, или я оговорился. Пойдем, некогда.

— Что случилось с Давидом?

— Ничего.

— Я так думаю, — сказал Лука. — Когда доверяют — то доверяют. Не хочешь сказать, что с Давидом, — твое дело. Пошли.

«Знал бы ты, что он вовсе не Давид, думал Авель, припоровав шаг к тяжелой походке Луки, знал бы ты, кто он».

Передав Луке баул, Авель пошел разыскивать Болквадзе. Наборщика нигде не было. Вдруг он пошел повидаться с Ладом? Не хватало еще, чтобы и Ваню угодил в тюрьму! Без него с типографией не справиться. Придется пройти мимо дома, посмотреть, что там. Скорее всего, Лад и Ваню уже ушли, и тогда можно будет спокойно отправиться к Джибраилу. Думая так, Авель знал, что лишь утешает себя. Почему-то вспомнилось, как Лад сказал однажды: «Не могу я, не могу спокойно брать эти деньги, пить, есть, разъезжать на них. Ты подумай только — ведь это гроши, собранные у рабочих в партийную кассу. Лучше я напишу брату, может, он пришлет».

Авель остановился у перекрестка. Издали была видна толпа на улице. Он пошел медленнее. Вдоль стен разгуливали полицейские и жандармы. У дома стояли фаэтон и тюремная карета. Подойдя вплотную к толпе, Авель спросил:

— Что происходит, братцы?

— Обыск, — ответили ему. — Туда всех пущают, оттедова еще никто не вышел. Сам начальник жандармов полковник Порошин приехал.

Авель увидел знакомых железнодорожников.

— Никак Евсея и Дмитрия задержали?

— Жандармы раньше них явились, а их самих уже потом с работы привезли. Там какой-то высокий барин с бородой и грузин-рабочий.

Ладо и Ваню! Они там. Все пропало, и типографию без Ваню уже не спасти. У Ладо в кармане револьвер, может, одумавшись, он начнет отстреливаться? Сколько там жандармов? Полицейские трусливы, если начнется стрельба — разбегутся. Ладо, Ваню и он — трое связанных совместной работой в «Нине». Ладо, не задумываясь, решил пожертвовать собой ради Виктора и Дмитрия Бакрадзе, ради Георгобияни... Неужели Авель останется в стороне, бросит Ладо, когда он в опасности? Если начнется свалка, тяжелый кулак Авеля не помешает.

Авель больше не рассуждал. Он, словно его толкнули в спину, пошел к калитке. Кто-то схватил за рубаху.

— Очумел, что ли? Куда тебя несет?

С ожесточением оттолкнув руки, Авель вырвался и, чувствуя спиной взгляды примолкших рабочих, перешел улицу. За калиткой он забыл думать о людских взглядах, да людей и не было видно за высоким забором. Он увидел полицейских, стоящих под забором, двух жандармов у крыльца, взбежал по ступенькам и вошел в комнату, отыскивая глазами Ладо.

К Авелю повернулись. Понятые — с испугом, жандармы удивленно, полковник Порошин поднял квадратное лицо и заиграл бровью, подтянутый, надушенный ротмистр пригладил мизинцем усы и театрально щелкнул каблуками. Авель узнал ротмистра Вальтера — тот в апреле допрашивал его. Евсей, Дмитрий и Ваню стояли рядышком у стены.

«Значит, все свершилось», — подумал Авель.

— Зачем ты пришел сюда? — быстро, сердито спросил Ладо.

Авель покосился на жандармов и пожал плечами.

— Рад видеть вас здесь, господин Енукидзе, — насмешливо, по-грузински произнес Вальтер. — Вы избавили нас от лишних хлопот — ехать за вами в Баилов, к вам на службу.

Авель только теперь уяснил, что Ладо тоже спросил его по-грузински, виновато улыбнулся ему и покачал головой: «Я сделал то же, что и ты». Ладо молча, взглядом ответил ему: «Я знал, что делаю, а ты не имел права приходить сюда». Ладо стоял посреди комнаты — немного сутуловатый, как все книжники, волосы надо лбом разметались, и вьющаяся прядь нависла над бровью, борода мягко спадала на грудь, а глаза без очков были такими, какими бывают у очень рассерженных добряков.

Авель опустил голову. Никто им не занимался, никто его не обыскивал.

Порошин и Вальтер оживленно вполголоса переговаривались. Порошин говорил отрывисто, словно стреляя одиночными выстрелами, а голос Вальтера скользил одной протяжной длинной нотой.

Порошин с беспокойством поглядывал через окно на толпу перед домом, которая все увеличивалась. Рабочие-железнодорожники, квартировавшие поблизости от станции и депо, возвращались после работы домой и, увидев тюремную карету и полицейских, подходили узнать, в чем дело.

Все громче раздавались голоса:

— Кого забирают?

— Опять нашего брата в тюрьму?

— Сколько терпеть можно?!

Порошин обернулся, посмотрел на Ладо и что-то шепнул Вальтеру.

Ротмистр сделал шаг вперед и, сияя золотыми зубами, объявил, широко взмахнув рукой:

— Гос-спода, мы забираем с собой гос-сподина Кецховели, а все прочие могут быть свободны. Прошу соблюдать спокойствие, господа, и с места не трогаться.

Евсей, Дмитрий и Вано переглянулись. У Вано расширились зрачки, и он покосился на Авеля: тебя тоже оставляют в покое? Авель ничего не понимал, ведь Вальтер намеревался арестовать его, сказал: «Вы избавили нас от лишних хлопот», а теперь вдруг... Нет места в карете? Считают, что он и так не сумеет скрыться? Рассчитывают проследить за ним? Или таково приказание Порошина, который боится упустить в толпе Ладо, хочет, чтобы жандармы во все глаза следили только за Кецховели? Может, на это Ладо и рассчитывал?

— Скорей, скорей, господин Кецховели,— сказал Порошин. Авель глазами попросил прощения у Ладо и увидел, как в ответ тот, не сердясь более, улыбнулся. Он шагнул к двери, сказав Авелю одними губами:

— Делай свое дело.

— Могу предложить сигару,— застрелял словами Порошин, догоняя Ладо. Вальтер поспешил за ними, и через мгновение жандармов в комнате не было. Толпа на улице зашумела. Зацокали копыта лошадей.

Авель кивнул Вано, чтобы он шел к выходу.

Никто за ними не следил. Они побежали на Чадровую и за ночь разобрали печатную машину и станок, уложили детали и шрифты в ящики. Не хватило досок на крышки. Когда рассвело, Авель побежал на лесную пристань, купил досок, нашел плотника, он за полтора целковых привел ящики в порядок. Теперь надо было перевезти ящики на пристань и сдать на хранение. Для всего этого требовалось рублей пятьдесят, не меньше.

— Подожди меня здесь,— сказал Авель,— я съез- 75

жу за деньгами. О чем ты задумался? Устал? Давай перекурим, передохнем.

Плотное, круглое лицо Вано словно окаменело.

— Что? — спросил он.

— Устал?

— Нет... Говоришь, Датико велел, чтобы я сразу уехал?

— Да.

— И обо мне позаботился. Сколько мы с ним... Я кручу колесо — он листы накладывает, я накладываю — он крутит. Печать он лучше меня знал, а набирал медленнее. Откуда я мог знать, что он Ладо Кецховели. Для меня он все равно останется Датико. Вернусь в Тифлис, поеду в деревню к матери. Датико у меня спрашивал про нее. Я рассказывал. Он говорил: увидишь, от меня привет передай.

— Ты же наборщик, мастеровой. Что ты будешь делать в деревне?

— Мать одна, побуду с ней немного, потом видно будет.

— Все же не надо было ему называть себя.

— И-и,— протянул Вано,— откуда мы с тобой знаем, как надо и как не надо. Он сидит, а мы с тобой благодаря ему гуляем. Ты так не сделаешь, я так не сделаю, а он сделал. Потому что мы — это мы, а он — это он. Но ты ведь тоже туда пришел. Зачем?

— Узнал, что вы там.

— Вместе быть захотел? Это хорошо. Для дела плохо, а по-человечески хорошо. Только... Только ты хотел: если нам плохо, чтобы тебе тоже стало плохо. А Датико думает — пусть мне одному будет плохо, а всем моим товарищам хорошо.

Авель никогда не слышал от молчаливого Вано таких долгих рассуждений.

— Ладо хотел спасти Виктора Бакрадзе.

— Какого Виктора? — спросил Вано.

— Помощника машиниста, двоюродного брата Дмитрия. Он шриффт нам возил, литературу у себя прятал.

— Не знаю такого. Он революционер?

— Нет еще, просто Ладо помогал, любил его.

— Видишь? — сказал Вано. — А ты говоришь: не надо было, не надо было. Виктор не понимал, что делает, а Датико все понимал. Разве мог Датико его бросить? Дело — это рука, работа. Сломаешь руку — плохо, работать не будет, но главное все-таки не рука, а человек. Я так думаю. И ты увидишь — завтра все рабочие о поступке Датико узнают, все будут говорить: вот человек! Ты знаешь, как бывает, одному говорите: так надо жить, так делать — он верит, а другому говорите — не верит. А теперь кто не верил, подумает — они правы, им надо верить! Датико в одну минуту больше сделал, чем ты и я за два года.

Он умолк.

— Я пойду, Вано, надо торопиться.

— Ты скоро вернешься?

— Скоро. А что?

— Так. Не хочется одному быть.

Авелю повезло. Ему вскоре попался на улице фазтон.

— Гони в Баплов! — крикнул Авель, прыгнув на подножку.

Красин спал. Авель постучал в дверь спальни, не услышал ответа и толкнул дверь. Спальня была хорошо и со вкусом обставлена, как и вся квартира главного инженера «Электросилы». На полу у постели валялась книга.

— Леонид Борисович!

Красин открыл глаза.

— Енукидзе? Что случилось?

— Арестован Кецховели, он сказал, чтобы мы спрятали типографию, нужны деньги, рублей пятьдесят.

— Поднимите, пожалуйста, шторы.

Когда Авель повернулся, Красин уже надел халат и сунул ноги в ковровые татарские бабуши.

— Садитесь, рассказывайте. Нет, лучше отвечайте на вопросы. Когда арестовали Владимира Захаревича?

— Вечером.

— Где?

— На нашей квартире.

— Что нашли при нем?

— Не знаю.

— Арест случайность или выследили?

— Он назвал себя сам.

Авель рассказывал, вглядываясь в спокойное лицо Красина.

— Можете не продолжать. Все понял. А вы как там оказались?

— Я вошел в дом, когда узнал, что там жандармы и Кецховели...

Красин сощурился и кашлянул.

— Вы надеялись, что, увидев вас, Порошин и Вальтер отпустят Владимира Захаревича? — едко спросил он. — Простите, это не потому, что мало ценю вас.

Авель вспыхнул.

Красин прошелся по комнате.

— Рыцари! — буркнул он.

Авель промолчал.

— Кого вы успели предупредить об аресте Владимира Захаревича?

- Только Согорашвили.
- Что сделано с типографией за ночь?

Авель рассказал.

- Ясно. Хорошо, что все уложили.

Красин задумался, перестал ходить.

- Почему они вас не взяли?

— Перед домом была толпа рабочих. Порошин торопился скорее увезти Кецховели. Все полицейские сгрудились вокруг Ладо, на нас и внимания не обращали. Вальтер велел, чтобы мы не трогались с места.

- И филеров не оставили?

- Нет, я никого не заметил.

— Гм... Наверное, вас уже ищут. А если не управитесь с «Ниной»? Если не успеете?

— На всякий случай, Леонид Борисович, я просто не успел сказать адрес: Чадровая улица, дом Джибраила.

— Джибраила, Джибраила... Запомнил. Кто наследники?

— Думаю, что рабочий Вано Стуруа. Он опытный конспиратор, был два года членом Тифлисского комитета, его хорошо знает Ладо. И еще Трифон Енукидзе, мой однофамилец. Связь с ними через вашего слесаря Меера. Наборщик Болквадзе сегодня уедет в Тифлис. Его можно будет снова вызвать через Стуруа.

— Будем считать, что завещание оставили. Сейчас принесу деньги.

Красин вышел.

Авель не один месяц проработал в обществе «Электрическая сила» чертежником, часто встречался с Красиным, знал его нелюбовь к длинным разговорам, и все же при виде Красина ему начинало казаться, что этот человек из другого мира, в кото-

ром все раз и навсегда организовано и отлажено, что у Красина не бывает сомнений. Красин был прав — лезть в квартиру, зная, что там жандармы, было совсем уж несуразно. Тоже мне, Геркулес! «Мой крепкий кулак пригодится!» И все же это была необыкновенная, ни с чем не сравнимая минута, когда он плюнул на опасность, забыл о себе и вошел в дом, чтобы стать рядом с товарищами. Не то сожаление, не то грусть, какие бывают при воспоминании обо всем молодом, прошедшем и невозвратимом, охватила Авеля. Сегодняшний день словно прибавил ему много лет.

За окном поднималось над морем солнце. Хорошо все-таки, что он на свободе, а не в тюрьме, стены которой чернеют вдаль.

Вернулся Красин.

— Вот шестьдесят рублей.

Авель спрятал деньги и вышел. Что это за деньги, он не спросил. Впрочем, в тех случаях, когда Красин выдавал деньги из партийной кассы, он всегда предупреждал, чтобы их тратили с разумной экономией.

Авеля повезло. Извозчик, который привез его, не уехал.

Авель сошел, не доезжая до Чадровой улицы, свернул за угол и, облегченно вздыхая, направился к дому. Еще час, все будет закончено, и пусть себе жандармы рыщут-свищут!

Вано, набычившись, ходил по комнате, а в дверях на табурете сидел, сведя густые брови и свирепо поблескивая глазами, хозяин дома Джибраил.

— Вот теперь ты говори с ним! — злобно сказал Вано.

— Говори, не говори, ничего у вас не получится! — крикнул Джибраил. — Давид мой друг, мой по-

братим! Мы вместе плов кушали! Вдруг спросит: — Где мое добро, Джибраил? — Что скажу? Твои работники украли! А Давид скажет: — Ты куда смотрел? — Правильно скажет.

— Джибраил, — укоризненно произнес Авель, — Давид — наш хозяин, он распорядился...

— Все знаю, не повторяй! Ваню уже рассказал. Жена умерла у Давида — очень тяжело, я сильно переживаю, сказал, что Давид мне подарок оставляет — спасибо! Но если Ваню обманщик и ты обманщик? Пока письма от Давида не будет — не отдам!

Побить его, связать? Будет кричать, соседи услышат, позовут полицию...

Авель взял у Ваню табак и трясущимися руками свернул сигарку.

— Где ему раздобыть письмо от Датики? — спросил Ваню. — Дать бы по башке!

Письмо, письмо... А ведь Сашка Чонишвили, приятель по Тифлису, работает начальником телеграфного отдела почтамта!

— Джибраил, хозяин сердиться на нас будет, я пойду, дам ему депешу, все сообщу. Если ответ придет сразу, принесу депешу тебе.

— Принеси, — недоверчиво пробормотал Джибраил, — принесешь, поговорим...

Не думая о возможной слежке, Авель, задыхаясь от жары, побежал к почтамту. Сашке сказать только то, что можно: Давид приказал, а сукин сын хозяин дома не верит — выручи, будь другом. Чонишвили даже не стал расспрашивать: земляк просит, как не выручить! Орудуя ножницами, он уточнял: — Какое слово следующее? Какая подпись? Убитый... горем... Давид... Получай, земляк, свою телеграмму, заходи, если еще понадобится.

Джибраил, вращая пожелтевшими белками, повертел в руках телеграмму, посмотрел ее на свет и перекосялся.

— Все равно не отдам! Кого обмануть хочешь? Пока почтальон в Тифлисе шел, шел, пока Давид читал, потом на почту шел, уже вечер пришел. А ты сколько ходил? Час? Не-ет, Джибраила не обманешь. И почему такой пожар? Давид жену похоронит, сам приедет.— Он поднялся с табурета и вышел на улицу.

— Авель,— сказал Ваню,— так ничего не выйдет. Надо сказать ему правду, он испугается, захочет скорее от нас отделаться.

— Пошли! Пропади он пропадом!

Авель и Ваню выбежали из дома и, перебывая друг друга, рассказали Джибраилу, что Давид арестован, печатали они книжки против правительства, и их ищут жандармы, терять им нечего, каторга так каторга, смерть так смерть, но жандармы и Джибраила в тюрьму посадят, дом отберут, имущество отнимут, и Авель с Ваню скажут, что он им всю жизнь помогал, больше всех старался!

Джибраил дернул себя за бороду.

— Ай, Аллах, спаси и помилуй! Погубили вы меня, без кинжала зарезали! Что делать, скорее говорите, что делать? Подождите! Молчите! В дом, скорее в дом! Сейчас приду, там говорить будем.

Они вошли в дом и увидели, что по улице вперевалку шагает околоточный надзиратель, рыхлый, ленивый пьяница. Джибраил побежал ему навстречу, стал кланяться, что-то объяснять и смеяться. Получив бакшиш, надзиратель постучал пальцем по лбу Джибраила и медленно удалился. Бледный, как белая стена дома, Джибраил ввалился в комнату.

— Зачем сразу правду не сказали? — завопил

он. — Думал, воры вы, за полицией послал, пока ему объяснял: «ошибка, господин, не сердись, господин», — сердце чуть не лопнуло. Теперь говорите, спокойно говорите, а я спокойно думать буду.

Джибраил снова выслушал их, шепча:

— Аллах, аллах...

Глаза его сузились, стали хитрыми.

— Сами повезете ящики? А вдруг полиция схватит? Все пропало тогда, и Джибраил тоже пропал. Лучше сделаем так: ящики увезу я. С той стороны дома народ не ходит. Там арбы поставлю, ящики коврами закрою, никто не увидит, потом медленно, медленно в мою деревню увезу, в саду спрячу, никакая собака не учует. Аллахом клянусь, резать меня будут, слова не скажу, никого не выдам. Давид вернется — ему отдам, вы придете — вам отдам. Другой придет от Давида, от вас, пусть скажет: «Джибраил, Давид на плов к тебе прислал». Кто так скажет, тому тоже отдам.

— За аренду дома получи и на расходы. — Облегченно переведя дух, Авель протянул Джибраилу червонцы.

Глаза Джибраила подернулись маслом, и он довольно произнес:

— Деньги делают слова весомыми. Теперь я вам совсем верю. Не надо время терять, несите ящики за дом.

Арба, скрипя колесами, скрылась за глинобитными заборами. Спотыкаясь от усталости, голодные, оживленные, Авель и Ваню вышли к вокзалу и впервые со вчерашнего дня поели в ресторанчике. Авель сказал:

— Как много зависит от удачи.

— Да, много, — задумчиво подтвердил Ваню, и Авель угадал, что он думает о Ладю.

Вано уехал в Тифлис.

Авель решил отправиться к знакомым, которые жили в другом конце города. На улице его остановили жандармы.

— Где вас, милейший, носит? — услышал Авель рокочущую речь ротмистра Вальтера. — С ног сбились! Нет чтобы сидеть на квартире, нас дожидаться. Небось, бегали, следы заматали? Коньков, карету!

Авель не удержался и съехидничал:

— Не понимаю вас, господин ротмистр, вчера я сам к вам пришел, а вы почему-то пренебрегли, не взяли. Куда вы теперь меня, на пирушку к губернатору?

Вальтер шумно втянул в себя воздух.

— В Баилровку, куда еще! Ваша камера давно по вас соскучилась.

Красин

— М-да, — вслух сказал Красин, — час от часу не легче.

Он открыл окно и задумался.

Вдали темнели стены Баилловской тюрьмы. Привезли туда Кецховели или еще держат в полицейском участке? Второго такого гениального организатора подпольных типографий днем с огнем не сыщешь. До чего находчив и сообразителен! История с приобретением большой машины у Промышлянского была поистине гениальна. Мало было тайно изготовить в Тифлисе фальшивый бланк бакинского губернатора, мало было подделать губернаторскую подпись, но придумать снять с фальшивки нотариальную копию и получить подлинный документ! Кто еще додумался бы до этого?.. Типография, если Енукидзе и набор-

щику повезет, уцелеет. Как бы узнать, что обнаружили при обыске у Кецховели? Если у него были адреса, надо срочно об этом сообщить. Хорошо хоть, что шифр заменен. «Корабль одинокий несется, несется па всех парусах...»

Провалы в революционной работе неизбежны, но самопожертвование Кецховели... Надо было все же подумать о деле, о себе. Впрочем, не вам, глубокоуважаемый Леонид Борисович, главному инженеру «Электросилы» и тайному эсдеку, рассуждать о поступке Кецховели. Не вы ли, совершенно забыв о деле — и о том, и о другом, забыв о себе, когда на промыслах произошла у берега моря авария и стали гибнуть рабочие, не вы ли бросились в волны спасать незнакомых людей? Гм... Что на барометре? Давление падает. Паршивый климат! Пожалуй, единственная возможность узнать детали обыска — сделать визит к губернатору Одинцову. У него будет Порошин, он хвастун, выболтает.

Красин вдруг затосковал по прохладе, по грибной влажности леса, по хрусту первой наледи на траве. Так было, когда он и Люба вышли из березняка и увидели плотного старика с широким носом, бородищей и острыми глазами под нависшими бровями. Графа Льва Николаевича Толстого знала вся Россия. Красин приложил руку к козырьку, Люба поклонилась. Толстой ответил, остановился. — Разрешите погулять с вами, молодые люди? — С превеликим удовольствием, Лев Николаевич. — Ум в ваших глазах и интеллигентное лицо, молодой человек, не вяжутся с унтер-офицерскими погонами. — Я студент-технолог, Лев Николаевич, сидел в тюрьме, а теперь... — Понимаю, участие в студенческом кружке, революционные идеи. — Толстой вздохнул. Красин, волнуясь, начал излагать свои взгляды: — Ведь окружающий нас мир

и вся история человечества вроде периодической системы Менделеева, по которой можно предвидеть существование новых, еще не открытых элементов и предсказать с точностью их свойства. Сравнение, разумеется, приблизительное, но все же можно с уверенностью сказать: Маркс, подобно Менделееву, открыл систему, вывел научные законы развития капитализма, и на основании этой системы можно предсказать будущую революцию со всеми ее свойствами, неизбежное преобразование плохо организованного общества в общество разума.— Толстой нахмурился.— Революция,— буркнул он,— революция — это насилие! — Благостное насилие! — воскликнул Красин.— В новом мире, а он будет стройным, совершенным, построенным на основе законов, выведенных наукой, не станет места злу, происходящему от социальной несправедливости, от свойств характера отдельной личности. Я учусь в Технологическом институте, чтобы в мире будущего, в царстве разума создавать электрические станции. Электричество преобразует труд, природу, человека, принесет ему счастье.— Толстой ядовито усмехнулся и перебил: — Надо думать не о революции, не о насилии, а о спасении души человека, о нравственном усовершенствовании личности. Ваши слова о благостном насилии — солдафонские рассуждения. Небось пошли в полк, чтобы научиться стрелять в человека? — Толстой затопал ногами и, резко повернувшись, быстро пошел обратно.

Красин вздохнул. Каким он был тогда мальчишкой!

Толстой на другой день отыскал его в полку, извинился за грубость и попросил передать свои извинения Любе.— Лев Николаевич,— спросил он у Толстого,— а как вы, утверждая непротивление злу на-

силием, обратились с письмом в газеты во время голода? — За несколько лет до этого, во время повального голода, Толстой поехал на два года в Данковский уезд, создавал столовые, собирал средства для помощи голодающим и написал резкую статью о причинах бедственной нищеты крестьян. Статью не напечатали, и Толстой переслал ее за границу. Весь мир читал его статью, император поспешил заявить: «В России нет голода, а есть местности, пострадавшие от неурожая». «Московские ведомости» обвинили Толстого в пропаганде против правительства, Комитет министров хотел лишить Толстого российского подданства и выслать за границу, а брат царя, великий князь Сергей, смягчившись, предложил, чтобы Толстой опубликовал в русских газетах письмо, в котором отказался бы от статьи, назвал бы ее фальшивкой. Толстой подтвердил в письме в газеты свое авторство. Выслушав вопрос Красина, Толстой кашлянул, усмехнулся в бороду, но так и не ответил.

В прошлом году, когда Толстого отлучили от церкви, Красин рассказал о своей встрече с Толстым Кецховели. — Упорный старик, — сказал Кецховели, — храбрец, в одиночку воюет с царем, с церковью, со всем государством. У нас Илья Чавчавадзе такой — соглашаешься с его взглядами или не соглашаешься, все равно восхищаешься им.

Красин оделся, умылся, посмотрел в окно на тюрьму и пошел завтракать.

Днем он с головой ушел в работу, а вечером поехал к Одинцову. Порошин был там, и оба — и губернатор, и начальник жандармского управления — не удержались, чтобы не поделиться с Красиным чрезвычайной новостью — задержали опаснейшего эсдека, которого полиция отыскивала много лет. Красин выведал, что Кецховели в тюрьме и, по всей веро-

ятности, его скоро отправят в Тифлис и что у него обнаружили несколько паспортных книжек и какие-то зашифрованные адреса.

Одинцов подвел к Красину красивого господина и представил инженера Костровского, приехавшего из Петербурга. Костровский тоже, оказывается, учился в Технологическом институте.

— Думаю наладить нефтедобычу, а то добывают нефть варварски.

Они поболтали. Нашлись общие знакомые по институту. Костровский спросил:

— Вы, кажется, по делу брусневцев привлекались?

— Да.

— А теперь? — спросил Костровский.

— Теперь занимаюсь электричеством.

Костровский чем-то не понравился Красину.

Дамы попросили Красина сесть к роялю, потом был ужин, за которым, как всегда, Красин развлекал общество остроумными анекдотами. Одинцов предложил тост за Порошина.

После ужина разговор оживился. Одна из дам, жена нефтепромышленника, вспомнила о своем voyage в Испанию, а муж ее заявил, что теперь, после того, как утихли страсти вокруг испано-американской войны, надо съездить на Кубу и на Филиппины, говорят, что женщины там — антик!

— А разве там была война? — спросила его жена. — Я и не знала.

Раздался общий хохот. Красин наконец уяснил, чем ему не понравился Костровский, — когда он смеялся, открытое лицо его искажалось и становилось злым. Кецховели как-то сказал: «Если жандарм хорошо смеется, не все потеряно, с ним еще можно столкнуться». Хоть бы Кецховели оставили в Баку,

тогда удастся, быть может, кое-что предпринять, организовать ему побег.

За столом говорили уже о Китае. Одинцов заявил, что позиции России на Дальнем Востоке и в Азии будут, без сомнения, крепнуть и крепнуть. Русский солдат твердо стоит в Порт-Артуре и в Дальнем.

— Нас, однако,— сказал Костровский,— потеснили в Корее, мы ведь были вынуждены под напором японцев закрыть там банк.

— Чепуха,— возразил Порошин,— мы свое возьмем.

«Идиоты бывают разные,— подумал Красин.— Неужели им ничего не говорит договор Японии с Англией и то, что янки поддерживают японцев, неужели они не замечают, как германские дипломаты водят наших за нос? Скорее всего, будет война...»

Красин встал и откланялся, сославшись на то, что устал и ему надо ехать в Баилов.

Домой Красин возвращался на извозчике. Вдали шумел прибой. Дул сухой ветер, и луну закрыло облаками. В груди снова защемило. Неужели сердце стало шалить? Никогда еще оно не давало знать о себе.

Копыта лошади мягко постукивали по пыльной дороге. Изредка подкова ударялась о камень, и в темноте рассыпались белые искры. Завтра, наверное, ветра не будет...

Подъехали к электрической станции. Красин решил прогуляться возле дома.

Ему вдруг стало тоскливо, как бывало редко. Многие считают его более чем сдержанным, даже рассудочным человеком. Знали бы, какие вихри иной раз несутся в нем, побуждая броситься в нарастающие события! Да, впереди многие перемены, войны и потрясения...

От тюрьмы донесся крик часового. Красня гла-
боко вздохнул, махнул рукой и отправился домой —
дел у него завтра хоть отбавляй.

Взгляд из Баиловской тюрьмы

Камера Ладо выходит в тюрем-
ный двор. По другой стороне тянется на желтой сте-
не длинный ряд черных окон.

Ладо стоит у решеткй.

Светает. Рассвет начинается с моря, которого за
другим крылом тюрьмы не видно. Море угадывается,
потому что облака, отражающие воду, подернуты
бледной зеленью. Ночью шумел прибой, сейчас все
стихло.

Арестанты спят. Политических, кроме Ладо, нет.
Нет по букве закона. Но разве не окрашено полити-
кой почти каждое преступление, совершаемое в госу-
дарстве? За теми окнами спит татарин, который, за-
щищаясь от побоев мастера-бельгийца, переломил ему
кулаком переносицу. В одной камере с татаринном —
дети промысловиков. Они влезли в кухню ресторана,
впервые за долгое время поели досыта и заснули; раз-
будил их околоточный надзиратель. По соседству
ждет суда рабочий — токарь. Инженер завода Рот-
шильда нанял в прислуги сестру токаря, принудил ее
к сожителству и выгнал на улицу, когда она забере-
менела. Токарь ударил инженера сверлом. Старик-
надзиратель, принимая Ладо, прошамкал беззубым
ртом: «Ведуть вас, горемычных, и ведуть, уже и ме-
ста живого нет, а конца-краю не видно, надоть новые
тюрьмы закладывать». Чем неблагополучней в госу-
дарстве, тем больше строится тюрем.

Вторую ночь плохо спится. От Авеля ни весточки, а ведь в Баилровке у него должны быть знакомые надзиратели — он просидел здесь целый месяц. Все ли с ним и с Ваню благополучно? Какие глаза были у Авеля, когда он услышал, что Ладю хочет назвать себя! Авель не понимал, что другого выхода у Ладю не было — только открывшись жандармам, удалось бы спасти людей. Авель не представлял себе, как опасно все может обернуться для Виктора. «Нину», разумеется, искали давно, и на Бакрадзе — единственного человека, захваченного со шрифтом, взвалили бы всю ответственность за создание типографии. А для полноты картины, показывая свое рвение и свои успехи, жандармы могли присоединить к Виктору как сообщников и Дмитрия, и Евсея Георгобияни, и даже машиниста Циклаури. — Ах, вы уверяете, что вам ничего не известно? — издевательски спросил бы Порошин. — Однако, упорно вы запираетесь. — Всякое отрицание, даже идущее от правды, наводит жандармов на еще большие подозрения, и они искренне сочли бы арестованных политическими преступниками. Виктору грозила каторга, а к чему присудили бы остальных, бог весть. Но ведь ни один из них понятия не имел о «Нине», не знал, кто такой Датико. Разве должны были Виктор и другие безвинные люди отвечать за Ладю, сидеть в тюрьме, в то время как он разгуливал бы на свободе? Все, что угодно, — только не это!

Солнце быстро поднимается, и первый луч стремительно влетает в окно, ослепив Ладю.

Здравствуй, солнышко!

Ладю закрывает лицо руками, дает глазам привыкнуть, и, прищурившись, смотрит на другой флигель, там еще спят. Пусть поспят, во сне они на свободе. Он снова ходит по камере, теперь уже из угла в угол.

Нет хуже однообразия, бесконечного повторения, хождения по одной-единственной тропе. Но в тюрьме на лучшее рассчитывать не приходится.

Какую нелепицу допустил Авель, когда ввалился в квартиру, занятую жандармами! Наверное, узнав, что не только Ладо, но и Ваню там, он решил: раз все рухнуло, разделю общую участь. Славный человек Авель, на такое решаются только с отчаяния! Ладо был уверен, что, заполучив его, Порошин и Вальтер отпустят Виктора, не тронут Дмитрия и Евсея, он надеялся и на глупость жандармов, но того, что Порошин и Вальтер оставят на свободе даже знакомого им Енукидзе, не сумел бы предугадать никто. Как говорит с амвона своей маленькой деревенской церкви отец Ладо — есть жертвы, угодные богу, и всевышний, принимая их, отводит глаза нечестивым. Ладо рассмеялся.

От решетки протягиваются тени, разбивая каменный пол на неровные прямоугольники. Нет, не прямоугольники, как-то иначе... Совсем семинарская наука вылетела из головы. А, трапеции! Ладо ходит, перешагивая из трапеции в трапецию. Если бы можно было подняться на стену и зашагать по ней, потом пройти по потолку... Что за стеной? Камера. За ней еще, и еще камеры, потом двор, высокая стена с вышкой — на вышке часовой, и оттуда видна строящаяся электростанция. Там, у входа в контору, прогуливается сторож Георгий Дандуров. Смуглый, страшноватый на вид, в бешмете и в папахе, надвинутой на брови, он ловко прикидывается диким горцем, который чуть что — и за кинжал. Ни одному филеру не удалось пройти мимо него незамеченным. Георгий, бывший кучер тифлисской конки, увидев в Баку Ладо, сразу узнал его, спросил: — Первую стачку нашу помнишь? Уй, как меня били! По реб-

рам, сапогами...— Глаза Георгия налились кровью. Ладосудорожно сгреб его и прижал к себе.— Ничего, — пробормотал Георгий, — ничего. — Везение требуется, чтобы люди приходились друг другу по нраву, так, как здесь, в Баку, чтобы между ними не пролегалла все углубляющаяся пропасть разногласий. Ни разный возраст, ни различие в характерах не разъединяли членов Бакинского комитета. Спорили много, но не о цели, не о методе, спорили о практических действиях. — Да нет же, друзья, нет, — энергично утверждал Кнунянц, отбывавший в Баку ссылку, — наша работа должна быть направлена только на рабочих. — Хе-хе, — посмеивался, поблескивая стеклами очков, доктор Файнберг. — Только? Это узость! Не только, а прежде всего. Совсем забывать о кустарях, оставлять без всякого внимания мужиков нельзя. — Верно! — перебивал его сухонький, с острым подбородком и острыми локтями, напоминающий рассерженного ежа, Эйзенбет. — Не игнорировать всю трудящуюся массу из-за промысловиков и заводских рабочих! Пробуждать весь, весь пролетариат! — И не только пролетариат, — спокойно произносил Красин. — В политической борьбе, я подчеркиваю, политической, рядом с пролетариатом в его борьбе с абсолютизмом, как мы видим, становятся все группы общества, и это следует учитывать; временные союзы могут заключаться с любыми оппозиционерами. — Если временные, согласен, — заявлял Енукидзе, — а вообще гусь свинье не товарищ. — Устами рабочего класса глаголет истина, — подводил итог Ладос. Перехватив его взгляд, Файнберг укоризненно покачивал головой. — Милый Ладос, не смотрите вы так влюбленно на этих злостных заговорщиков, уверяю вас: все мы, особенно ваш покорный слуга, гораздо хуже, чем вы о нас думаете.

Брат Нико тоже сказал бы: — Опять идеализируешь человечество? Возможно, что у Ладо есть такой грех, но лучше быть идеалистом-грешником, чем несчастным, который в каждом встречном прежде всего замечает дурное. Когда о знакомом человеке говорят, что у него огромный горбатый нос, Ладо всегда хочется поправить: «Нос с горбинкой», хотя это не мешает ему замечать в приятелях смешное и рисовать на них шаржи. Однако на такого, как Порошин, шарж получился бы далеко не добродушным, а острым и злым. Порисовать бы в самом деле!

Ладо тщательно осматривает стены, не отломится ли где-нибудь кусок штукатурки? Вот досада, и гвоздя неоткуда вытащить. Не думалось, что ему уготована именно Баиловка. Когда изредка представлялась тюрьма, она бывала или тифлисским Метехским замком или каким-то неизвестным сибирским острогом. Французских революционеров ссылали на далекие тропические острова, и крышей, стенами тюрьмы для них становились звездное небо и просторы океана. Кто знает, что более гнетет — клеть тюрьмы или сама природа, превращенная в каторгу. Тяжелее всего неподвижность, на которую обречен человек за решеткой, особенно если он легок на ногу. Пожалуй, представ пред очи всевышнего, на вопрос: «В чем ты наиболее грешен, человече?» Ладо ответил бы: «Люблю людей и движение».

Он остановился у окна. Небо над тюрьмой жаркое, словно его заливает желтым расплавленным металлом. Такое знакомое желтое небо.

...Ни кустика, только пески, скалы в трещинах и ослепительно белое, словно кипящее море. Занесло же Ладо в такую пустыню! Губы потрескались, на лбу и щеках соленые лишай, высохший пот и пыль.

лочный пункт для переброски литературы из Мюнхена в Закавказье. Помочь обещали армянские эсдеки. Не использовать ли, помимо других, древние караванные пути, может быть, и контрабандистские шхуны, не наладить ли самому знакомства на персидской границе? Несколько дней Ладо лазил по приграничным трупобам, пытаясь найти общий язык с чабанами, крестьянами. Пограничная стража искала контрабандистов, контрабандисты подозревали в каждом чужаке агента стражи, крестьяне не хотели знаться ни с теми, ни с другими. Чтобы дать привыкнуть к себе, надо было пожить подольше, подождать появления кого-либо из армянских социал-демократов, но времени не было, без Ладо типография остановилась бы. Пришлось уносить подобра-поздорову ноги, замечать следы. Уже вблизи Баку, спасаясь от назойливого интереса встреченного случайно охотника, Ладо, когда охотник спал, ушел к берегу моря и наутро угодил в пустыню, где ни воды, ни тени, где от камней шел такой же запах, как после удара кресалом по кремню, и казалось, вот-вот от скал посыпятся искры и все окрест запылывает ярким оранжевым пламенем. Разумнее было залечь в какой-нибудь пещере, а ночью двинуться дальше. Но в каждой щели прятались от зноя скорпионы и змеи. Еще разумнее повернуть обратно, охотник уже позабыл о нем, ушел, но повернуть — значило потерять дня два. Идти вперед, напрямик! В кармане у Ладо лежала дудка, подарок курда-чабана. Присев перевести дух, Ладо, чтобы рассеяться, посвистел на дудке. Из-за камня растянutoй кверху пружинной вдруг поднялась гюрза, от укуса которой почти нет спасения, и танцовщицей-персианкой заколыхалась в дрожащем сухом воздухе. Не сводя с гюрзы глаз, Ладо медленно поднялся и стал пятиться, то и дело

оглядываясь, чтобы не наступить на какую-нибудь другую змею. На почтительном расстоянии он перестал играть на дудке, и витки змеиного тела, плавно разворачиваясь, упали на землю. Ладо повернулся, прибавил шаг и, чтобы прийти в себя и освежиться, прямо в одежде бросился в горячее, но все-таки мокрое море. Потом он снова шел в сторону Баку, думая о непостижимости и загадочности всего сущего, вспоминал мифических сирен, приманивавших своим пением кормчих кораблей, читал вслух звучные греческие стихи, думал о том, сколько голосов зовет к себе человека, сманивая его с прямого, избранного им пути, и ощущал, как распухший от жажды язык не вмещается во рту. Краснеющие пески начинали плыть перед воспаленными глазами, но он все равно шел, падал и снова шел, пока не очнулся под тенью гюль-эбрешима — шелковой акации: чья-то рука вливала ему в рот прохладную воду из глиняного кувшина...

Другой бы счел пережитое уроком, подсказкой судьбы: уgomонись хоть немного, не каждый груз взваливай на свои плечи, есть у тебя свои обязанности, есть «Нина», занимайся ею, и хватит, ты ведь понимаешь, что в серьезно законспирированной организации обязанности четко распределяются, у каждого — своя узкая специальность, не случайно ведь было решено, что ты будешь заниматься только типографией. Он понимал — так должно быть, но ведь людей не хватало, возникали все новые и новые дела, с которыми, ей-ей, он управлялся лучше других. Что не удалось ему тогда на персидской границе, не удалось бы и другому, а от неудач никто не застрахован. Впрочем, можно ли считать эту первую пробу неудачей? Ведь при следующей поездке, вместе с Авелем, им все же удалось договориться с контрабандистами,



и литературу от границы стали привозить на лошадях. Если уж честно каяться в грехах, надо смиренно согласиться: горбатого одна лишь могила исправит. Сколько раз пытались повернуть его на свой лад, сбить с пути, пели ему не только сладкозвучными голосами сирен, но даже и грубыми голосами рабочих...

Они приехали в Баку специально для встречи с ним, на деньги Тифлисского комитета, чтобы отговорить выпускать нелегальную «Брдзолу». Те, кто послал их, были уверены: никого Ладо не выслушает так внимательно, как рабочих Главных железнодорожных мастерских, наборщиков типографий Хеладзе и Шарадзе, тифлисских табачников и ткачей. И Ладо знал, что послали к нему рабочих один из вожakov комитета Джибладзе и редактор газеты «Квали» Ной Жордания, люди умные, но все более расходящиеся с революционными эсдеками. — Говорят: непрощенный гость, что в горле кость, — начал один из рабочих, Аракел, — но ты должен нас внимательно выслушать. — Ладо улыбнулся, тоже ответил пословицей: — Что в лицо сказано, со злом не связано. — Слушая рабочих, Ладо не перебивал, давая им выговориться, и думал. Думал о том, что пока еще несложно повернуть рабочих в свою сторону, о том, что Жордания боится — нелегальная газета отобьет читателей у легальной «Квали», о том, что Джибладзе отказался дать деньги на создание «Нины», но не пожалел денег на дорогу стольким людям, и отбрасывал все, о чем думал, потому что мысли эти были поверхностными и не существенными, а существенно и важно то, что за всем этим — вопрос о двух путях борьбы, о будущем всего народа. — Для чего нам нелегальная газета, Ладо? Объясни. Есть же «Квали», мы ее читаем, любим. На новую газету нужны средства.

Где ты возьмешь деньги? Опять собирать у мастеровых? А сколько сил уйдет на новую газету! А как трудно будет ее распространять! Легальную газету каждый может купить, ее читают десятки тысяч, а нелегальную прочтут всего сотни... Печатаешь брошюры? Хорошо! Прокламации? Очень хорошо! Ничего больше не надо. Пойми, Ладо, ты разделишь нас, никто не будет знать, что читать, кому верить... Большой вред принесешь рабочему делу, очень большой! — Рабочие курили и он курил табак, который они привезли с собой, рабочие смолкли, думали, и он молчал и думал вместе с ними, рабочие иногда спорили между собой, и он мысленно становился то одним спорщиком, то другим, и когда они совсем выговорились, ему показалось, что не они ему доказывали свое, а он пытался доказать самому себе правильность их точки зрения. — Ты молчишь, — спросил кто-то, — значит, согласен? — Нет, — сказал Ладо, — нет! — Он достал из кармана «Квали» и «Искру». — Хотя и говорится: хороша веревка длинная, а речь короткая, я буду говорить длинно. Вот две газеты — легальная грузинская и нелегальная на русском языке. Я прочту сообщения с мест оттуда и отсюда. — Он прочитал корреспонденцию из «Квали», потом, переводя на грузинский, — из «Искры». — Почему так по-разному говорится об одном и том же? Как ты думаешь, Аракел? — Аракел наморщил лоб, подумал и сказал: — Цензура запретила «Квали». — Верно. А теперь скажи, почему ты считаешь, что русскому рабочему можно получать полную правду, а тебе, грузину, и полправды достаточно? Я, мол, прочитаю, что правительство позволит, а настоящей правды, которая будет в «Брдзоле», не хочу! Так? — Аракел потер рукой лоб и ухмыльнулся. — Крепко ты меня поддел. —

98 Остальные недружно засмеялись. — Ишь, не изменил-

ся Ладо, пальца в рот не клади... Ну, ну, друг, шпарь дальше, посмотрим, что ты еще скажешь. — Ладо посмотрел поочередно на каждого. Такие, как Аракел, читали книги, другие были малограмотны, но житейская смекалка и здравый смысл сделали их умудренными. И Ладо сказал, чтобы понять мог каждый, так, как говорят о своем и очень личном: — Я не хочу брать в руки нож, ружье и убивать. А Жордания говорит, что я только к этому и рвусь. Мы думаем и твердим одно — у правителей надо отобрать все, что они награбили у народа. Но Жордания говорит мне: Ладо, не будем спешить, понемногу, постепенно потесним правительство, отнимем стул у одного министра, и на это место сяду я, на другое посадим тебя, на третье — Аракела. Я не соглашаюсь: — Нет, ты забываешь о том, что если даже правительство и уступит три стула для тебя, меня и Аракела, то завтра оно снова выдернет из-под нас стулья, особенно когда мы начнем спорить с ним. Так мы ничего не добьемся. — Ной говорит: — Добьемся, Ладо, вот увидишь. Ты же заметил, как под напором легальных газет и общества правительство уступило, разрешило рабочим бастовать. — А ты не заметил, — спрашиваю Ноя, — что правительство распространило «Правила об усиленной охране» на большие города? А по этому закону жандармы и полиция могут арестовывать и сажать в тюрьму зачинщиков и участников стачки. У правительства всегда будет возможность отобрать права, которые получит народ, а вместе с правами и плоды его труда. Так же, как с «Квали». Сегодня цензура, а цензура — это одна из рук правительства, разрешит напечатать статью о бедственном положении тифлиссских ткачей, а завтра не разрешит, и Ной только слезы утрет. А в нелегальной «Брдзоле» никто никогда и ничего не запретит. Что хотим, то и напеча-

таем, что вы напишете, то, даю слово, в газете и появится. В ней будет только правда! Что вы на это скажете? Первым нарушил молчание Аракел: — Я скажу так: не зря мы к тебе ехали, потому что нас больше стало. За одного битого ведь двух небитых дают.

Может быть, самое лучшее из всего, что было в тот день, — это общий согласный хохот...

В окнах напротив появляются арестанты. Слышится свист — бывший рыбак Ахмед подзывает воробьев. Они слетаются на его свист, прыгают по подоконнику, подбирают хлебные крошки и дружелюбно поглядывают на Ахмеда. Если вместо него в окне покажется другой арестант, воробьи улетают. Ахмеда посадили за вооруженное нападение на купеческую шхуну. Вчера он крикнул: — Эй, политически! Тебя почему так стерегут? Сколько жандармов зарубил? — Революционеры представляются Ахмеду разбойниками на конях, они убивают из засады казаков и жандармов, грабят имения помещиков и раздают добро и красивых княгинь беднякам. Ладо, чтобы не огорчать его, ответил: — Не считал. — Валлах! ¹ — воскликнул Ахмед.

Увидел бы он, что приходится делать Ладо! Приехать в Тифлис, заглянуть в магазин Гюльназарова, отложить пятьсот листов писчей бумаги «для бланков фирмы» (для прокламаций), зайти в дом Мириманова, на склад Дитятковского товарищества, назваться хозяином типографии Деметрашвили, попросить отгрузить в Баку, до востребования, сто кпн нарезанной газетной бумаги (для «Брдзолы»), заказать еще сто кпн английской (для печатания «Искры» с лондон-

¹ Валлах — выражение наивысшего одобрения (турецк.).

ских матриц), взять у друзей — типографских рабочих чемодан со шрифтом и приехать в Баку. А до этого? Сколько вечеров он сидел с Авелем, втолковывая ему, как выглядит печатная машина, чтобы тот сделал чертежи, сколько забраковал этих чертежей, наконец, обругал Авеля за бестолковость и повел в типографию Шапошникова. — Мне нужно разместить кое-какие заказы. Какие виды работ вы исполняете?.. Кстати, этот молодой человек интересуется печатным делом, покажите ему, как это происходит. — Пока АVELЬ слушает объяснения, ЛАДО запускает руку в наборную кассу и незаметно кладет в карман несколько литер — АVELЬ дома измерит их высоту и узнает, какое расстояние должно быть между плитой и барабаном печатной машины. И снова они сидят за чертежами, каждую деталь надо вычертить на отдельном листе, потом порознь объезжают заводы и по одной заказывают детали. Получив готовые детали, собирают машину... ЛАДО, ликуя, садится за стол и пишет: «Свободное слово, действие, братская любовь — запрещенный плод для многострадального народа... гнусные агенты правительства сеют в обществе взяточничество, страх, разврат...»

— Эй, политически! — кричит АХМЕД. — Оглух? Не слышишь, зовут тебя?

Справа за решеткой кто-то машет рукой. Солнце светит с той стороны, слепит глаза; и ЛАДО не может разобрать, кто там. Голос знакомый... Щурясь, он всматривается, солнце заходит за высокую печную трубу, и ЛАДО видит Авеля.

Лучше бы месяцами еще ломать голову в догадках, предполагать и отчаиваться, лучше бы ничего не знать до самой смерти, чем увидеть Авеля в тюрьме! Неужто вторично не послушался, снова пришел к жандармам?

На лице Авеля ухмылка во весь рот. Он кричит по-грузински:

— Здорово, Ладо! Как спалось? Мы снова вместе!

Нашел чему радоваться! Кажется, никогда еще Ладо не приходил в такое бешенство, кажется, никогда еще он так не ругался. Вцепившись руками в решетку, он, вне себя, кричит, осыпая Авеля руганью.

Авель что-то говорит, но Ладо не слышит. Он умолк и только смотрит, смотрит с недоумением на улыбающееся лицо Авеля.

— Кто еще в тюрьме? — спрашивает наконец Ладо.

— Виктор и Дмитрий Бакрадзе, а недавно привели Гришу Согорашвили! — весело кричит Авель.

И Согорашвили? Солнце выходит из-за трубы, снова ослепляет Ладо, и он отходит от окна. Бог с ним, с Авелем, который, кажется, с ума сошел. Ладо смотрит на потолок, на стены, на дверь, обитую железом. Для чего он здесь, если все оказалось напрасным? Для чего сидел в пустой квартире, ожидая жандармов, для чего прислушивался к их разговору, выясняя, что жандармы сделают с Виктором и Дмитрием, и узнав, что их и Ваню увезут, назвал себя, и увидел, как Вальтер не поверил, оторопел, потом повернулся к Порошину и поющим голосом спросил: «А вы знаете, кто на самом деле этот господин, ваше превосходительство?» Для чего Ладо доставил радость тем, кого ненавидел, если ничем не сумел помочь тем, кого любил? Ведь если так, все бессмысленно, все бесполезно!..

— Ладо! Ладо!

Авель снова зовет его.

— Говори! — кричит Ладо, подойдя к окну. — Что еще?

— Твоя девушка жива! Хозяин не дал ей выехать, забрал к себе в деревню, сказал — спрячу, никому не отдам, пока брат Давид не вернется!

«Нина» спасена. Так вот почему смеялся Авель!

Надзиратели орут, чтобы они прекратили разговоры. Авель, не обращая на надзирателей внимания, спрашивает:

— Хозяину можно верить?

Можно ли верить Джигранлу? Да, конечно!

— Можно, Авель, он сдержит слово! Где тебя взяли?

Авель исчезает, наверное, его оттащили от окна.

«Нина» уцелела! Ладо скажет жандармам, что сам спрятал ее, и никто, кроме него, не знает, где типография. Виктора и Дмитрия отпустят — вынуждены будут отпустить. Значит, не бессмысленно... Конечно, не бессмысленно! Иначе и быть не могло!

— Эй, политически,— зовет Ахмед.— Ты какой злой! Сагол¹, как ругался! Правду скажи, сколько жандармов зарубил?

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА В. З. КЕЦХОВЕЛИ

Сентябрь 1902 года

На предложенные мне вопросы отвечаю:

Себя виновным в участии в Российской социал-демократической рабочей партии и в распространении противоправительственных воззваний признаю. В Баку я приехал дней шесть тому назад, откуда — отвечать не желаю. Ночевал я в Баку ночи три, остальные дни был в разъездах, где именно и у кого ночевал — сказать не желаю.

¹ Сагол — одобрительное восклицание.

У Бакрадзе я остановился через два дня по приезде, хотя зашел в тот же день, как приехал, сложив вещи на вокзале. Считаю нужным сказать, что квартира Бакрадзе принадлежит не ему одному, а Георгобиани и Енукидзе, и если я остановился на этой квартире, то как знакомый всех троих. Отбыв негласный надзор в конце 1897 года, я подлежал призыву в 1899 году. Вынутый за меня жребий освободил меня от воинской повинности, но из-за уклонения нескольких человек я должен был попасть в набор; это меня возмущало, я стал скрываться и затем перешел на нелегальную почву и вступил на революционный путь, начал агитировать и пропагандировать среди рабочих, но где именно, сказать не желаю. Находя более плодотворной пропаганду путем литературы, я предпочел организовать типографию, тем более, что необходимыми техническими сведениями я обладал. Где и когда, а равно на какие средства я основал типографию, сказать не желаю. Типографскую работу вел я один, работая на русском самодельном станке. Где я приобрел материал, шрифт и прочую типографскую принадлежность — сказать не желаю, предъявленные оттиски признаю как выполненные моим шрифтом, с моего набора и моей редакцией (были предъявлены оттиски, выполненные в Бакинской губернской типографии с набора шрифта, задержанного в Аджикабуле, и приобщенные к дознанию в качестве вещественного доказательства). Месяца три тому назад работу типографии в прежнем моем месте пребывания нашел невозможной, почему решил ее перенести в несколько приемов, что мне отчасти и удалось. Последнюю партию я привез в Аджикабул и передал ее помощнику машиниста Виктору Бакрадзе. Я познакомился с ним месяц тому назад, а 1-го сентября в Аджикабуле, как упомянуто

раньше, передал ему два тюка; почему именно ему поручил привезти набор и шрифт в этих тюках, ответить уклоняюсь. Шрифта в этих тюках было около 4—5 пудов. Шрифт был частью набран, частью рассыпан. Говорю положительно, что Бакрадзе, перевоза шрифт, был слепым орудием в моих руках. Он меня мог знать под именем Давида, мое настоящее имя, я полагаю, ему не было известно. О задержании моего шрифта, переданного Бакрадзе в Аджикабул, я был уведомлен минут за 30 до обыска в квартире Дмитрия Бакрадзе и мог бы свободно скрыться или защищаться находившимся при мне оружием, но не сделал этого, желая, во-первых, освободить от подозрений Виктора Бакрадзе и, во-вторых, не был уведомлен, что следы моего пребывания в доме Бакрадзе, Георгобиани и Енукидзе будут скрыты настолько, что не навлекут никакого подозрения на этих лиц, совершенно непричастных к настоящему делу...

Писать свое показание лично не желаю, предъявленное же мне, как записанное точно с моих слов, признаю, в чем и расписываюсь.

В. Кецховели

Ротмистр Зелтер.

Товарищ прокурора Д. Сафонов

С подлинным верно:

начальник Бакинского губернского жанд.
управления полковник Порошин

Примечание: не желая показать своего почерка, Кецховели подписывается печатными буквами.

Недоужения ротмистра Лунич

— Да, признаю, вы маг и волшебник, ротмистр, — сказал, улыбаясь, Дебиль, — прошу вас отныне всегда докладывать мне о ваших предчувствиях.

Лунич поклонился.

— О дурных тоже, ваше превосходительство?

— Дурных, уверен, теперь быть не может. Такая удача, черт побери! Захвачен неуловимый Кецховели. Осталось лишь отыскать типографию. Думаю, это вопрос одного-двух дней. Я еду к его сиятельству. Вам не по дороге? Могу подвезти.

— Благодарю, ваше превосходительство, я предпочитаю прогуляться.

Генерал уехал. Лунич не спеша прошелся по Михайловскому проспекту, потом по Михайловской улице, миновал кирху, домики немецкой колонии и дошел до памятника Воронцову. Конечно, можно было доехать до Дворянского собрания с Дебилем, но не хотелось торопиться. Каждый гурман знает, что самое приятное не столько тщательно обдуманый обед, сколько то время, когда разыгрывается аппетит. На голодный желудок чувствуешь себя бодрее и сильнее, а обжорство делает человека вялым. Но вкусно, в меру поесть, ей-ей, приятная штука. Сегодня надо и выпить, день все-таки не из обычных. Филер, приехавший из Баку, довольно толково рассказал об обстоятельствах ареста Кецховели. При обыске на конспиративной квартире он сначала назвался Меликовым, и два задержанных железнодорожника — Евсей Георгобиани и Дмитрий Бакрадзе подтвердили, что фамилия господина — Меликов. Третий рабочий, фамилию его Филер не запомнил,

сказал, что видит господина впервые. Обыск почти ничего не дал, и Порошин с Вальтером собрались было уходить, забрав с собой трех рабочих, когда Меликов отвел Вальтера в сторону, отдал ему свой револьвер и объявил, что на самом деле он Владимир Кецховели. На квартиру пришел после этого чертежник общества «Электрическая сила» Енукидзе. Порошин с Вальтером так, наверное, ошалели от того, что им в руки дался Кецховели, что увезли его одного, оставив других на свободе. Большую глупость трудно себе представить. В деле этом два непонятных обстоятельства: по какой причине Кецховели, имевший возможность скрыться, назвал свое имя, и почему Енукидзе, который, без сомнения, видел с улицы (фицер сказал, что у дома собралась толпа, ходили жандармы, полицейские, стоял экипаж Порошина и тюремная карета), что в доме обыск, все же вошел туда? Что за этим кроется? Кецховели — опытный конспиратор. Енукидзе — тоже, он весной сидел в тюрьме, оба, по сообщению фицеров, организаторы тайной типографии, оба знали, что им грозит, и вдруг один называет себя, другой прет прямо в руки полиции, зная, что его тоже арестуют. Кецховели мог стрелять, мог на месте уложить полковника и ротмистра, а вместо этого отдал револьвер... Стрелять, впрочем, ему было не для чего. Не такая фигура Порошин, чтобы из-за него идти на виселицу. Бог с ним, с револьвером. Но для чего Кецховели назвал себя? Поломав голову, Лунич махнул рукой и рассмеялся. Вот и его, вроде Лаврова, поставил в тупик Кецховели. Интереснейшая личность, приятно иметь перед собой крупного противника. Кецховели знает, что ему грозит, и тем не менее... Тут, видимо, такая игра, в которой на карту поставлена сама жизнь.

Лунич посмотрел с моста на мутную Куру, перешел на Мадатовский остров, направился оттуда в Александровский сад. В аллее сада на него налетел какой-то зазевавшийся парень с низким лбом. Увидев жандармского офицера, парень криво ухмыльнулся, в глубоко посаженных черных глазах его мелькнула злоба. Лунич хотел отвесить парню затрепину, но раздумал, повернул его за плечи спиной к себе и толкнул так, что тот полетел головой в клумбу. На спине парня оказался небольшой, почти неприметный для глаза горб.

Лунич зашагал дальше, не оглядываясь, и сразу забыл о горбуне.

Он зашел во дворец губернатора, подождал генерала и попросил его связаться с Порошиным, чтобы тот как можно скорее отправил Кецовели в Тифлис. Дебиль поощрительно, понимающе улыбнулся.

— Непременно, ротмистр, непременно.

В ресторан Дворянского собрания Лунич вошел в превосходном настроении. Посетителей было мало, за одним столом сидели трое, похоже было, что завсегдатаи клуба кутят за счет приехавшего из провинции помещика, толстого, с усами чуть ли не до плеч, с крупными, красивыми чертами лица и преглубокими глазами. Завсегдатаи прислали Луничу через официанта бутылку «Мукузани», он в ответ послал две бутылки шампанского, его пригласили пересесть к ним, и он согласился, но соперничать в питии отказался, и как только за окнами стемнело, откланялся и пошел на Лермонтовскую, прихватив с собой бонбоньерку с конфетами.

Амалия ждала его, и ему стало приятно. Оказалось, что няня мужа еще не приехала, а горничную Амалия выпроводила. На столике в спальне он увидел вазу с букетом белых роз.

Как и в прошлые встречи, они почти не говорили. Амалия ела конфеты, а Лунич рассматривал лицо ее с огромными глазами и пухлым ртом. Шоколад размазался по пальцам, она принялась их облизывать розовым языком, хмурясь от удовольствия. «Хорошенькая, но глупая рожица», — подумал Лунич, закурил и выпустил клуб дыма в лицо Амалии. Она закашлялась, с досадой посмотрела на него. Он снова пустил ей дым в лицо, бросил окурочек в цветочную вазу и ущипнул Амалию так, что она вскрикнула и посмотрела на него с удивлением — для чего он делает ей больно?

От автора

Наверное, я сумею полностью узнать Ладю только после того, как прослежу за всей жизнью этого человека, загляну в детство и в юность и дойду вместе с ним до конца его дней. Мне хочется найти хоть одного старика, пусть совсем глубокого, который был знаком с Ладю и сумел бы, подобно Вергилию, взять меня за руку и повести в дни минувшие. Я ищу такого, но еще не нашел. Может быть, я справлюсь и без живого свидетеля, буду пока продолжать знакомство с теми людьми, которые имели отношение к Ладю, и с друзьями его, и с врагами. Они тоже не всегда раскрываются сразу, и даже тот, кто виден словно на ладони, может вдруг повернуться совершенно неожиданной стороной своего характера.

Темур

Костлявый кулак офицера толкнул Темура в самый горб. Горше ничего не могло быть. Отлетев на клумбу, Темур в ярости вскочил.

Ротмистр уходил, не оглядываясь. Да и что мог сделать Темур жандармскому офицеру? Он принялся топтать ногами белые астры. В ушах зашумело, из носа потекла кровь. Прижимая к носу рукав, он сошел с клумбы и сел на скамейку, запрокинув голову. В воображении он видел, как ротмистр ползает по земле и просит пощады. Темур небрежно бросает через плечо: «Повесить!» Ротмистра ставят на табурет, накидывают на шею петлю. Когда изо рта ротмистра высунулся синий язык, Темур усмехнулся. Вокруг стояли толпы людей, они менялись на глазах: горбатые становились стройными, слепые прозревали, хромы переставали хромать, глухие обретали слух, бедняки сбрасывали с себя лохмотья и надевали красивые, богатые одежды, и все кричали: «Да здравствует Темур!»

Кровь свернулась, Темур поднялся и пошел через мост на Михайловскую улицу. Кто-то выбросил из окна апельсиновую корку. Темур наступил на нее, поскользнулся и чуть не упал. В ушах снова загудело. Он выругался, отыскал булыжник и швырнул его в окно. Зазвенело разбитое стекло, раздались крики женщин. Темур медленно пошел дальше, удерживая себя от желания побежать. Его никто не преследовал. Конечно, тот, кто выбросил на улицу корку, не знал, что Темур наступит на нее, но почему все сегодня напоминает ему об одном и том же! Впрочем, пусть, пусть и сегодня, и завтра, и послезавтра все кричит о несправедливости, пусть в костер летят

новые поленья, пусть огонь разгорается жарче и погребельнее!

Апельсины он видеть не мог, от одного их запаха начиналась тошнота. А ведь сколько лет прошло уже с того дня...

Мать вымыла Темура в деревянном корыте. Он удивился: откуда она взяла мыло? Потом надела на Темура чистую рубаху и переоделась сама. Отец отсутствовал, он, как это часто бывало, навесил замок на дверь кузницы и исчез. Мать говорила соседям, что он уезжает на заработки. Побродив где-то, отец через четыре-пять месяцев возвращался — без денег, похудевший и загорелый. Ночью он за что-то ругал мать, утром открывал кузницу и снова ковал скобы, подковы, кочерги и гвозди. Получив деньги, зазывал к себе соседей — кожевника и лудильщика. Они пили вино, угощали прохожих, и отец звал Темура, чтобы влить ему вина в рот прямо из кувшина. Темур молча отбивался. Кончалось тем, что отец отвешивал ему подзатыльник. — Обожди, ваше сиятельство, я из тебя золотаря сделаю!

Когда сосед-лудильщик обучил Темура грамоте, отец, узнав об этом, разорвал книжки и закричал: — Он золотарем будет, а чтобы бочки с дерьмом возить, грамоты не требуется!

Мать повела Темура в Сололаки — район богачей. Она то и дело вздыхала, оправляя ему на спине рубашку. Он вырывался: — Не трогай, а то убегу! — Темур терпеть не мог, когда мать смотрела на него с жалостью и вздыхала. Подумаешь, выпирает лопатка и левое плечо выше правого. К тому, что мальчишки называли его горбуном, он давно привык.

— К князю идем, сынок, к богачу, — шептала мать. — Ты ведь хочешь в школе учиться? Князь тебя устроит, он давно обещал.

У двухэтажного дома с большими окнами стоял экипаж. Серые кони приплясывали, толстозадый ку-чер покрикивал на них.

Мать свернула в подворотню. За домом оказался большой двор, за двором сад, в саду бил фонтан. Из кустов выскочила с лаем огромная черная с седи-пой собака. Мать не испугалась.— Тубо, Марс! — Со-бака остановилась и отошла, помахивая хвостом.— Что значит «тубо», мама? Откуда ты знаешь ее имя? — Тубо — это не по-нашему, Темур, на иност-ранном языке. Я служанкой была у князя, когда ты еще не родился.

Вихлястый парень в белой черкеске поздоровался с матерью, опа что-то сказала ему, паренё пожал плечами и пошел к дому.

— К беседке идите! — крикнул он.

Мать повела Темура в сад. Под высоким раски-дистым деревом, в беседке, увитой виноградной ло-зой, стояли на столе кувшин, стаканы и блюдо с большими желтыми шарами.

— Мам, это что?

— Фрукты такие, апельсины называются. Идет!

К беседке медленно шел мужчина — небольшого роста, видный, в черкеске с эполетами, с непокрытой головой, седые кудри вились вокруг плечи, усы были подкручены, крупный нос высовывался из румяных щек. За ним, подпрыгивая, как на пружинках, семе-нил толстяк в городской одежде. Темур стал рассмат-ривать эполеты князя и звезду у него на груди. Сразу можно было узнать, что это князь. Он шел так, слов-но ему принадлежали вся земля и все небо.

Мать стала кланяться. Князь кивнул, вошел в беседку и сел.

— Что они сказали, Шакро? — сердито спросил он у толстяка.



— В аренду не хотим, пусть его сиятельство продаст землю.

— Мошенники! Знают, что проигрался,— проворчал князь,— совсем лес выведут, собачьи дети! Земля полита кровью предков... Но другого выхода нет. И долг чести, и Мери в Петербург посылать надо... Шакро, пусть сегодня же дают задаток. Привезешь вечером к Орбелиани, я там буду. Барыне ни слова. Подожди, не уходи. Так это ты, Маринэ, а я и не узнал. Постарела-а. М-да... Это твой сын! Для чего ты его привела?

— Ты говорил, вырастет, в школу определяю,— глухо произнесла мать.

— Не помню.

Рука матери дрогнула. Она подняла голову.

— Если тебе трудно, я супругу твою попрошу помочь.

— Что? — переспросил князь.— Ишь ты, смелая какая стала.

— Мы тоже люди, господин. Мы ведь не крепостные.

Князь вдруг растерялся и покосился на толстяка.

— М-да, конечно...

Он перевел взгляд на Темура и задумался о чем-то. Улыбка раздвинула его красные, как у женщины, губы.

— Ты кем хочешь быть, мальчик? Как его зовут, Маринэ?

— Темуром назвала, господин.

— Так кем ты хочешь стать, Темур?

— Князем, как ты.

Князь деланно засмеялся.

— Недурно, если только не ты, Маринэ, его подучила. А почему он так горбится?

Мать не ответила и вытерла глаза кончиком платка.

Князь поморщился.

— Я его в военное училище определил бы, а теперь я не знаю, как быть. Что с ним делать, а, Шакро?

— При Марининской церкви есть школа и при семинарии — тоже.

— Пожалуй, иного выхода нет. — Князь потер лоб рукой. — Сколько забот — одного в училище, другую — в заведение святой Нины, третьего... Хорошо, Маринэ, будет твой сын учиться. А почему он босой? Разве твой муж не зарабатывает?

Мать молчала.

Темур переводил взгляд с князя на мать и снова на князя. Силачи-кузнецы с их улицы никогда так не разговаривали с людьми, как князь, ведь от того, что они унижали бы слабого, сами сильнее не стали бы. И мать ведет себя как-то странно, то униженно просит, то смотрит на князя со злобой, вызывающе.

— Кузницу он получил, — строго произнес князь, не дождавшись ответа, — домик получил, что же он такой неблагодарный? Может, он пьет?

Мать кивнула.

— Ты передай мужу, что я могу приставу сказать, и ему таких плетей дадут!

— Отца все равно дома нет! — крикнул Темур. — Пристав его не найдет!

Мать схватила его за ухо, но не так больно, как она это делала обычно.

Князь улыбнулся.

— Оставь его, Маринэ, он не должен быть пугливым. Жаль, что горбатый... Впрочем, Темур-ленг был хромой. Что же, у каждого своя судьба. Идите. Шакро, дай мальчику апельсин.

Темуру не хотелось ничего брать, но он никогда не ел таких фруктов. Сжимая в руке пахучий желтый шар, он опередил мать, выскочил на улицу и впился зубами в апельсин. Он оказался горьким. Темур сплюнул и выбросил апельсин под ноги лошадям. Лошади вздрогнули, замотали головами и чуть не понесли. Кучер еле удержал их и стал ругаться...

Темур провел рукой по лбу, стирая воспоминания. И зачем он сегодня пошел пешком? Лучше бы сел в конку. Ладно, времени все равно много. Надо только перед дежурством поест в подвальчике у вокзала. Копеек двадцать у него найдется. А что делать завтра? Ничего, скоро ему дадут разряд. Телеграфистам хорошо платят. Закро просил сообщить членам кружка, что занятие состоится у него на квартире в среду. Насчет занятий можно сказать и завтра. А на той неделе снова стоять на страже у ворот, следить, не появится ли полиция. Члены комитета доверяют ему и не подозревают, что он часто подслушивает у окна их разговоры. Нерешительный народ, все взвешивают, примеряют. Те парни, что называют себя эсерами, куда отчаяннее, но связываться с ними опасно. «Бомбисты» часто проваливаются. А вообще надо приглядеться и к тем, и к другим. Если все пойдет, как сейчас, он будет пробиваться в комитет эсдеков. А пробьется, завернет дела покруче. Состав комитета часто меняется, полиция хватает то одного, то другого. Понадобится, он поможет, как говорил Акимка-кучер, приехавший в Тифлис из Сибири, «погореть» тому, кто станет ему поперек дороги... Надо было еще заглянуть сегодня к матери, отнести белье в стирку. Тоже успеется. Мать, наконец, смирилась с тем, что он живет отдельно. А может, ее это даже устраивает. Кузнец опять в бегах, а она еще не старая. Сколько ей? Лет тридцать шесть, не больше.

Что он приبلудный, ему сказали мальчишки в тот день, когда они вернулись от князя. Он рассказал, у кого был с матерью, и начался хохот. «Отца не узнал! Всему кварталу известно, с кем мать тебя прижила. Гулящая!» Он полез в драку, и кто-то рассек ему камнем щеку. Темур не плакал. Отбившись, он прибежал домой, посмотрел на мать, крикнул ей самое грязное слово, какое знал, и убежал. Его разыскал и привел домой сосед. Темур два дня носу на улицу не показывал, а потом, подумав, вышел к мальчишкам и стал издеваться над ними. Они — пыль, они — грязь, а он — сын князя, он станет большим человеком, а они будут его слугами. Он гоготал, бил себя руками по ляжкам и плевал им под ноги, а они, растерявшись, молчали.

В школе он тоже попробовал поплевать под ноги одноклассникам, но они только обрадовались, закричали по-русски: «Князь, князь, лицом в грязь!», подняли «его сиятельство» на руки, вынесли в сад и бросили в крапиву. Эти поповские сынки в грош не ставили дворянское происхождение. Единственное, чем можно было удивить их, — знаниями, единственным, чему они подчинялись, — физической силе. Хотя он умел и не боялся драться, но многие были сильнее его, и для всех он был «горбун» и «лицом в грязь». Память у него оказалась редкой, он запоминал наизусть десятки страниц, только раз прочитав книгу, и скоро стал получать высшие баллы по всем предметам, кроме пения, — слуха и голоса у него не обнаружилось. Заметь одноклассники, что он зубрит, ничего не изменилось бы, но то, что он занимался не больше других, а запоминал все, вызывало зависть и уважение. Учителя тоже выделяли его, даже хвастались способным учеником при посещении школы попечителем и инспекцией. И все же то однокласс-

ники, то учителя нет-нет, да посматривали с усмешкой или жалостью на его горб, так ему казалось. Это приводило Темура в бешенство. В один из припадков ярости он швырнул миску с горячим супом в лицо отцу-эконому. Темура исключили перед самым окончанием школы, дорога в духовное училище и в семинарию закрылась. Мать хотела снова пойти к князю, но Темур не разрешил ей. Несколько раз Темур видел князя на улице, он ехал в экипаже с двумя детьми — мальчиком в бархатном костюмчике и хорошенькой девочкой. За то, что они ехали в экипаже и были нарядно одеты, их нельзя было не возненавидеть. Мир омерзительно устроен!

Помог Темуру сосед-лудильщик. Он устроил его в парк конки, сначала подмастерьем слесаря, потом Темур стал кондуктором, и тогда он ушел от матери и стал снимать комнатенку. Кто-то из кучеров, просмотревшись к Темуру, привел его с собой на занятие нелегального кружка. Тут Темур и узнал, почему мир устроен омерзительно. Оказалось, что князь, его отец, — один из тех, кто угнетает народ и против кого необходимо бороться, чтобы установить справедливость. И потому, когда в кружке его как-то спросили о родителях, он ответил: — Мой отец кузнец. — Он понял свое предназначение: он разрушит весь этот мерзкий мир и построит новый, справедливый, где все обиды будут возмещены и отомщены. Отомщены куда сильнее, чем он в школе отомстил одному из своих обидчиков — ночью обмотал ему пальцы на ногах ватой и поджег. Никто не узнал, что сделал это Темур, и погорельца еще посадили в карцер за прожженное одеяло. То было, как ему сейчас казалось, очень давно. Теперь перед ним раскрываются куда более широкие возможности, остается только набраться терпения. Он снова вспомнил жандармско-

го ротмистра и выругался.— Будешь ты у меня болтаться в петле!

Темур дошел до вокзальной площади. Спустившись в подвальчик, поел и направился на свою новую работу, куда ему помог перейти один из членов кружка,— Темур стал учеником телеграфиста на железной дороге.

Сдав Темуру дежурство, рыжий, с лицом в веснушках телеграфист по кличке Костер позвал его в коридор и шепотом спросил:

— Слышал про Кецховели? Знал его?

— Что с ним?

— Арестовали в Баку. Не то вчера, не то позавчера. Ребята денешу приняли...

У Темура даже ослабели ноги. Он процедил сквозь зубы:

— Свиристуют жандармы. Беда.

Вернувшись в аппаратную, сел за работу.

Может, известие ошибочное? Слишком невероятно, чтобы Ладю мог попасться.

В первый раз Темур увидел Кецховели три года назад на занятии кружка. Темур устал за день, слушал невнимательно и клевал носом, случайно он перехватил взгляд пропагандиста, и сонливость прошла. Во взгляде пропагандиста не было ни упрека, ни жалости, так смотрит равный на равного, спрашивая: «Устал, брат?» Говорил он так, будто думал вслух, и от этого невозможно было не поддаться его убежденности. Темур не сводил с него глаз. Пропагандист пошутил, улыбнулся, и Темур рассмеялся. Почудилось, что нет у него больше горба и все вокруг стало лучше. Несколько дней подряд он вспоминал глаза и голос пропагандиста и наконец раз узнал, что это конторщик типографии Хеладзе Ладю Кецховели.

На следующем занятии он не сводил с Кецохвели глаз, потом подошел к нему и, запинаясь, спросил, что изменит революция, не вообще, не в смысле свободы и равенства, а... начальники все-таки будут? Ладо улыбнулся, и глаза его сузились в ласковые щелочки. Он положил руку на плечо Темуру.— Понимаешь, революция освободит народ от насилия, от угнетения. А какие силы угнетают народ? Армия, чиновники, жандармы. От них и надо освободиться. Народ будет сам выбирать тех, кто должен управлять заводом, железной дорогой. А чтобы они не стали чиновниками, народ будет их часто менять. Вот ты рабочий, кондуктор конки. Выбрали тебя начальником на время, потом ты возвратишься на свое рабочее место, а начальником станет другой. Привилегий, пока ты отдежуришь начальником, у тебя не будет, жалованье сохранится прежнее.

Темур надолго задумался над тем, что сказал ему Ладо, и усомнился в его правоте. У людей разные характеры, разная внешность, разные способности, один нравится всем, другой — никому. После революции останутся и дураки, и трусы, и слюнтяи, неужели все они, наравне с другими, будут избираться на время в начальники? Вряд ли, выбирать будут лучших. Но что тогда получится... Предположим, что революция уже свершилась. Рабочие конки, конечно, выберут первым начальником Ладо, а не Темура, но когда придет очередь Темура, рабочие скажут: не надо его, пусть лучше снова отдежурит Кецохвели, и так все время. Начальником всегда будет один человек. Есть над чем подумать.

Темур брился перед зеркальцем. Он посмотрел внимательно на свои угловатые скулы, острый подбородок, низкий, заросший волосами лоб и плюнул на отражение в зеркале. Лицо его навсегда останется

уродливым, и от горба ему не избавиться, а Кецховели строен и красив, и этого у него никто не отнимет. Глядя на Ладю, люди убеждаются, что глаза и лицо — зеркало души человека. Скорее всего так и есть — в глазах Ладю видишь сочувствие, ласку, он смотрит на человека, как на любимого брата. Неужели в душе его нет ни капли злобы, зависти, презрения, неужели он не смотрит, хотя бы изредка, свысока на других? При следующих встречах Темур стал искать в Ладю скрытый порок или недостаток, не сумел их обнаружить и оскорбился. Все шло прахом! Какой смысл разрушать старый мир и создавать на его обломках новый, если и в новом мире сохранится несправедливость, если Ладю легко, не стремясь к этому и не желая того, всегда будет иметь над людьми власть, просто так, по той же причине, по какой у Темура есть горб, а у него нет?

Ладю больше не появлялся — вместо него пришел другой пропагандист. Самым досадным было то, что Темур все же огорчился. С завистью и даже ненавистью он мог думать о Ладю, не видя его, а при встречах невольно поддавался обаянию его глаз, его голоса.

Увидел он снова Ладю неожиданно. Представители комитета эсдеков собрали кучеров и кондукторов конки в парке дороги, чтобы помочь им провести забастовку. Одного представителя комитета Темур узнал, несмотря на то, что он сбрил бороду. Ладю заговорил, и Темур стал всматриваться в еще более открытое без бороды лицо, прислушиваться к его словам. Вокруг так же жадно слушали. И Темур вновь подумал о том, что ему никогда не стать таким, как Кецховели. Сколько бы он ни учился, сколько бы ни знал, таким, как Ладю, он не будет, не сумеет ни говорить так, ни находить такой отклик в людских

душах. Если бы только можно было исправить эту несправедливость!

Темур не верил ни в бога, ни в дьявола, иначе он заподозрил бы, что один из них вдруг протянул ему руку помощи. Кто-то тихо сказал за его спиной: — Узнать бы, кто этот смутьян? Как инородцы кашу заваривают, так нашему брату, русскому, солоно приходится. — Темур обернулся, увидел знакомое испитое лицо, курносый нос и алые глаза. Об этом рабочем говорили нехорошее. Темур думал мгновение. — Я знаю бритого, — вполголоса сказал он. — Это Ладдо Кецховели, работает конторщиком в типографии Хеладзе. — Темур отвернулся, чтобы рабочий не запомнил его лица.

Утром во двор конного парка ворвались полицейские. Рабочие отступили, и Темур понял, что пришел его час, что он может показать себя. Он выломил из ограды железный прут, с криком кинувшись на полицейского, и, холодея от ужаса, ударил его прутом, как копьем, в живот. Острый конец прута вонзился глубоко, полицейский закричал и повалился. Другие рабочие тоже стали выламывать прутья и выковыривать из мостовой булыжники. Темур бил ногами полицейского, не в силах остановиться. Кто-то оттащил его. — Очумел ты что ли, парень? Хватит, он давно мертвый. — К парку скакали казаки и жандармы. Темур огляделся, перелез через ограду и спрятался в саду Мухтаида...

Те, кто видел, что Темур первым бросился на полицейского и убил его, молчали. Эсдекам стала известна смелость горбатого кондуктора и то, что он повел людей за собой. Полиция расспрашивала всех о Кецховели. Рабочие узнали, что называл его имя русский слесарь. Темур выдавил сквозь зубы, что предателя надо убрать, может ведь он пьяным случайно

упасть под вагон конки. Рабочие переглянулись: «Голова у тебя варит». Через несколько дней доносчик утонул в Куре, и полиция установила, что он утонул в состоянии опьянения.

Темур присматривался к членам комитета, определяя тех, кто в будущем может быть опасен ему. Однажды, подслушивая у окна, он узнал голос Кецховели. Снова этот человек! Откуда он появился? Одно лишь смог узнать Темур — Ладо будет ночевать на квартире Джугели. Кровь прилила к голове Темура, и он отошел к воротам. Когда стемнело, Закро, как всегда, подошел к нему: — Все ушли тем ходом, ты тоже можешь идти. — Темур, не глядя, кивнул. Он долго ходил по улицам, решаясь, и решился: с дороги, на которую раз ступил, не сворачивают. Он надвинул фуражку на глаза, подошел к жандармскому управлению и повелительно сказал стоящему на улице жандарму: — Передай сейчас же ротмистру Лаврову, что Кецховели будет сегодня ночевать на квартире Джугели. — Жандарм козырнул и вошел в подъезд. Темур убежал. Несколько дней он ждал известия о том, что Ладо пойман, но тщетно.

И вот теперь Костер сообщил ему об аресте.

Темур принялся за работу. Как бы узнать, правда ли, что Ладо арестован? Отправив депеши, он покосился на старшего телеграфиста — отпустит он его или нет? Услышав, что Темур нездоров, старший телеграфист разрешил ему уйти.

Темур поблагодарил, вышел и через четверть часа постучал условным стуком в ставень домика на Елизаветинской улице, где была конспиративная квартира.

Известие об аресте Кецховели подтвердилось.

Темур отправился к матери. Разбудив ее, попросил вина. Мать обрадовалась Темуру, достала кув-

шин вина, поставила хлеб, сыр, зелень. На лице ее появились морщины, но коса была густая и блестящая, как у девушки. Заметив взгляд Темура, она накинута на голову платок, села напротив и, пряча в уголках глаз и в морщинках жалостливую, виноватую улыбку, смотрела, как он пьет вино.

— Хорошее? — спросила она.

Темур пожал плечами. Он не любил вино и пил его редко, наверное потому, что маленьким часто видел, как напивается кузнец.

— Одного... знакомого арестовали, — сказал он, — в Баку.

Мать понимающе закивала.

— Вот несчастье. Да ты пей, сынок. Мяса вот только у меня нет.

— Без денег сидишь?

— Тебе нужны, сынок? У меня есть три абаз¹.

— Оставь себе. Придет время, ни в чем не будешь нуждаться. Помнишь дом князя? В нем будешь жить, — пообещал он.

Она опустила голову.

Ладо арестован. Руки Темура остались чистыми. Впрочем, какое это имеет значение! Ладо может сбежать из тюрьмы, и все начнется сначала. Что ж, Темур вроде бы окончательно излечился от симпатии к этому человеку, единственному, которого он чуть было не полюбил.

Темур снова наполнил стакан.

— За твоё здоровье, мать. Скажи, я родился горбатым или горб появился потом?

— Бог наказал меня, сынок.

— Бог? — Темур усмехнулся. — Так когда горб вырос?

¹ Абаз — двадцать копеек.

— Во время родов спину тебе повредило. Маленькая я была, худая. Пятнадцать лет, а мне десять давали... Тот, кого арестовали, другом твоим был, сынок?

— Называй меня по имени, мать. Пойду. — Он встал и пошатнулся. — Вино и вправду крепкое. Завтра белье занесу.

— Может, останешься? Тебе ведь далеко.

— Пожалуй. Я на тахте лягу.

Мать засуетилась, переложила со своей кровати на тахту подушку и лоскутное одеяло. Темур разделся, лег на бок, на спину он никогда не ложился, и закрыл глаза. У него кружилась голова, но казалось, что не голова кружится, а вращается вокруг него земля.

Он открыл глаза и поднял голову.

— Мама, — позвал он.

— Что, сынок? Что, Темур?

— Спой мне колыбельную.

Мать удивленно посмотрела на него. Когда она подошла к тахте, он уже крепко спал.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОЛКОВНИКА ПОРОШИНА

20 сентября 1902 года

Стало известно, что революционно настроенные рабочие собираются с оружием в руках освободить политического арестанта Владимира Кецховели.

Приказываю, чтобы при перевозке из Баилдовской тюрьмы на железнодорожный вокзал арестанта Кецховели сопровождала полусотня казаков. Для доставки Кецховели в Тифлис начальнику Бакинского отделения жандармского управления Закавказской железной дороги ротмистру Зякину обеспечить специальный вагон с усиленной против обычного охраной.

НАЧАЛЬНИКУ ТИФЛИССКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

22 сентября 1902 г. № 2564

При сем имею честь представить в распоряжение вашего превосходительства политического арестанта Владимира Кецховели, привлеченного при вверенном мне управлении по обвинению в участии в тайном социал-демократическом обществе, организованном в Баку и других городах Закавказья.

В приеме прошу выдать установленную квитанцию.

Подковник Порошин.

От автора.

Появление Варлама

— Заметив вас, я сразу догадался, что вы идете сюда.— Он улыбнулся мне, как улыбаются старому знакомому.— Правда, сперва вы прошли мимо, в сторону Цихисубани, к бывшему Сапожному ряду, где Ладо снимал квартиру. В ту пору он был учеником духовного училища. Вы брели прямо по грязи и лужам, рассматривали старые дома. Я хотел окликнуть вас, но раздумал. Пусть себе походит по пустырю, все равно придет ко мне. Садитесь, курите. Я бросил эту забаву шестьдесят с лишним лет тому назад.

Он положил на стол свои большие руки, руки человека, привыкшего держать топор и рукоятку плуга. В нем все было крупно — плечи, грудь, голова. Лоб высокий, крутой, волосы густые, брови немного нависшие, глаза большие, горбатый нос тоже большой. Округлая борода окаймляла лицо, и без бороды его невозможно было представить.

Я закурил. Он придвинул ко мне пепельницу.

— Мне говорили, что вы разыскиваете человека, который был знаком с Ладом. Сказать вам, почему вы не сразу пришли сюда?

— Скажите, — я пожал плечами, не скрывая своего удивления. Встречу с ним я предполагал совсем другой.

— Вы прочитали воспоминания о Ладом, познакомились с документами, решили, что этого достаточно, а начали писать и почувствовали... Вам захотелось отыскать живого современника Ладом. Вы узнали о том, что еще жив старик по имени Варлам... Кстати, прошу вас не называть меня по отчеству, так мне приятнее. Вам сказали, что мне уже перевалило за сто?

— Да, но я и сам догадался, что вам должно быть примерно столько.

Он усмехнулся в бороду, и глаза его стали лукавыми.

— Но если вы напишете, что мне тысяча или десять тысяч лет, это тоже не беда.

Варлам хорошо говорил по-русски, даже, как мне показалось, щеголяя своим русским произношением. Он тут же спросил:

— Вы ведь говорите по-грузински?

— Да.

— Это поможет нам лучше понимать друг друга. Что ж, осмотритесь, привыкайте к обстановке. В этой комнате за последние полвека ничего не изменилось, а на табурете, на котором сидите вы, не раз сидел Ладом. Я привез табурет из деревни... Что вы вскочили? Сидите, пожалуйста, здесь не музей. Ладом расхохотался бы, увидев, как вы подпрыгнули. — Варлам повернулся и позвал по-грузински: — Машо, где ты?

— Кого вы зовете? — спросил я.

Он вновь лукаво сощурился.

— Свою правнучку. Машо нам нужна, без нее невозможно обойтись. Она воспитана в хорошей карталинской семье, мало говорит и много делает. Кроме того, она, как и я, врач. То, что зовут ее Марией, сокращенно Машо,— так же, как жену Нико, старшего брата Ладо, мой сюрприз вам. И внешне они похожи.

— Спасибо,— пробормотал я и уставился на дверь.

Вошла среднего роста девушка. Под тяжестью косы смуглое лицо было немного запрокинуто и казалось бы надменным, если бы на лице все не улыбалось — и глаза, и ямочки на щеках, и губы, и белые ровные зубы. Красавицей ее нельзя было назвать — нос был чутьку велик, глаза слишком длинные, уходящие к вискам, и брови чрезмерно густые. Но она была красива, как красива река, текущая в своем естественном русле.

Машо поздоровалась со мной, как со знакомым.

— Я накрыла в той комнате. Пожалуйста, а то хачапури¹ остынут.

Варлам встал. Он был на голову выше меня, и я подивился его юношеской стройности.

Мы перешли в другую комнату. Из окна виднелась старая крепость. Варлам выключил электрический свет, зажег несколько свечей и задернул тяжелые темные шторы.

— Приближимся к прошлому веку,— сказал он.

Мы сели за стол. Машо вышла.

— Понравилась вам Машо? — спросил Варлам.

— Да, очень.

¹ Хачапури — ватрушка с сыром.

— Даже исправник при виде ее тетки — невестки Лад — улыбался. Угощайтесь. Все, что на столе, должно быть съедено и выпито.

Он обхватил сильными пальцами длинное горло кувшина и разлил по стаканам зеленоватое вино.

— За наше знакомство! С годами каждый из нас заново открывает библейскую истину — всему свое время. Сравнительно недавно вы и не знали о моем существовании. Но наша встреча должна была произойти — не раньше, не позже, а именно сегодня. Почему у вас такой растерянный вид?

— Честно говоря, — ответил я, — мне казалось, что вы будете просто отвечать на мои вопросы...

Он пожал плечами.

— Мало ли что вам казалось. Раз уж вы пришли ко мне, принимайте меня таким, каков я есть. Уверю вас, что от этого вы только выиграете.

Машо внесла блюдо с дымящимся вареным мясом.

— Вы не присядете с нами? — спросил я.

— Спасибо, мне некогда, — ласково ответила она и ушла.

— Еще успеете познакомиться с Машо поближе, — сказал, улыбаясь Варлам. Он откинулся на спинку стула. — Разрешите называть вас на «ты»? Я ведь во много раз старше.

— Пожалуйста.

— Я вижу, сынок, что тебе еще не все ясно. Я никуда не спешу, но тебе терять время нельзя, как и вообще любому человеку. Давай быстрее возьмемся за дело. Говорили тебе, кто я по происхождению?

— Нет.

— Все мои предки обрабатывали землю, и я делаю то же самое. Кроме того, как я уже сказал, я врач. Правда, без диплома, потому что меня исклю-

чили с последнего курса университета. Я всю жизнь лечу людей без разрешения.

— Вы учились в Киевском университете?

— Да, я учился в Киеве в одни годы с Ладом. В Тквиави было около тридцати князей и дворян. Хотя они так и не раскошелились на школу, но однажды почему-то раздобрились и дали отцу деньги на мою учебу. Так я попал в университет.

Я незаметно рассматривал Варлама. В старике чувствовался характер. С этим придется считаться, хочу я того или не хочу.

— Значит, вы играли вместе с Ладом в детстве? — спросил я.

Он кивнул.

— Мы дружили с ним. Я единственный, все остальные умерли, кто знал Ладом. Тебе, наверно, уже известно, что Ладом редко бывал полностью откровенным даже с родными в том, что касалось его нелегальной работы. Но со мной он делился многим. Мы играли в лахты¹ и читали Казбеги и Писарева. Он приехал в Киев, когда я уже был там, я виделся с ним в Джаве, и в Гори, и в Тифлисе... Куда мне повести тебя?

— В деревню Тквиави, — сказал я, — в его детство. Я увидел Ладом двадцатилетним, таким, каким он был в Баку. А теперь мне хотелось бы узнать все, что возможно, о его детстве, учебе в Тифлисской и Киевской духовных семинариях, о первой юношеской любви. Познакомьте меня, пожалуйста, и с семьей Ладом...

— Твоя воля. Знаешь что?.. Мой сосед держит лошадей и фазтон. Сейчас модно раскатывать на фаз-

¹ Лахты — народная спортивная игра.

тоне после регистрации брака. А за фазтоном ползут на «Волгах» дружки и родственники, и машины гудят на весь город. Я возьму у соседа фазтон с лошадьми — он последние дни болеет, и лошади застаиваются, — и мы поедем в Тквиави так, как туда ездили в конце прошлого века. Согласен?

— Да.

...Я надел пальто и вышел на улицу. У дома стоял фазтон на рессорах и резиновом ходу, с зажженными фонарями на облучке, и две лошади приплясывали, норовя побежать, а Варлам сидел на облучке, намотав вожжи на руку.

— Садись.

Я устроился на мягком сиденье. Лошади пошли шагом, подковы зацокали по мостовой. Я посмотрел на прямую спину Варлама и рассмеялся.

— От нашей встречи мне стало весело.

Он повернулся.

— Это потому, что я тебе интересен. Ты еще не знаешь, что я могу выкинуть. Так всегда в жизни. Никогда людям не предугадать, что с ними может произойти завтра. Но они очень хотят это знать. И это не простое любопытство, не простая забота о детях и внуках своих, а стремление к бессмертию.

Варлам погнал лошадей старыми узкими улочками. Они прилегали к подножию горы, которую венчали развалины крепости. Казалось, мы вот-вот зацепим колесом за крыльцо какого-нибудь дома. Но Варлам оказался заправским кучером. В фазтоне я ездил очень давно, в раннем детстве, и еще один раз, уже взрослым, но это было просто короткой прогулкой для развлечения.

Мы проезжали мимо маленьких домиков, тускло светились окна, на улицах электричество почему-то выключили, было темно, тихо, только в канавках

журчала вода. И мне стало казаться, что я маленький, впервые в незнакомом городке, и хотелось заглянуть в какое-нибудь окошко и посмотреть, какие там стулья и комоды, и как одеты люди, услышать, о чем они говорят.

Лошади перевезли фазтон через мостик. Варлам повернулся, ступил на скамеечку позади облучка и сел рядом со мной.

— Здесь дорога прямая, лошади сами побегут. Семьдесят лет назад, когда шли дожди, тут было не проехать. Пешком по грязи до Тквиави шли чуть ли не весь день и только ночью добирались до Цхинвали.

Варлам заглянул мне в лицо и откинулся на подушку.

Встречи с этим могучим столетним человеком не было в моих замыслах, когда я приступал к работе над книгой. А теперь мы познакомились, и он везет меня в деревню времен детства Ладю.

От полей пахло сырой землей, горечью цветущего миндаля, небо было облачным, но далеко впереди луна освещала гряды заснеженных гор.

Лошади мягко стучали копытами по дороге.

Смерть сказочника

В Тквиави редко что-нибудь случается. Осенью бывает несколько свадеб, и еще время от времени кто-нибудь умирает, чаще от болезни, да иногда собака вцепится в икры приезжему торговцу. Вот и все события. Собак в Тквиави уйма, днем они спят, а чуть стемнеет, выползают и начинают бродить возле хозяйских землянок. Плетней, заборов в селе нет, но собаки и в темноте разбира-

ются, где кончаются их владения. Когда человек идет через деревню, его преследуют и облаивают все собаки по очереди. Если бы они сбегались и набрасывались вместе, путникам приходилось бы солоно. Но от одной собаки, особенно если в руках у тебя длинная палка, отбиться нетрудно.

Однажды ребята пошли купаться. Камни были горячие, как угли в жаровне, а вода ледяная. Накупавшись до озноба, возвращались в деревню. Когда пришли, вспоминать о купанье было все равно, что завести разговор о прошлогоднем снеге — солнце за дорогу прожарило им головы, и босые ноги от пыли сделались серыми.

— Послушай,— сказал Ладо Варламу и дотронулся кончиком языка до верхней губы.— Слышишь?

— Нет.

— Шуршит, как сухой листок об ветку.

Варлам засмеялся и тоже стал трогать языком губу. Чтоб ему никогда больше не купаться в речке, если он не услышал шуршания.

— Ребята, кто черешни хочет? — спросил Ладо. Черешня в деревне давно сошла, и только возле землянки священника Захария, отца Ладо, на макушке дерева сохранились крупные розовые ягоды. У мальчишек слюна побежала, несмотря на пересохшие рты.

— А твой отец? — спросил Кривой Вахо. Кривым его прозвали за то, что одно веко на левом глазу у него не двигалось. Вахо был годом или двумя старше остальных.

— Отец на поле, кукурузу мотыжит, мать в Гори уехала,— ответил Ладо,— я приглашаю.

Ребята ускорили шаг.

Ладо нес в руках большую плоскую булыжину. Он тащил ее от самой реки, сказал, что на этой булыжине можно будет толочь орехи. У него семья тру-

дят, они убрали со своего поля все камни, и их за это даже прозвали «камнесобирателями». Сыновьям, конечно, было далеко до Захария, он такой бережливый хозяин, что подбирает с земли даже гвозди и подковы. Умора смотреть, как осенью священник едет на своем мерине. Только и слышно: «Тпру-у» да «Тпру-у», потому что Захарий время от времени останавливает мерина, слезает, подбирает на обочине зернышко лобio и кладет его в карман. Потом, крихтя, садится на мерина и снова, едва тот сделает несколько шагов, кричит «Тпру-у-у». Мерин вздыхает так громко, что галки бросаются врассыпную. За осень священник собирал по дороге не меньше мешка.

Из сыновей на отца больше других похож Георгий. Нико, Сандро и Вано — совсем иные. Дочь Аната скорее всего пошла в мать. А вот в кого выдался Ладо, не понять. Тот, кто ловил когда-нибудь в горной речке форель, знает, как рыба сверкает серебром, прыгая на порогах, как вспыхивают алым светом зернышки на ее боках, как весь косяк собирается вдруг в тихой заводи и начинает перед новым порогом оплывать круги в прозрачной воде. В косяке обязательно бывает форель, которую особенно хочется поймать, хотя она ничем вроде не отличается от других. В семье Кецховели Ладо и был той форелью, которая сильнее всего притягивала глаз.

Мальчики подошли к землянке, к той крестьянской землянке, в которой жил священник, несмотря на то, что был дворянином. Кроме помещиков и нескольких богачей, в Тквиави все живут в землянках. Некоторые так зарываются в землю, что снаружи и не заметишь кровли.

Ладо бросил у двери булыжину. Возле землянки росло несколько тополей, один высоченный, обхва-

тов в восемь толщиной, его в деревне считали священным, вешали на него цветные молитвенные тряпочки и втыкали в бугристую кору свечи. За тополом стояло черешневое дерево. Оно тоже было высокое, а ветки внизу Захарий как-то обрубил.

— Лезьте, — сказал Ладو.

Сказать «лезьте» было легко, но попробуй забраться на дерево!

— Подождите, я заберусь, — Ладو ловко, как обезьяна, стал забираться по стволу. Все смотрели на него снизу. Нет, не на обезьяну он был похож, а на чертенка из сказки — такой же худой, черный и курчавый.

Ребята расположились в тени, а Ладو сбрасывал им черешни. Ягоды были крупные, сочные, снаружи нагретые солнцем, а у косточки — прохладные.

— Хватит, — крикнул Варлам. — Слезай!

Ладو собрал остатки черешни за пазуху и спустился.

— Попробуйте теперь эту. Совсем спелая, бросать нельзя было.

Когда он вытряхнул все, что у него было в рубашке, Варлам спросил:

— А себе?

Ладو рассмеялся.

— Забыл...

Он так и не взял в рот ни одной ягоды.

— Лахты! Лахты! — закричал Ладو.

Мальчики стали чертить круг и снимать ремни. Только Кривой Вахо стоял и угрюмо смотрел на Ладо. Сняв ремень, он подошел к нему и ударил по ногам — на лодыжках у Ладо сразу вспыхнули полосы. Ладо сжал кулаки, бросился на Кривого Вахо, но не ударил. Лицо у него стало белое, как мука.

— За что ты меня?

— Подумаешь,— сказал Кривой,— подумаешь, богач, всем раздал, себе не оставил. Поровну надо было разделить.

Они стояли друг против друга — здоровый, руки, как ветки дуба, Вахо и щуплый, худой Ладо — и мерили один другого взглядами. Они не впервые спивались, хотя до драки дело не доходило.

Ладо разжал кулаки.

— Да, делить надо на всех поровну. Я не нарочно, я просто забыл.

Варлам крикнул:

— За что Кривой его ударил? Ладо, дай ему в ответ, а то сами набьем ему морду! Возьми пояс!

— Правильно! Хлестни его, Ладо! — зашумели все.

Ладо покрутил ремень, отбросил его и протянул Вахо руку.

— Ты сказал правду, не будем ссориться.

Играть в лахты никому уже не хотелось, и мальчишки стали расходиться. Они надеялись на драку, а драка не получилась.

Когда все разошлись, Варлам спросил у Ладо:

— Почему ты не ответил ему?

— Так он же прав. Он обиделся, подумал, что я дал ребятам подачку.

— Ничего он не подумал,— сказал Варлам,— он просто хочет верховодить, поэтому все крутится с нами, а не со своими ровесниками, он к тебе прицепился, думал, мы на его сторону станем.

— Не надо на него злиться,— сказал Ладо,— ты же знаешь, у него отец в тюрьме.

К землянке подбежал, пригибаясь то влево, то вправо — такая у него была походка, псаломщик и сказал, что приехал из Гори благочинный и требует Захария молебен отслужить.

Ребята пошли за отцом Ладо, а псаломщик поспешил к церкви.

Захарий мотыжил кукурузу, голова его была повязана платком, по лицу струился пот. Ряса висела на кусте шиповника.

Ладо сказал отцу о приезде благочинного. Захарий посмотрел на солнце, плюнул и сказал:

— Ступайте, дети, скажите, приду сейчас.

У церкви в тени карагачей стоял экипаж, чуть поодаль сидел на стуле благочинный — румяный старик с большим золотым крестом на груди. Варлам дернул Ладо за рубаху.

— Это тот самый?

Он кивнул.

Вся деревня знала, как прошлым летом Захарий поехал к благочинному в Горы и потребовал, чтобы тот, наконец, выплатил ему жалованье за год. Благочинный стал отнекиваться. Тогда Захарий вышел на улицу, снял узду с мерина, вернулся в дом, схватил благочинного за бороду и отхлестал его уздой. Шум получился на всю губернию, но Захария не тронули, потому что благочинный не смог объяснить, почему он не платил сельскому священнику жалованье и куда он девал его деньги.

— Где же отец Захарий? — громко и сердито спросил благочинный. — Пойдите за ним снова.

Псаломщик на этот раз побежал за священником сам, а мальчишки кричали ему:

— И сюда, и туда, и сюда, и туда!

В церкви стали собираться местные князья и дворяне. Двое или трое подошли под благословение и благочинному и заговорили с ним.

Потом появилась слепая старушка Даре. Она живет одна. Отец и мать ее умерли от холеры, а братьев или сестер у нее не было. Мать иногда посылает

Варлаама отнести Даре миску лобно, кукурузную или ячменную лепешку. Другие тоже подают ей. Мать говорила, что Даре была в молодости красивой девушкой, парня ее стражники убили, и она с горя помешалась, а потом ослепла. Волосы у нее распущены по спине и свисают на грудь, она всегда что-то приговаривает. Захарий и она заклятые враги, потому что Даре вечно лезет в церковь во время богослужения, становится на колени где попало, то спиной к алтарю, то боком и пытается войти в алтарь. Захарий ее гонит из церкви, а она громко плачет.

Кривой Вахо побежал ей навстречу, за ним другие мальчишки, и они стали кричать хором:

Дура Даре,
Поплачь даром!..

Она заплакала.

Ладо вдруг сорвался с места и побежал. Он остановился возле Даре и сказал ей:

— Иди, тебя никто не обидит.

Она наклонила голову и забормотала:

— Горе мне, горе... Почему ты ушел? Ведь я люблю тебя. И ты меня любишь. Вернись, я жду, когда ты вернешься...

Она пошла дальше, а Ладо схватил Кривого Вахо за ворот.

— Чтоб ты не дразнил больше Даре, понял?

Среди мальчишек было трое или четверо дружков Кривого Вахо. Они запели песню, которой подбадривают борцов:

А что нужно для борьбы?
А что нужно для борьбы?..

— Драться хочешь? — спросил, выпячивая грудь и поглядывая на своих дружков, Кривой Вахо.

— Если не перестанешь дразнить Даре, давай,— ответил Ладо.

— Твое какое дело,— заявил Кривой,— захочу и буду дразнить.

— Я тебе не позволю,— сказал Ладо.— Начинай. Ударь меня.

Кривой замахал руками перед лицом Ладо, но тот даже не моргнул, только отвел правое плечо назад.

Вахо перестал размахивать руками и отошел.

— Не хочет, видите,— сказал он,— зачем же...

Одни засмеялись, другие засвистели, дружки стали стыдить Вахо.

— Ребята,— сказал им Ладо,— вас тоже касается, будете дразнить слепую, выходите — хоть по одному, хоть вместе.

Один из дружков Кривого сплюнул сквозь зубы и нехотя сказал:

— Нужна нам слепая Даре!

Ладо улыбнулся. Улыбка у него была, как у девочки, которая всем нравится, но сама об этом не догадывается.

Он положил руку Варламу на плечо, и они, не стовариваясь, свернули и пошли домой к Ладо. Потом Варлам пожалел, что не остался на молебен. Захарий торопился скорее вернуться в поле и закончил службу, не провозгласив многие лета царской семье. Благодетельный рассердился. Захарий, не снизив голос, рявкнул на всю церковь: — Этим собачьим душам и того, что сказал, достаточно!

— Пойдем вечером к дедушке Зурабу? — спросил Ладо.

Дедушка Зураб слепой, как и Даре, только глаз у него совсем нет. Он был солдатом, и когда войска разорили какой-то аул и уходили, аварцы взяли

дедушку Зураба в плен, выкололи ему глаза, сказав: — Это чтобы ты больше не увидел дороги к нам.

Дедушка лучше всех в селе рассказывает сказки. Он всегда садится у очага, протянув к огню сухие руки, лицо у него морщинистое, отблески огня падают на опущенные веки, и кажется, что он зрячий. Ребята сидят вокруг него, и взрослые тоже часто к ним подсаживаются. Сказки у дедушки хорошие, добрые люди всегда побеждают и великанов-дэвов, и злых каджей — сказочных чудовищ.

Друзья не успели дойти до землянки Кецховели, как вся деревня начала кричать и плакать. Послышался топот, и из-за деревьев выехали казаки на лошадях. Казаки все были бородатые, в папахах. Впереди ехали два офицера — старый и молодой. Ладо и Варлам юркнули в кусты, но у соседней землянки тоже увидели казаков. — Горе нам, горе! — кричали женщины. — Экзекуция! — Ребята бегали от землянки к землянке, и всюду казаки ругались, гоготали, вытаскивали и укладывали в арбы одеяла и ржавые котлы. У землянки Варлама казаков уже не было, только конский навоз лежал на земле, и от него шел пар. Отец ругался и кричал, что он так этого не оставит, поедет в Гори к уездному начальнику, а мать причитала:

— Последнее отняли! Не пущу тебя, в тюрьму посадят, сына пожалей!

Все же отец решил, что поедет в Гори. Мать заявила, что не пустит его одного.

Она поцеловала сына и пошла вместе с мужем к горийской дороге.

Варлам припер дверь землянки крючком. Крики и плач вокруг все продолжались.

— За что они? — спросил Варлам у Ладо.

— Нико говорил, что в Каралети тоже была экзекуция, налог не платили, второй год неурожай.

— Послушай, это не у дедушки Зураба кричат?

— В той стороне.

У лачуги Зураба собралась толпа, женщины причитали, царапали себе лицо, мужчины молчали, опустив головы. Вокруг стояли казаки. А перед лачугой на колоде, на которой рубили валежник для печи, лежал дедушка Зураб. Два казака держали старика за ноги и за руки, а еще двое, постарше, били его по голой спине нагайками. От ударов на коже вспухали черные полосы, и на колоду стекала кровь.

Ладо бросился к старику и закричал:

— Не надо! Не надо!

Голос у него сорвался, он захрипел. Кто-то схватил его и потащил в сторону...

Ребята пришли в себя в землянке Кецховели. Они лежали на тахте, укрытые одним одеялом, а по комнате ходила дочка соседей Маро Коринтели. Она часто помогала больной матери Ладо кормить детей, стирала белье. Маро была лет на восемь старше Ладо.

Ладо повернулся и жарко задышал. Глаза у него были открыты, но он словно не видел ничего.

— Кто тут? — спросил он.

Маро сразу подошла.

— Что, мой мальчик?

— Я ничего не вижу, все черное...

— У тебя жар, это пройдет. Хочешь пить?

— Да.

Маро принесла воды в кружке и напоила его.

Вошел брат Ладо, Няко.

— А где остальные? Мама не вернулась?

— Нет еще. Ваню и Сандро спят за перегородкой, — ответила Маро, — а дядя Захарий ушел в церковь.

— Нико, дедушка Зураб умер? — спросил Ладо.
— Да, сказочника нашего больше нет.
— Мучился? — спросила Маро.
— Бредил, кричал: «Собаки, грабители, не трогайте народ!» Потом сказал: «Я все вижу», — и вскоре скончался. Хватит разговаривать, спите, я пойду провожу Маро.

Они вышли.

— Ты спишь? — спросил Ладо.

— Нет.

— Знаешь, наш дед тоже убил человека. Он тогда в деревне Кецхови жил, ее все Кечхоби называют, по-турецки. Князь Авалишвили продал все Боржомское ущелье вместе с деревушкой Кечхоби брату русского царя. Дед рассердился, ворвался со своими крестьянами к князю и убил его кинжалом. Ты спишь?

— Нет еще. Убил кинжалом... Дальше?

— Деда сослали в Сибирь, и там он сгинул.

— А как вы сюда попали? — спросил Варлам.

— Папа с сестрой жили у бабушки. Тетю Кеке, папину сестру, когда ей было двенадцать лет, бабушка выдала замуж, а папа стал пастухом. Он хорошо пел, и его взяли в псаломщики, потом он стал священником, и мы жили в горах, за Джавой, в селе Тли. Там я родился...

Послышались шаги и голоса.

— Папа и Нико идут, — сказал Ладо.

— Я думал, что старость и скитания даровали ему мудрость, — говорил Захарий. — Слепой, как он пошел против казаков? Сказано: не подними руку на сильных мира сего... Жил бы себе да рассказывал сказки. Не осталось больше в Тквиави сказочников.

Нико что-то ответил вполголоса. Потом добавил:

— Сказочники родятся новые.

По дороге в Тифлис. Метехи

Поезд остановился. Издали донеслось пыхтение паровоза, набравшего воду. Хотя окна поверх решеток забили досками и увидеть что-либо было невозможно, Ладо знал, что поезд стоит в Елисаветполе: он помнил дорогу как свои пять пальцев. Как-то по пути из Тифлиса пришлось выпрыгнуть, не доехав до Елисаветполя. Все началось с Тифлиса. На перроне подошел жандарм: — Господин, следуйте за мной. — Ладо был в шляпе, в сюртуке, позади носильщик нес чемодан со шрифтом. Если пойти за жандармом, неминуем обыск, и тогда все пропало. Почему жандарм подошел, несмотря на вполне respectable вид Ладо? Наверное, им всем показали фотографический снимок, сделанный еще в Киевской тюрьме. Но мало ли похожих людей?! Решение пришло мгновенно. — Как ты смеешь?! Я пожалуй генералу Дебилю. — На треск пощечины обернулись все на перроне. Следы пальцев белели на щеке жандарма. — Простите, ваше сиятельство, виноват. — Жандарм засуетился, отнял у носильщика чемодан и сам понес его в купе. Дурное предчувствие возникло у Ладо перед самым Елисаветполем. Оно и заставило выйти в тамбур, выбросить чемодан и спрыгнуть на ходу. Потом выяснилось, что на перроне в Елисаветполе его поджидала полиция. Видимо, станционный жандарм после отхода бакинского поезда поделился своими подозрениями с начальством.

Ладо посмотрел на ладонь, сунул руку в карман и закрыл глаза.

Про Елисаветполь он говорил кому-то в поезде.

142 А-а, красавцу-инженеру Костровскому — Меликов

кончал в Елисаветполе гимназию. Тот Николай Абрамович Меликов исчез навсегда и уже никогда больше не появится. А «Маша» уже на пути в Петербург. Как они подозревали друг друга... Костровский, конечно, приступил к исполнению обязанностей. Зававно будет, если он попадет не к Нобелю, а к Красину. Нет, вряд ли. Жаль, нельзя было поспорить с Костровским. Красин искренне верит в блага, которые техническая революция принесет человечеству, а Костровский, предвидя подъем этой технической, научной волны, надеется вместе с гребнем волны подняться вверх и поживиться за счет пены. С каким пренебрежением он говорил о тех, кто за окном! Попробуйте дать им равенство! Все станут голодными — и народ, и паши, — так, кажется, он сказал. В первую очередь народу и нужно равенство, господин Костровский, а то, что у него будет, он по-братски, поровну разделит на всех, и уже потом, по мере того, как станут происходить технические революции, он будет делить и все блага, которые они принесут. В противном случае ваша техническая революция обогатит тех, кто и без того богат. Разве бакинские рабочие-промысловики заживут лучше от того, что Красин построит электростанцию? А вот Нобель и Ротшильд, использовав дешевую электроэнергию, добавят к своим доходам новые прибыли...

Отворилась дверь. Сквозь ресницы было видно, как усач-жандарм осматривает забитое окно и стены. Судя по топоту сапог и голосам жандармов, они сидят в соседних купе и ходят по коридору. Наверное, стало известно, что его хотят освободить, а то, что он передал своим из Баиловки записку, в которой просил не нападать на тюрьму и конвой в дороге, жандармам, конечно, не известно. Он не хотел кровопролития, неизбежного при вооруженном нападе-

нии. Кто знает, во сколько человеческих жизней обошлось бы его освобождение! И даже если бы попытка освободить его удалась, это привело бы к новым арестам, новым страданиям, новым жертвам. Не думал он, что на промыслах и заводах начнутся такие волнения, что к тюрьме будут стекаться толпы народа...

Ладо открыл глаза.

— Не спите, господин? — спросил усач.

— Нет, в тюрьме отоспался. Курить хочется.

— Не положено.

Дверь захлопнулась.

Лицо незлое, как у киевского дворника Василия Тимошкина. С Василием много вечеров сидели вместе у ворот, курили. Василий рассказывал о своем селе на Орловщине, весьма одобрял семинариста Володю, хороший постоялец, сурьезный, не пьет, не дебоширит, девок гулящих к себе не водит. Когда за Ладо пришли жандармы, Василия взяли в понятые, и он, не выслуживаясь, в сердцах сунул кулаком в ребра Ладо и тихонько буркнул: «У-у, смутьян!» Несчастливы такие люди — и Василий, и этот усач, и все, лишённые самого крохотного человеческого права и ненавидящие тех, кто хочет дать им свободу желаний и действий.

Паровоз загудел, вагон дернулся, застучали под полом колеса.

Утром будет Тифлис. Сколько ни приезжаешь в Тифлис, даже если с ним связаны трудные воспоминания, все равно радуешься. Город пестр, как персидский ковер, он бывает пыльным, грязным, но люди в нем живут, как пчелы в открытых сотах, живут шумно, не спешат забраться на ночь под одеяло, последний бедняк по-королевски щедро отдает гостю, при молчаливом одобрении жены, единственный ку-

сок хлеба и последний глоток вина, а самый отчаянный забулдыга превыше всего ставит слово, данное другу. Не хуже других тифлисский мещанин умеет льстить и кланяться, когда навстречу ему идет князь или богач, но еще охотнее и ловчее он смеется над дураком-князем или скупым богачом. Бедняк и богач не любят друг друга, но за одним многоязычным застольем они равны до тех пор, пока не победит тот, кто острее пошутит, кто лучше прочтет стихи и душевнее споет. А над городом стоит на скалах Метехский тюремный замок, третья, если считать Баилловку, тюрьма, которая ждет Ладо. С тех пор, как его выпустили из Лукьяновки, прошло уже шесть лет. Как мало и как много. Что это — ранняя старость или ранняя мудрость?

Отец и братья сильно огорчатся, когда узнают, что его арестовали и держат в Метехском тюремном замке. Может быть, разрешат свидания с ними?

Мать, будь она жива, расстроилась бы еще сильнее. Лицо ее помнится смутно, но очень ясно — загрубевшие руки. Наверное, потому, что лицо матери почти всегда было опущено к рукам, а руки беспрестанно двигались — мотыжили кукурузу, ломали початки, перебирали зерна, доили корову, сбивали масло, помещивали лобно в котелке, подметали земляной пол, шили платья Анате, пришивали заплатки к штанишкам сыновей, и лишь когда он с братьями ложился спать на нары, материнские руки останавливались на его лбу, и он чувствовал, какие они мягкие и нежные. В гробу мать не была похожа на мертвую, казалась уснувшей, только руки, в которых горела свеча, вызывали страх своей неподвижностью. Отец сам совершил похоронный обряд, хотя сельчане шептались, что этого не полагается делать, что надо было пригласить священника из Гори. Отец уложил спать

маленького Вано, потом сказал, чтобы Ладо и Сандро тоже легли. Ладо прижался к Сандро и спросил: — Вдруг мама проснется в могиле? — Нет, — ответил Сандро, — она умерла. — И они вместе заплакали. А отец сидел за столом с Анатой, Георгием и Нико, вапустив пальцы в бороду, и повторял: — Работа убила ее, дети, работа. Надорвалась она...

В коридоре снова слышались шаги. Дверь в купе открылась. Опять тот же усач.

— Господин, по нужде не хотите?

— Нет.

Усач понизил голос до шепота:

— Там цыгарку дам, здесь заметят.

— Спасибо, братец!

Возвращаясь в купе, Ладо еще раз поблагодарил жандарма. Усач многим рисковал, делая ему поблажку. Зря он сравнил его с дворником Василием.

Ладо прилег на лавку.

Не заметно, чтобы в вагоне были еще арестованные. Кажется, он едет, как губернатор, — один, с большой охраной. Прошли времена, когда члены царской фамилии и губернаторы ездили в открытых колясках и раскланивались направо и налево, здороваясь с толпами народа, согнанными на улицы полицейскими приставами. Теперь официальные лица предпочитают закрытые кареты и надежную охрану, а полиция старается разогнать случайные скопища людей на пути следования августейших и сиятельных особ. Боятся выстрелов. Террор, пролитая кровь, убийства не могут улучшить положения народа. Что изменилось от того, что вместо убитого Александра II на престол взошел Александр III? А ведь каких-то полтора — два года назад Ладо сам готов был совершить покушение на тифлисского губернатора и начальника жандармского управления, хотел отомстить

за убитых, избитых полицией и казаками рабочих. Как легко порой человек хватается за оружие... Следователь спросил, для какой цели Кецховели приобрел револьвер, и Ладо отказался ответить на этот вопрос. Не мог же объяснить, что во время скитания по России ему нужно было защищаться от случайного нападения. Если бы не револьвер, громилы отняли бы у него на темной одесской улице чемодан с литературой, которую он взялся доставить в Киев. Следователь заинтересовался револьвером мимоходом, даже в протокол не вставил своего вопроса. Его занимала одна лишь типография. Но «Нину» им не найти.

Авель сумел через надзирателя передать в Баюловке письмо, и Ладо теперь знал подробности спасения типографии.

Ладо лежал на жесткой лавке и улыбался. С каким упорством Джибраил защищал имущество побратима! Чего доброго, он так и не отдаст никому ящики, будет ждать освобождения Датико, чтобы сказать ему: — Я берег твои станки, как свое добро. Бери их, брат, и сядем за плов. По случаю твоего возвращения я зарезал самого жирного барашка. — Мало что можно поставить в человеке так высоко, как верность дружбе, и не будь ее, человек не сумел бы преодолевать бесчисленные испытания, выпадающие на его долю. Дружеские связи гораздо шире, чем единение только двух людей. Дружба опоясывает земной шар вдоль и поперек, и человеческие связи неисчислимы. Джибраил пожал руку Ладо, Ладо протянул руку Гальперину, а тот в Берлине обменивается рукопожатием с немецким рабочим. Миллионы людей незримо связаны между собой.

Поезд снова остановился. Паровоз требовательно гудел, вероятно, стоял у семафора. Когда не видишь,

как плывет, уходя назад, земля за окном, трудно понять, куда тебя уносит — в будущее или в прошлое. В тюрьме время останавливается, как, возможно, оно замедляет свой бег для стариков. В юности все стремительно, но каждый день долог, потому что для молодого время измеряется количеством новых впечатлений. Тысячи рук протягивают тебе на открытой ладони свое, и радуется даже горький плод, ты уверен, что отбросив его, сорвешь потом сладкий. Радостью открытия в Горийском духовном училище одарил учитель Сопром Мгалоблишвили, писатель-народник, живший в Гори под надзором полиции. Он зорко присматривался к ученикам, улыбался, встречая их в театре, одобрительно кивал тому, кто задавал больше вопросов и читал на уроках грузинские книги, что не одобрялось администрацией. — Здравствуй, Кецохвели, здравствуй, Эдилашвили. Вы, кажется, любите читать? Пойдемте ко мне, я дам одну книжку. Только никому ее не показывайте. — Они читали повесть Александра Казбеги друг другу вслух, по очереди, на крепостной стене, где никого не было и откуда виднелись далекие снежные горы — те места, куда привели к жестокому похотливому дворянину Гаге Чопикашвили похищенную девушку Мзаго, такую красивую, какими бывают только черкешенки. Она полюбила простого горца Элгуджу, они бежали с ним вместе, и Элгуджу тяжело ранили в бою, а преследователь Гага упал в пропасть. В Грузию, только что присоединившуюся к России, входили царские войска. Грубые офицеры и самодуры-генералы издевались над горцами, и те защищались, чем могли и как могли. Элгуджа чудом выжил, и они с Мзаго обрели счастье, и у них были дети, но счастье оказалось зыбким, и казаки зарубили Элгуджу, защищавшего друга, а Мзаго с детьми стала крепостной... Пи-

сатель Александр Казбеги, дворянин, князь, который учился в Москве, потом, оказывается, стал простым чабаном, и поэтому сумел так правдиво рассказать о страданиях горцев, о произволе царских чиновников. Разные бывают книги. Одни зовут радоваться жизни, красоте окружающего мира, другие заставляют задуматься, третьи приносят страдание из-за несовершенства человеческого бытия, зовут к протесту против угнетения и неравноправия. Сопром Мгалоблишвили был настоящим учителем, и те книги, которые он давал им читать, будь то его собственные рассказы или «Знамение времени» Мордовцева, учили главному — не быть равнодушным. Об этом же Ладо писал в рукописном журнале, который он выпускал в духовном училище, заполняя его своими статьями и шаржами на нелюбимых учителей. Как ворчал отец, когда он привозил домой на каникулы полный чемодан книг. — Опять этот парень читает! Нет, не быть ему добрым христианином, чует мое сердце, навлечет он беду на свою голову. — Отец оказался прав, журнал попал на глаза инспектору Бутырскому, и Ладо снизили балл по поведению, что закрывало дорогу в семинарию. Если бы не хлопоты отца, в семинарию он так и не поступил бы...

Он заснул крепко, без снов, и проснулся от яркого солнечного света.

Дверь была открыта. На пороге кто-то стоял.

— Здравствуйте, господин Кецховели. С благополучным прибытием. Весьма рад, наконец, увидеть вас.

В ротмистре, который, ухмыляясь, стоял в дверях, Ладо узнал Лаврова. Это означало, что поезд прибыл в Тифлис.

Ладо встал.

— Протяните вперед руки,— попросил Лавров и надел ему на запястья наручники.— Не гневайтесь, мера временная и вынужденная. Мне слишком хорошо известна ваша способность бесследно исчезать, и поскольку ничего не известно о ваших намерениях...

Ладо сощурился. Глаза слезились от яркого света.

— Если бы я захотел, господин Лавров, через секунду меня здесь не было бы.

Лавров отскочил, схватился за кобуру, ощущал подозрительным взглядом забитое окно, оглянулся на жандармов.

— Шутить изволите, господин Кецховели?

Ладо рассмеялся и шагнул вперед.

Вагон стоял в тупике. К самым ступенькам была подогнана тюремная карета. Возле вагона сгрудились полицейские и жандармы, чуть поодаль припльсывали кони казаков. За путями у будки стрелочника расположились на штабеле просмоленных шпал несколько рабочих. Один из них — жилистый, с приподнятым плечом и подбородком, вдавленным в грудь, показался дальновозорному Ладо знакомым. Горбун не сводил глаз с него и с жандармов. Садясь в карету, Ладо перехватил другой взгляд — такой же пристальный — жандармского ротмистра, смуглого, с темными глазами, похожего на кавказца, но не кавказца. Тоже знакомое лицо.

В карете окна оказались занавешенными, и города Ладо не увидел, он только слышал его разноголосый говор.

Через полчаса карета остановилась. Жандармы, сидящие напротив, открыли дверцу, и Ладо увидел двор Метехской тюрьмы.

Из темных окон, закрытых решетками, кто-то кричал, но нельзя было рассмотреть лица и узнать, кто из знакомых мог здороваться с ним. Авеля Енукидзе

и Виктора Бакрадзе привезли сюда из Баку позавчера, но их голоса он узнал бы.

Жандармы втокнули Ладю за обитую железом дверь.

Камера на радость ему смотрела окном в город, и первое, что он увидел левее желтого купола Сионского собора, — крышу и верхушки колонн духовной семинарии. Воспоминания налетели словно рой пчел. Вот он на первом занятии. С ним вместе толпа старых приятелей по Горийскому духовному училищу. Одних поселяют здесь же, в темных, с затхлым воздухом, с гнилыми полами спальнях, другие, как он, будут жить на рекомендованных инспекцией квартирах. Мало кто из горийцев собирается после окончания семинарии служить церкви, но у них нет другой возможности получить высшее образование. Все немного гордятся: семинарист — то же, что студент. Но, господи боже мой, какая гнусная обстановка здесь после училища! Учителя словно видят в каждом семинаристе будущего бунтовщика и с ними соответственно разговаривают. Инспекторы Покровский и Иванов следят за каждым шагом, роются в шкафах, подслушивают, выискивают среди учеников фискалов, учитель Булгаков называет семинаристов-грузин туземцами и приходит в ярость, если кто-нибудь заговорит при нем по-грузински, отец-эконом ворует, и в столовой подают порой такую бурду, которую и свиньи не стали бы есть. Немало наслушался он об этом каторжном заведении от брата Нико — его в свое время исключили из семинарии. Но Тифлисская семинария славится не только тупостью и жестокостью инспекции и учителей, а и бунтами семинаристов. Кто-то из учеников старших классов в первый же день собрал новичков и, показав на каменные плиты, шепотом сказал: — Вот тут. — На этом

месте семинарист Иосиф Лагнашвили — светлая голова, талантливый человек, исключенный за чтение светской, в том числе социалистической литературы, придя в отчаяние, потому что он больше нигде не сумел бы получить образование, бросился с кинжалом на самодура-ректора Чудецкого и убил его. Нико рассказывал, да и все семинаристы знали, что потом экзарх всея Грузии Питирим проклял грузинский народ с амвона кафедрального собора. Нашелся человек, который ему ответил. Либерал, предводитель дворянства в Кутаисской губернии, глубокий старик Дмитрий Кипиани послал экзарху письмо, в котором потребовал, чтобы Питирим покинул пределы Грузии. Кипиани выслали в Ставрополь и там через год убили...

Раз в несколько лет семинаристы бунтовали, раз в несколько лет семинаристов десятками исключали, и исключенные пополняли число народников, социалистов. Не желая того, семинарское начальство само подготавливало противников существующего режима.

Ладо рассмешила эта мысль, и он помахал рукой Сионскому собору, рядом с которым жил экзарх. Кто там сейчас? Кажется, все еще Владимир. Их присылали из России и часто меняли — святейший Синод гневался за то, что они, не знавшие страны и языка народа, не могли руководить грузинской церковью, как подобает пастырям. Когда Владимир принял экзархат и объезжал в коляске город, семинаристов вывели на улицу. Экзарх был тощ, сух и бледен. — Откуда его перевели к нам? — шепотом спросил кто-то. — Из Самары, — ответили ему. Ладо громко заметил: — А экзарх, правда, словно из могилы¹ вылез. — В это время экзарх благословлял крестным знаменем

¹ Могила по-грузински «самаре».

будущих «отцов церкви», и тут раздался хохот.— Кецховели! — заорал помощник инспектора Иванов.

Кажется, первая прямая стычка с инспекцией произошла из-за журнала. Ни Покровский, ни Иванов понятия не имели о том, что в семинарии существует нелегальный журнал и что редактор его, ученик Кецховели, читает статьи из очередного номера журнала вслух — то во время перемены, то по вечерам у кого-нибудь на квартире. Чистая случайность, глупая неосмотрительность чуть все не погубила. Покровский уже прошел по классам и вроде бы не должен был возвращаться. Все уселись, Ладо достал журнал и прочел несколько строк, как вдруг снова влетел Покровский.— Кецховели, отдайте мне немедленно то, что вы читали! — Журнал уже скомкан и спрятан в карман. Отдать Покровскому журнал — значит вылететь из семинарии, подвести тех, кто слушал чтение, начнется следствие, долгие незумские разговоры.— Не отдам! — Кецховели! Отдайте журнал! — Ого, глазастый какой, разглядел, оказывается.— Не отдам! — Если Покровский что-нибудь и получит, то только клочки, пусть попытаются прочесть.— Ладо, отбежав от помощника инспектора, тщательно рвет журнал в клочки.— Немедленно к ректору! — Не пойду! — Покровский, позеленев, выскакивает за дверь. Общее уныние.— Что теперь будет с тобой, Ладо? — Со мной? — Верно говорят, что ложь правдива, если она родилась по вдохновению, а не придумана заранее. Чем бы подменить журнал? Письмо Джаджанидзе! Благо этот чудак пишет из деревни письма длиною в полотенце. Что еще делать больному? — Ребята, у кого письмо от нашего кахетинца? — Обрывки журнала — за пазуху Джугели, а порванное тут же письмо Джаджанидзе — в собственный карман. Теперь можно являться пред светлые

очи отца-инспектора перомонаха Гермогена. Покровский тащит Ладо чуть ли не за шиворот. Зря стараются. Ладо оскорбленно заявляет, что господин помощник инспектора хотел отнять у него личное письмо, полученное от Джаджанидзе. Можно было со смеху помереть! Покровский и Гермоген переглядывались, долго складывали разорванное письмо, разбирали чуть ли не по складам слова, подозрительно спрашивали: — А кто такие Герострат и Пипин Короткий? — Слово сами не знали, что это клички учителя греческого языка Гортинского и учителя истории Румянцева. Но самое смешное в том, что Гермоген поверил Ладо, а не Покровскому, и бросил на своего помощника уничтожающий взгляд: осел, не разобрался, шум поднял!

Покровский пошел в гору. Шовинист и садист, он сам стал инспектором, сменив менее жестокого Гермогена. Такие, как Покровский, нужны тем, кто воображает себя духовным главой народа. Наверное, многие из них все же догадываются о том, что никакого воздействия на души людей не оказывают, но судя по их церковной газете, они на своих заседаниях повторяют слова о единстве духовенства, самодержавия и народа, слова, в которые теперь никто не верит. Как растеряны, как напуганы были ректор семинарии архимандрит Серафим, вся инспекция и экзархат, когда в семинарии началась забастовка! Семинаристы написали заявление экзарху. Глупо было бы писать в заявлении о социализме, о самодержавии. Ладо, растолковав это более горячим головам, выдержал заявление в тоне, каким могли бы говорить семинаристы, мечтающие стать преданными своему делу священниками. Впрочем, это администрацию не обмануло — отец-ректор Серафим и экзарх Владимир умели читать между строк. К тому же они узнали

о нелегальной сходке семинаристов за городом, где произносились крамольные речи...

Ладо отошел от окна. Надо осваиваться на новом месте. Он осмотрел стены — все надписи недавно забелили, и невозможно узнать, кто здесь сидел до него. Железная койка с матрацем, стол, табурет. Одежда и подушки нет. Он постучал пальцем по стенам. Толстые, звук глухой. Сидит ли кто-нибудь рядом в одиночках?

Обойдя камеру вдоль стен, он подошел к окну и снова посмотрел на крышу семинарии.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЭКЗАРХУ ГРУЗИИ

1 декабря 1893 г.

Всякое учебное заведение по своей идее должно подготовить для общества и государства здоровых физически, облагороженных нравственно и умственно развитых людей, ибо в этом его назначение, в этом цель и смысл его существования. Для этого нужно: во-первых — система воспитания и образования юношества, имеющая своим девизом христианскую любовь и общечеловеческую гуманность; во-вторых, система без людей, соответствующих духу системы, начальства, — ничто; следовательно, люди, стоящие во главе учения и образования, должны быть, в свою очередь, проникнуты христианской любовью и общечеловеческой гуманностью. Этого требует христианство; этого требует гуманнейшая из наук — педагогика. А между тем в нашей семинарии начальство, антихристиански и антипедагогически действуя, давит нас, доводя до человеконенавистничества. Ввиду таких антихристианских и антипедагогических условий, в которые поставлены в настоящее время мы, учащиеся семинарии, нашим ректором, инспек-

цией вкупе с преподавателем г. Н. И. Булгаковым, чаша нашего терпения переполнилась, мы не можем дальше переносить угнетение до нравственного порабощения личности... А посему мы все, воспитанники семинарии, во имя христианской любви и общечеловеческой гуманности требуем удовлетворения следующих пунктов нашей просьбы: 1) отцу-ректору отказаться от своей системы преследовать нас нравственно и устно, унижать, что выражается: а) в невыслушивании наших просьб, в) руганиях, с) запрещении грузинского пения и чтения светских газет и многих литературных произведений, вроде сочинений Достоевского, Тургенева и других, д) отец-ректор должен относиться к нам как к духовным сыновьям, с христианской любовью и заботиться, чтобы и инспекция и учителя, отсюда, конечно, и низшая служащая братия, не раздражали и не обижали нас; 2) вследствие невозможности исправить по характеру учителя Булгакова и двух надзирателей — Покровского и Иванова, удалить их. Они для нас злые ангелы, мефистофели, возмущающие нашу совесть и душу постоянными площадными ругательствами и неосновательными инквизиторскими исследованиями; 3) не уничтожить, а продолжить должно в церкви грузинское пение со своим национальным напевом, облагораживающим нашу природу и нравственность, равным образом и учитель грузинского языка пусть на самом деле учит нас чему-нибудь на грузинском языке; 4) исходатайствовать, чтобы в семинарии учредили кафедру грузинского языка и грузинской литературы, в чем имеется насущная потребность для нас, будущих служителей грузинского общества, ведь если мы не будем знать грузинского языка и грузинской литературы, то не сможем знать характера нашего народа. Каким же образом мы

тогда будем выполнять свой христианский долг, учить народ и распространять христианское просвещение; 5) не стеснять во время богослужения выхода из церкви по крайней надобности, из-за запретов у многих, и без того слабых и малокровных, развиваются болезни вроде водянки и вообще физические немощи; 6) уволить непременно вышеупомянутых надзирателей и учителя Булгакова; тем самым семинарское начальство отказалось бы от системы нравственного и умственного порабощения нас и уничтожения человеческой личности; отречься, конечно, вселять между учениками вражду увеличением числа шпионов. Не быть ни одному шпиону! Это противно христианскому чувству и религии и ведет к полнейшей деморализации.

От воспитанников Тифлисской
духовной семинарии

От автора. Варлам и я

Немало вечеров просидели мы с Варламом, толковали о Ладое, вспоминали: я — прочитанное, Варлам — увиденное. Иногда я приезжал к нему в Гори, иногда в село Тквиави, где Варлам сохранил нетронутой землянку, в которой жил в детстве. Возле нее стоял двухкомнатный домик с балконом. Варлам на время моего приезда переселялся в землянку.

В этот день мы, как и в первый раз, вместе поехали из Гори в Тквиави на фаэтоне. Я пошел побродить по окрестностям и вернулся уже затемно.

Толкнув дверь, я вошел. Тускло горела лампа. Варлам упрямо не зажигал электричества, утверж-

дая, что мне это будет на пользу — я сумею лучше ощутить старое время.

В комнате стояли у стены два ларя, большая деревянная кровать, стол, лавки, посреди комнаты горел в очаге огонь. Над ним что-то бурлило в котле, висящем на цепи.

Варлам читал стихи Бараташвили. Я сразу узнал, что он читает, потому что еще в первый день перебрал все его книги. На трех полках, прибитых к стене, стояли томики Акакия Церетели, Александра Казбеги, Овидия, Бестужева-Марлинского, Шекспира, «Очерки истории медицины» Ковзнера, учебники физиологии, патологии, практической медицины и несколько номеров журнала «Медицинская беседа».

Варлам захопнул и отложил книгу.

— Пришел?

Я кивнул, сел за стол, поднял голову и сквозь дымовую дыру в потолке увидел голубоватую звездочку. Варлам улыбнулся:

— Это Дубхе, одна из семи звезд Давидовой колесницы, или Большой Медведицы. В детстве я по ней определял время. Сейчас около семи часов.

Варлам снял с цепи котел, поставил на стол миску с мясом, принес сыр, плоские деревенские хлебцы, грецкие орехи.

Мы разговорились о семинарской забастовке. Судя по архивным документам, она наделала много шума. Семинарию на время закрыли, а 87 учеников, в том числе и Ладю, исключили без права поступления в другие духовные учебные заведения.

— Исключенные из семинарии парни прогуливались по Гори, — вспоминал Варлам, — на них все смотрели и шептались: «Это те самые...» В глазах молодежи, да и не только молодежи, исключенные семинаристы были мучениками за правду.

— Вы жили в то время в Гори?

— Мне повезло.— Глаза Варлама потеплели.—

В Гори, когда мне было лет двенадцать, нет, чуть больше, появился ссыльный врач, вернее, студент, исключенный с пятого курса, Плетнев. Не знаю, почему его сослали именно в Гори. Случайная встреча с ним — он объезжал деревни и лечил больных — определила мою профессию. Я сказал, что хочу стать врачом, мне и раньше этого хотелось. Мы понравились друг другу, и он взял меня к себе, занимался со мной. Плетнев был вспыльчив и нетерпим к лени, я его немного побаивался. Занимался Константин Михайлович со мной и арифметикой, и геометрией, и русским языком, и даже немецким. А я его учил грузинскому. С помощью Плетнева я сдал экстерном гимназический курс и потом поступил в университет. Впрочем, я мог бы и не попасть в университет. Помогло другое. Плетнев практиковал в земской больнице, маленькой, всего на пять кроватей, я часто туда лазил и как-то в его отсутствие вскрыл нарыв на руке одному крестьянину, я не раз видел, как Константин Михайлович это делает. Он застал меня на месте преступления и отодрал за уши. Я надулся. Вечером мы не разговаривали. Когда ложились спать, он подошел к моей тахте: — Ну-ну, самоучка, посмотрим завтра, на что ты еще способен. И не сердись, врачебная практика — не шутка, невеждам в медицине делать нечего.— С того дня я стал ассистировать ему, да и сам делал операции, конечно, под его наблюдением. Потом Плетнев вернулся в Петербург, закончил медицинский факультет, но прожил недолго: спасая где-то в деревне больную девочку, он отсасывал трубочкой гной из ее горла, заразился и умер. Как сейчас помню его — очень высокий, очень худой, с маленькой головой на тонкой шее и удиви-

тельно привлекательный. После его отъезда земская больница снова захирела... По-моему, ты еще о чем-то хотел спросить меня.

— Да. Что делал Ладо в Тквиави после исключения из семинарии? Он ведь был под надзором полиции?

— Ладо спокойно выдержал упреки отца, много читал, толковал с крестьянами. Несколько его корреспонденций было напечатано в газете «Иверия».

— Я читал их. Одна о том, что в Тквиави нужно построить школу, две другие — о бедственном положении крестьян, голоде, болезнях, тяжелых налогах. Варлам, а как относились друг к другу Захарий и Ладо?

— Захарий и Ладо? — Варлам задумался. — Захарий очень хотел, чтобы Ладо стал священником. Даже посох ему заказал, когда Ладо учился в семинарии, почти такой, как у экзарха, с украшениями всякими. Ладо переломил посох об колено и бросил в огонь. Отец долго ему этого простить не мог... Помню, в престольный праздник собрался народ у церкви, а Ладо приехал незадолго до начала службы, поговорить, обменяться новостями. Ладо у кого-то громко спросил: — Зачем ты церковный налог платишь? Не надо этого делать. — Люди услышали, примолкли, сын священника такое говорит, а он уже всем: — Не платите налоги, бога попы придумали. Никакого бога нет! — Тут подошел Захарий: — Убирайся домой сейчас же! — Ладо ему громко: — Папа, ты ведь лучше всех знаешь, что бога нет. Скажи людям честно. — Крестьяне захохотали. Захарий остолбенел. Думаю, еще убьет Ладо, схватил его за руку, оттащил подальше от отца и увел к нам. У нас он и ночевал. Утром Захарий уже остыл немного, но решил проучить Ладо, дал ему мешок и повел за собой со-

бирать драму. Драма — это налог зерном в пользу священника. Идут, не разговаривают. Подойдут к крестьянской землянке, Захарий получит меру зерна, высыпет в мешок, поднимет мешок на спину сына и подталкивает его, как вьючного осла. А крестьяне кивают на Ладо: — Вчера такие речи говорил, а сегодня, гляди... — Когда мешок наполнился, Ладо сказал: — Тяжело, пойдем наперерез. — Тропинка шла через заболоченные места. Ладо сделал вид, что поскользнулся, упал и бросил мешок в загнившую зеленую воду. Зерно рассыпалось. Захарий на сына с хворостиной. Ладо убежал и пошел по селу, по землянкам, куда еще не заходили, и предупреждал: — Поп за драмой идет, не давайте ничего, очень прошу вас. — Некоторые удивлялись: — Сын против отца идет, да еще сын священника. Господи, что нас ждет? — Или говорили: — Я бы такого сына и дня в доме не терпел. — Тот, кто негодовал, давал потом Захарию больше. Другие смеялись: — Проходи, проходи, поп, пусть бог тебя кормит. — Вечером Захарий кричал на Ладо: — Пащенок, если бы не драма, и ты, и братья твои до двух лет не дожили бы, вознеслись бы от голода души детские к богу, которого вы не признаете!

— А Ладо? — спросил я.

— Усмехнулся и спросил голосом учителя: — Дети, как человеку добиться для себя лучшей жизни? — И ответил голосом прилежного ученика: — Отбирайте у других все, что сможете отобрать. — Захарий привел наиболее убедительный довод — дал сыну крепкую затрещину. За Ладо вступился Нико, Захарий выругался и ушел доить корову... Нелегко было старику после смерти жены. Правда, ему помогал Нико, ставший для братьев и сестры чем-то вроде матери. Здоровенный парнище, косая сажень в плечах, а он

умывал ребятам мордочки и кормил их, и стирал им белье.

Мы молчали.

— Слепой сказочник в самом деле потерял зрение в плену у аварцев? — спросил я.

— Так он говорил. Ослепили аварцы, а убили его казаки.

Варлам вздохнул.

— Варлам, а часто использовали солдат, казаков для грабежа крестьян?

Я услышал смехок Варлама.

— Наивный вопрос. Постоянно! В нашей словенной империи всегда существовал закон — государство должно первым получить свой кусок, и чиновники на том были воспитаны — налоги все обязаны платить, а если их не платят, неплательщики ставят себя вне закона. Почему не платят, засуха или наводнение, мор или землетрясение, никого не интересовало... Сколько раз слышал в селах: царь не знает, надо до него дойти, правду рассказать. Наивный самообман. Знаешь, как все это происходило? Приглашал к себе уездного начальника, какого-нибудь Андропова, начальник губернского управления и говорил: — Что у вас творится, господин Андронов, почему крестьяне налогов не платят? — Засуха, ваше высокоблагородие! — В Душетском уезде тоже засуха, но там уездный начальник уплату налогов обеспечил. Вас, кажется, представляли к награждению орденом святого Станислава третьей степени?.. — Возвращается Андронов к себе обозленный. Во-первых, сам понимает, что виноват, — в его уезде крестьяне нарушили главный закон государства — не отдали полагающийся ему кусок. Во-вторых, что еще важнее, начальство недовольно, намекнуло, что душетский уездный лучше старается. Карьера уже под

угрозой. В-третьих, он может лишиться ордена. А ведь Андронов мечтает перевестись в управление; и жалование там посolidнее, и почету больше, и взятки покрупнее, и вообще хватит ему сидеть в уездной дыре. Нет, не даст он душепетскому начальнику обскакать себя! И на другой день Андронов посылает в села казаков.

Потолковав еще немного, мы легли спать. Весь следующий день я работал, а под вечер мы вернулись в Гори.

Застоявшиеся лошади бежали резво.

— По-моему,— сказал я,— Ладо был очень талантливый человеком...

— Что именно ты имеешь в виду?

— Талант быть человеком — прежде всего. Я не говорю о его способностях художника и музыканта.

— Поэта тоже,— прибавил Варлам.— Он писал стихи. А ты никогда не думал о том, чем талантливые люди отличаются от бесталанных?

— Тем и отличаются, что у одного талант есть, а у другого нет.

— Я не о том. Ты верно сказал о Ладо — талант быть человеком. Такие люди помогают общему движению вперед. А бесталанные тормозят движение и частенько пускают общий фазтон задним ходом. Не ухмыляйся, моя точка зрения не менее уважаема, чем точка зрения любого философа. Для меня, например, все Ганнибалы и Александры Македонские, о которых говорят, что они были талантливыми полководцами, просто бездари. Если человек ведет людей к своей цели и утверждает: грабь, убивай — он для меня бесталанная пустышка... Посмотри, до чего хорошо лунный свет лежит на горах. Где-то я прочитал, что горы — это застывшее движение.

— Может, вы сами придумали такое сравнение?

— Все может быть.

Вскоре впереди показалась горийская крепость.

Когда лошади перебрались через мостик, Варлам оживился.

— Показать тебе старый Гори? Ты ведь еще не сумел как следует разглядеть наш город.

— Покажите.

Мы поехали по улицам, потом Варлам остановил лошадей.

— Начнем осмотр отсюда,— сказал он.— Смотри. Видишь пекарню? Раньше там был собор. В нем похоронили генерал-майора Бурцова. Он был ранен в турецкую войну и умер в Гори. Эта улица называлась Соборной. Здесь проходили парады войск, били барабаны, трубы играли марш, которым всегда начинался парад. Там Троицкая церковь, а это вот костел и две армянские церкви. А там бегал смуглый и юркий, как ртуть, мальчишка. Теперь он известен под именем Камо...

Слушая Варлама, я мысленно переносился в то далекое время... Узкие улочки с одноэтажными кирпичными домами. На каждом шагу духаны. Пахнет пашлыком и древесным углем. Чувячники не работают, но лавки их открыты, и товар разложен прямо на мостовой. На подоконниках лежат и лениво переговариваются через улицу толстые женщины с тоскливыми глазами. У низкой прокопченной кузницы лежит на спине бык. Морда его стянута веревкой, ноги зажаты попарно меж двух брусков, обвязанных сыromятными ремнями. Кузнец в фартуке, надетом на голое, блестящее от пота тело, прибавляет гвоздями подковки к копытам быка. В стороне арба, и второй бык сонно пережевывает жвачку, роняя на камни мостовой белую пену...

— Вот здесь,— сказал Варлам,— жил Мате Кереселидзе. Он сыграл в жизни города такую же роль, как в Петербурге Станкевич. Мате был одним из самых образованных и просвещенных людей в Гори, в дом к нему приходила, чтобы попользоваться книгами из его большой библиотеки, уйма народа. Здесь Ладо прочитал Писарева и Добролюбова.

Фаэтон останавливается на небольшой площади, неподалеку от костела.

— Весовая площадь,— объяснил Варлам.— Здесь жили богачи. Их владения — дом, службы назывались по фамилиям владельцев — Джулабаант-кари, Тумаант-кари, Зубалаант-кари... Врата Джулабых, врата Тумановых, врата Зубалых. Под домами были огромные подвалы, подземные ходы — припасы там хранились, вино. Весь городок накормить можно было. В этом доме жил Николай Джулабашвили, богач и меценат, женатый на Анико Саакадзе, родившейся в селе Носте, она из рода Георгия Саакадзе. Они имели двадцать два ребенка. Сюда приходил педагог Яков Гогебашвили, наш грузинский Песталоцци, и писатели-народники Сопром Мгалоблишвили и Нико Ломоури, забегали подкормиться и послушать разговоры старших ученики духовного училища. Здесь бывал Ладо, здесь отчаянно спорили.

— ...Господа, поднимем тост за нашу многострадальную родину, за нашу бедную Грузию. Алла верды, князь! Хай, да мравалжамьер, мравалжамьер!..

— За Грузию, за нашу верную службу его величеству, который отметит нашу преданность, мы доказали ее, помогая усмирять Западный Кавказ.

— Главное — возбуждать в молодежи интерес к грузинской литературе, к грузинскому языку.

— Мы придем к расцвету нации только рука об руку с крестьянством. Грузинский крестьянин — единственная опора для возрождения родины.

— Лицом к Европе, господа, лицом к Европе! Нам помогут. Там уже давно прошли путь, на который нам предстоит стать.

— Будущее мира в руках пролетариев! Вы читали про призрак коммунизма, который бродит по Европе? Мне кажется, что он уже добрался до Кавказа...

Цокали копыта. Варлам что-то бормотал и напевал. Я прислушался. Он, оказывается, повторял:

— Царь милостив — хай, да мравалжамиер... Рука об руку с крестьянством — хай, да мравалжамиер... Будущее в руках пролетариата... хай, да мравалжамиер!

Мы попетляли по старым переулкам и выехали на широкую улицу, которая шла от площади перед горкомом партии к мосту через Куру.

— Куда мы теперь? — спросил Варлам. — В Киев?

— Давайте, — сказал я, — еще разок заглянем в Тквиави. А уж потом махнем в Киев.

Людские раны

Отшагав от Гори до Тквиави восемнадцать верст, Варлам первым делом начинает обшаривать все углы в поисках съестного. Где-то у него был кусок овечьего сыра. Неужели съел и позабыл, как съел? Или сыр утащили мыши? Про ячменный хлеб помнит, утром он поделился им с голодной соседской собакой. Крестьяне собак почти не кормят. Поэтому псы в селе такие бешеные. С голоду каждый взбесится!

На дне ларя он находит высохшую кукурузную лепешку. Зачерпывает воды и садится ужинать. Хватить бы лепешкой по голове уездного фельдшера! Сквалыга! Сидит в Гори, в деревни носа не кажет, а Варламу не дает за больными присматривать, жалуются начальству, что сопляк, неуч берется лечить людей. Варлама из-за этого даже к приставу таскали. А ведь при Плетневе фельдшер был тише воды, ниже травы, смотрел на Варлама умильными глазками и все приговаривал: — Способный мальчик, очень способный, пусть учится, мне, старику, подмога будет. — А теперь боится, что заработок отобьют. Варлам сказал ему как-то: — Если узнаете, что я хоть полущку взял, вот ваша сабля, вот моя голова. — Все равно фельдшер не поверил.

Мысленно обругав уездного фельдшера и поев, Варлам успокоился и взялся за книжку. Каждый день он сидит, зубрит латынь, знает, что студенту-медику без латыни и шагу не сделать. Латынь ему дается. А сейчас, когда вернулся Ладо, совсем хорошо стало. Если чего не поймет, бежит к нему, спрашивает. В семинарии их латынью как следует напичкали. Звучный язык! *Repetitio est mater studiorum* — повторение — мать учения. *Per aspera ad astra* — через тернии к звездам.

Тоскливо на душе у Варлама. Родители погибли в горах, попали под снежную лавину. Плетнев уехал... Ладо старается затащить его к себе, чтобы накормить, а он знает — у них у самих негусто. Ладо сердится. — Мое — это твое. Варлам объясняет: — У тебя еще нет твоего, все отцовское. А он: — У меня моего не будет, все будет общее, наше.

У Захария хранятся деньги Варлама, вернее, не его, а те, что собраны дворянами ему на учебу. На прошлой неделе в деревню забрел торговец, Варлам

решил купить себе обувь, но у Захария и полушки не вытянешь. Он только обозлился.— В конце августа все сполна получишь, а раньше и не надейся.— Захарий, конечно, прав, начнешь тратить деньги, и прощай, Киев. Надо дотянуть до августа. Может, в работники снова возьмут. В Тквиави все же легче живется, чем в других селах. Воды для полива много, и раз в два года каждая семья продает фруктов рублей на сорок, не меньше. А если очень задождит, да на скот мор найдет, все крестьяне, кто на ногах стоит, уходят в соседний уезд, нанимаются в батраки.

Стемнело. Варлам зажег копилку.

Где-то возле церкви протяжно закричала женщина, за ней — другая, залаяли, завyli собаки. Что могло стрястись? Всех больных Варлам позавчера смотрел — в своей деревне он плюет на фельдшера и его козны, — тяжелых среди них не было.

Послышались голоса. Варлам выскочил за дверь.

Старого Пимена он сразу узнал, а второго, Саркиса, разглядел, когда они подошли. Родители Саркиса бежали во время русско-турецкой войны откуда-то из-под Карса и поселились в Тквиави. Сестра Саркиса в прошлом году вышла замуж за сына Пимена — Васо.

— Скорее, — хрипло дыша, говорит Пимен, — беда, Васо ранен. В лес за бревнами ездили, дерево на него упало. Ничего не пожалею, спаси!

— Что хочешь проси, — повторяет за ним Саркис, — все отдам, что имею.

Бинтов, корпии у Варлама нет. Ни морфия, ни хлороформа. Даже йод кончился.

— Крови много потерял, еле жив.

Саркис дергает Варлама за рукав. Скорее, мол. Но ему надо собраться с мыслями. От Плетнева остался саквояж с хирургическими инструментами.

Варлам умеет держать скальпель, накладывать швы, зажимать артерии. Вывихи и переломы крестьяне сами лечат, но если Васо потерял много крови, значит раны открытые.

— Грудь у него порезана, и живот, и рука,— говорит Пимен,— уходит он, уходит, только ты удерживать можешь...

А если не сможет, если Васо умрет? Всего пять или шесть раз он ассистировал Плетневу, когда тот оперировал раненых. Вдруг ошибется, сделает не то, что нужно? Васо несколькими годами старше его, они играли вместе. Уездный фельдшер не ошибается, когда уверяет, что он неуч. Сказать, чтобы везли в Гори, а оттуда в Тифлис? Ухабистая дорога, ночь, к врачам Васо попадет только завтра. Оказать первую помощь, и пусть повезут? А если везти опасно? Взять все на себя? Варлама бил озноб. Не он, а кто-то другой, тот, кто когда-то подтолкнул его взять скальпель Плетнева и вскрыть нарыв, спрашивает:

— Чача у вас есть?

— Есть, конечно есть. Сколько хочешь дадим, у соседей возьмем,— отвечает Пимен, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Он не понял вопроса. Но Варлам ничего не объясняет.

— Идите вперед, подготовьте побольше чачи, два тунги, даже три.

Тунги — черпак для вина. В Тквиави он вмещает четыре кварты, в других селах — пять.

— Горячая вода нужна, вскипятите котел. Докажите керосиновую лампу и две простыни. Знаете, что такое простыни?

Пимен кивает.

— Где их взять?

— У Коринтели попросите. Идите, я сейчас приду.

Они убегают. Варлам возвращается, берет с полки учебник хирургии, прячет его за рубашу, хватает саквояж и идет к дому Пимена напрямик, продираясь сквозь кустарник и отбиваясь от собак. Надо сделать все, что умеет и чего не умеет, другого выхода у него нет.

Возле землянки Пимена толпятся, причитая, женщины. Вдруг Васо уже умер? Женщины при виде Варлама смолкают. Он на ходу бросает им ворчливым голосом старца:

— Нечего заранее человека оплакивать.

Останавливается у порога. Господи, если только ты есть, помоги ему! Спускается вниз. Спертый воздух, много народу, в углу на соломе — теленок. Васо лежит на тахте — бледный, без кровинки в лице. Рядом старушка-мать и беременная жена Васо. Над очагом котел с водой. Варлам оглядывает крестьян. Всех знает. Землепашцы, сильные люди, привыкшие к невгодам жизни, они знают, что им под силу и что нет. Сейчас они покорно ждут, пока не произойдет то, что должно произойти, — Васо или выживет или умрет. На него, юнца, смотрят с надеждой, и от их взглядов озноб становится сильнее. И снова не он, а кто-то другой кладет саквояж на стол, решительно подходит к тахте, делает знак рукой, чтобы женщины отошли, сбрасывает тряпье, которым укрыт Васо, и осторожно разматывает повязки из чьей-то рубашки.

Никакое дерево не падало на него, он весь изранен ножом или кинжалом. Ран много, почти все поверхностные, два отверстия только, на груди и животе, Варламу не нравятся. Но, кажется, он справится.

Сердито спрашивает:

— Что, у дерева вместо веток росли кинжалы? Или вы спутали меня с приставом? Кто его поранил?

Кто-то неохотно отвечает:

— Они говорили, что мы заняли их пастбище. Ты знаешь, пастбище всегда было нашим. А они...

— Кто они?

— Слуги князя. Поспорили, хотели вместе к князю ехать. Слово за слово... Они Васо нагайкой, он кулаком одного. Ранили они его и в обрыв столкнули. Мы к ним, а они — на лошадей и ускакали.

Входит с лампой в руке Саркис, за ним Пимен с простыней. Достал только одну.

Вбегает Лад, здоровается со всеми и, жалостливо сморщившись, наклоняется над Васо. Ничего в Лад не осталось от чертенка, каким он выглядел в детстве. Густые, вьющиеся волосы, тонкий, с горбинкой нос, высокий лоб. В деревне немало таких же красивых парней, но у Лад глаза, каких нет ни у кого, они словно отражают все, что вокруг.

— Поможешь мне? — спрашивает Варлам.

— Конечно. Что мне надо делать?

— Все, что скажу: прижимать артерии, вытирать кровь.

Лад бледнеет.

— Я не переносу крови, никогда еще...

Вдруг станет дурно? Не каждый может смотреть, как режут человека. Среди мужчин — Левап, старый охотник. Варлам подходит к нему, а Лад говорит, что он будет держать лампу.

Приносят стол. Варлам поливает его кипятком и скребет ножом, просит, чтобы Васо дали чачи. Пусть выпьет побольше, сколько сможет. Он не знает, разрешается ли давать такому раненому спиртное, но, если не притупить его ощущений, не оглушить, он станет дергаться, может быть, отталкивать Варлама, а тот ведь будет держать в руке скальпель, иглу...

Одной простыни для повязок мало. Разрезав простыню на полосы, Варлам снимает с себя нательную рубашку, спрашивает Ладо, в рубашке ли он. Ладо кивает.

— Сними,— просит Варлам,— разорви, сделай бинты.

Варлам подходит к Васо, объясняет, что он должен терпеть боль, иначе оперировать будет трудно. Васо совершенно пьян и ничего не понимает. За спиной Варлама Ладо выясняет у крестьян подробности столкновения с княжескими слугами.

— Завтра поедем вместе к уездному начальнику,— говорит он,— так этого оставлять нельзя. Приставу тоже заявить надо.

— Пристав Телешов,— отвечают ему,— за столом князя вино пьет, разве у него найдешь справедливость?

— Я скажу, что напишу в газете, пристав испугается.

— Ты снова уедешь, а с нас три шкуры спустят.

— Сами виноваты будете. Порознь держитесь, а надо защищаться сообща. Вот так!

Обернувшись, Варлам видит, как он показывает сжатый кулак.

Варлам подзывает к себе Левана, льет ему на руки чачу, моет руки сам, просит, чтобы вынесли теленка, удалили мать и жену Васо и других женщин тоже.

Стол подвинут к очагу. Васо лежит на столе. Ладо стоит с яркой семилинейной лампой в руке, Леван по одну сторону стола, Варлам по другую, трое мужчин держат Васо за руки и за ноги. Пимен горбится в стороне. Саркис стоит у двери.

Варлам берет скальпель. Вдруг у него начинается кружиться голова. Делает глубокий вдох и, сам не

зная почему, начинает говорить — громко, без умолку.

— Леван, прижми пальцем вот здесь. — Поливает рану чачей, Васо стонет. — Кричи, Васо, кричи, ругайся, князя ругай, пристава, кого хочешь... Леван, вытри кровь... Ты, Васо, будешь как новенький... Ничего, ничего, терпи. Держите крепче!.. Леван!

Леван толково выполняет указания Варлама, иногда сам подсказывает: — Здесь тоже зашей. — Или: — Смотри, отсюда кровь идет.

Лица мужчин потеряли окаменелость, они уже не наблюдатели, а участники операции, дышат одним дыханием со всеми, живут одной надеждой — чтобы Васо не умер.

Ладо высоко держит лампу, смотрит на Васо, и когда тот стонет, Ладо начинает стонать тоже, смотрит на Варлама, и глаза его становятся напряженно-задумчивыми, как у человека, который решает что-то очень большое и важное для себя.

Как, наверное, трудно, мучительно человеку, который всегда сопереживает другим людям, ощущает чужие страдания, как свои, и каким счастливым должен быть такой человек, ведь он никогда не чувствует одиночества.

— Все! — говорит Варлам, хватает тунги с чачей и делает несколько больших глотков.

Ладо ставит лампу на табурет, обнимает Варлама, Левана, Саркиса и Пимена, всех других, выбегает за дверь, что-то говорит, и там все смеются, говорят, кричат.

Варлам бестолково ходит по комнате, останавливается возле Васо — он спит, и снова ходит из угла в угол, не может успокоиться.

Входят женщины. Мать Васо бросается к Варламу и тараторит:

— Пусть бог благословит тебя, твое сердце, твою десницу! Пусть счастье тебе сопутствует. Пусть веселье будет в твоём доме!..

Она, радуясь, слушает её.

Подходит Ладю.

— Тебя не отпустят, а у меня дело, я незаметно уйду.

Когда он уходит, Варлам соображает, что Пимен с женой постараются отблагодарить его. Уже начинают готовить еду, и соседи приносят кто сыр, кто кушанья с вином. Сидеть за столом и слушать их похвалы он не может. Односельчане его, эти хорошие люди, не могут понять, что значит для Варлама сегодняшний день. Отведя Пимена в сторону, он строго говорит, что Васю нужен покой. За его здоровье Варлам выпьет с Пименом потом, когда Васю совсем оправится. Позже он придет снова.

Пимен, человек втрое старше его, который никогда не стал бы подчиняться юнцу, покорно склоняет голову.

— Да, дорогой, как тебе угодно будет.

Варлам забирает учебник, который так и не понадобился, саквояж с инструментами и уходит не смотря на общие протесты.

Дома ему не сидится. И Саркис с другими парнями могут нагрянуть сюда с вином. Он гасит копилку, закрывает дверь и бродит по полям, думая об операции. Кажется, все было сделано правильно.

За окрашенными землянками горит костер. Варлам подходит к нему.

На большом камне с книгой в руке — Ладю. Возле него на булыжниках или прямо на траве сидят молодые крестьяне. Ладю опускает книгу, ждет, пока Варлам сядет, и продолжает читать.

Варлам знает, что Ладó собирает крестьян и беседует с ними, но на сходку попал впервые.

Ладó читает вслух рассказ Эгнате Ниношвили «Распоряжение». Героя рассказа зовут Кацня Мунджадзе. В грузинском языке человек, как представитель большого рода человеческого, происшедшего от Адама, обозначается словом «адамнани». «Кацня» же означает человека, мужчину в обиходном смысле этого слова. «Мунджи» в переводе — «немой».

Внимательно слушает, хотя и знает этот рассказ.

Крестьянин Кацня Мунджадзе настолько беден, что ему не во что одеть семью. Кацня, собрав скудный урожай кукурузы, решает отвезти ее в город, продать и купить для жены и детей одежду. Но его вызывает старшина и приказывает взять ружье и охранять полотно железной дороги, чтобы была обеспечена безопасность важного человека, который должен проехать ночью. Карауля, Кацня размышляет о крестьянской доле.

Варлам подошел, когда Ладó читал уже рассуждения Кацни. Все слушали молча, только сучья в огне потрескивали.

— Сколько забот в голове горемычного мужика, — слегка надтреснутым, усталым голосом произносит Ладó. — Семью прокорми, одень, обуи, плати налоги, плати и учителю, и писарю... И на дорожные работы выходи, в охране стой, всякому будь покорным рабом, всякому кланяйся и прислуживай! До чего же плохо устроена наша крестьянская жизнь...

Слышится общий согласный вздох. Ладó откладывает книжку, сворачивает сигарку и прикуривает угольком от костра. Он снова начинает читать, а Варлам наблюдает за людьми, они слушают с жадностью и с удивлением — неужели слова эти напеча-

таны, неужели в книжках пишут правду и про их жизнь?

— Интересно знать, что бы стали делать важные люди, если бы крестьян вовсе не было на свете или, к примеру, я бы не пошел сторожить? Скажем, не испугался бы Сибири...

Ладо читает, как усталый Кация засыпает, положив голову на рельс, и как поезд, который он должен был охранять, отрезает ему голову. Читает он просто, и слова, которые рассказывают о смерти Кации, простые, и от этого все происшедшее обыденно и страшно, как сама жизнь. Варлам думает о Васо: как он себя чувствует?

Молчание — долгое, тяжелое. Потом крестьяне начинают говорить — все вместе, вразброд:

— Это не про путевого обходчика Симопа, что в Гори? Ему тоже поездом голову отрезало.

— У Симона двое сыновей, а у Кации дочери.

— Про нас написал человек. Разве не так живем?

— Ишь, только подумал — не испугаюсь Сибири, ему сразу голову долой. Так и есть. Живи, дыши, не жалуйся, а то...

— Ладо, а кто он — этот Ниношвили?

— В крестьянской семье родился, настоящая фамилия его Ингорква, — отвечает Ладо. — Вы про Васо слышали уже?

Все смотрят на Варлама.

— Если бы Васо не отбивался, слуги князя убили бы его, — говорят Ладо.

Ладо коротко отвечает на вопросы и так же коротко, несколькими словами, поддерживает разговор, когда он начинает угасать, дает ему направление. Варлам следит за Ладо, догадываясь, что он преследует какую-то определенную цель, и в конце концов понимает, что он хочет заставить тугие крестьянские



головы думать. Наверное, он делает самое главное. Ведь усилия государства направлены на то, чтобы подданные государя-императора не задумывались. У правительства хватает ума понять, что если народ начнет думать — государству, построенному на лжи и обмане, придет конец.

Ладо вытаскивает из-за спины гитару и, наклонив голову к плечу, наигрывает какую-то знакомую Варламу мелодию. Потом запекает по-русски. Это «Марсельеза». Ее часто пел Плетнев. Несколько человек, сидящих ближе к Ладо, прислушиваются и без слов, только голосом, подхватывают незнакомую песню. Удивительно музыкален народ. Народное пение — трехголосое, стоит нескольким парням собраться вместе, как кто-нибудь из них спрашивает: — У тебя какой голос? А у тебя? — И льется слаженная, словно многократно отрепетированная песня. У Ладо несильный, но приятный, мягкий баритон, и на гитаре он играет хорошо.

Уже поздно. Деревня давно спит.

Крестьяне начинают расходиться.

— Школа нужна, — говорит Ладо, — неграмотные все, где им понять...

Что понять, Ладо не договаривает.

— Пойдем ночевать к нам? — предлагает он.

— Я схожу к Пимену. Возможно, останусь у них.

— Ты что-нибудь ел сегодня?

— Ел. В Гори, и дома, когда вернулся.

— Завтра зайдешь к нам?

— Да.

— Отец ругаться из-за рубахи будет, — с досадой говорит Ладо. — Каждый день мы с ним ссоримся... Скажи, Васо очень больно было?

— Наверное.

— Значит, ты решил, что станешь хирургом?

— Почему именно хирургом? Вообще врачом.

— Я на твоём месте стал бы только хирургом. Оперировать — все равно что резать правду в глаза.

Он провожает Варлама до дома Пимена, хлопает по плечу и уходит, напевая «Марсельезу».

Маша.

Заурядная история

Ученик третьего класса Киевской духовной семинарии Кецховели выходит из дома, останавливается на крыльце. На платанах хрипло каркает воронье. По тротуару, подпрыгивая и размахивая книжками, перевязанными ремешком, бежит гимназистка — стройненькая, раздумывающая, на выпуклый лоб спадает завиток волос, серые глаза блестят. Ремешок вдруг лопаётся, книжки летят на грязную мостовую, гимназистка останавливается и смотрит на книжки так, как смотрят на приятеля, который без умысла, ни с того, ни с сего вдруг подставил тебе ногу.

Ладо спрыгивает с крыльца, собирает книжки, вытирает их носовым платком и протягивает девушке. Она улыбается и говорит:

— Спасибо... Я вас знаю. Вы живёте в доме госпожи Ширжерской. Я живу за углом, в Покровском переулке. Вон в том доме, номер восемь. А рядом с вами в этом доме живёт моя тётя. Разве вы ни разу меня не видели?

— Наверное, видел. Да, да, конечно, видел!

— Но не изволили замечать, да? Вас зовут Владимир и вы грузин, правда?

— Вы знаете, как меня зовут?

— Я вовсе не интересовалась, не воображайте. К маме и тете на прошлой неделе зашел дворник Василий... Правда, он на быка похож? Он и рассказал про семинаристов, что квартиру снимают.

— Там не один я грузин.

— Другой — такой пасушлепный, бука, и на медведя похож. Третий — маленький и быстрый, как зайчик.

— А я на кого похож?

— Вы? — она наклонила голову к плечу и засмеялась. — Не скажу.

— Как вас зовут?

— Правда не знаете?

— Мне дворник ничего не рассказывал.

— Мне он тоже на вас пальцем не показал. Я угадала.

— Я тоже угадаю. Вас зовут...

Она с любопытством уставилась на него.

— Ну?

— Не то Евлампия, не то Евпраксия. А может быть, Варвара.

Она возмущенно уставилась на него и расхохоталась.

— Сами вы варвар! Поделом мне. Меня зовут Марней. Ой, я заболталась, а мне на музыку... Может, вы придете к нам? Приходите, не стесняйтесь, я буду ждать вас.

— Спасибо, Маша.

— Дома меня называют Марусей.

— Мне нравится имя Маша. Мария по-грузински — Маро или Машю.

— Очень приятно. До свидания, я опаздываю.

Она убежала.

Он посмотрел ей вслед. Как случилось, что он не замечал ее до сих пор? Ведь живет она совсем рядом.

Впрочем, ему так все вокруг не нравится, что на людей даже смотреть не хочется. На чужой стороне — прескверно. Еще только осень, а он мерзнет в своем старом пальто. То теплое, которое ему спили дома, он отдал Элефтеру Абесадзе — у него вообще нет своего пальто. Отец Элефтера умер, и мать посылает ему всего двенадцать рублей в месяц. Восемь из них он отдает за квартиру. Живется неуютно и голодно. Связь с кружками наладить пока не удалось. Он пошел по адресу, полученному в Тифлисе, там уже никого не было, и хозяйка испуганно сказала: — Арестовали их, уходите скорее. — Инспекция была к нему особенно внимательна, видно, из Тифлисской семинарии сообщили о его неблагонадежности. В Киеве все было почти так же, как в Грузии: запрещалось обучать детей на родном языке, и если у семинариста обнаружат «Кобзаря» Шевченко, его немедленно исключат.

Они столкнулись на перекрестке улицы Боричевток и Андреевского спуска. Маруся сказала:

— Здравствуйте. Почему не зашли ко мне?

— Некогда, Маша, не успел.

— Не Маша, а Маруся! — мягко поправила она и задумалась. Она была сегодня другой — не дурачилась, казалась взрослее.

— Я вас испугала давеча? Со мной бывает так — ношусь иногда, как собачонка, и болтаю.

— Я рад, что мы познакомились. У вас плохое настроение? Что-нибудь в гимназии?

— Папу вспомнила. Мы с ним были как товарищи, и мне его иногда очень не хватает... Хотите, пойдем сегодня в костел? Там будет во время службы играть польский органист. Или вам нельзя ходить в католический собор?

180 — Можно, зачем нельзя? А вы католичка?

— Папа был католик. Он учился в Вене, был доктором медицины и еще доктором по двум другим наукам. Его звали Михаил-Антон-Леопольд Кох.

— А что с вашим папой? Он умер?

— Да. Мы раньше жили в центре, на Крещатике. А когда умер папа, перешли сюда, к бабушке. Так пойдете в костел?

— Пойду.

— В шесть я выйду на улицу. Договорились?

— Да, я буду ждать вас.

Ладо бывал в горийском костеле. Но такой музыки он там не слышал. Может быть, это было потому, что в Гори ученики духовного училища ходили по костелу и прыскали от смеха, пока их не выгнали, а здесь рядом с ним сидела на массивной скамье притихшая девушка.

— Это Гендель, — иногда говорила она. — Не смотрите на меня так. А это Бах...

Он старался делать вид, что не смотрит на нее, но, скашивая глаза, встречался с ее мимолетным взглядом и снова притворялся — опускал голову, и вновь тайком смотрел на нее.

Служба кончилась. Прихожане стали выходить из костела. Он тоже встал, но Маруся тронула его за рукав.

— Сядьте. Он будет еще играть.

В костеле, кроме них, остались еще любители музыки, и сверху опять зарокотал орган. Маруся больше не объясняла, и он так и не узнал, что играл органист. Разной бывает музыка. Одна повергает человека в печаль, другая поднимает его над мелкими огорчениями, третья веселит. Это был гимн жизни — светлый и могучий.

Ладо взял Марусю за руку и сжал ее пальцы. Они так и вышли, держась за руки, на улицу вместе с

другими людьми. Никто не расходился. Потом появился маленького роста органист в черном пальто и в черной шляпе. Кто-то захлопал в ладоши. Органист снял шляпу — поклонился.

— Сказочник! — сказал Ладó.

Маруся подняла на него глаза, но ничего не сказала.

Конка уже не работала, и они пошли домой пешком.

— Как будто праздник сегодня, — сказала она. — А инспектора вас не застукают? Они у вас вредные?

— Вредные. Особенно помощник инспектора Нльяшевич.

Он закурил.

— На улице не курят, — сказала она, — кроме того, надо спрашивать у дамы разрешения. И вообще курить вредно. Вы не жалеете, что пошли в костел?

— Я не знал такой музыки.

— Я тоже. Даже страшно стало. Мир большой-большой, а я такая маленькая. Хорошо, что вы меня за руку взяли. Вы угадали, что мне страшно?

— Нет, просто так...

Она освободила свою руку. Стук ее каблучков гулко разносился по пустынной улице. Они молча прошли мимо одноэтажной библиотеки Идзиковского, и он снова взял ее за руку.

— Я помогу вам, а то грязно очень.

— Да, здесь всегда вода застаивается. Хоть бы фонарей было больше! Володя, а кто вам больше понравился — Бах или Гендель?

— Чью музыку он играл в конце?

— Не знаю. Она слишком... не умею объяснить.

182 Как будто про смерть папы, и про нас, и про то, как

мы идем сейчас. Но вы не ответили, кто вам больше по душе — Бах или Гендель?

— Бах сильнее, сложнее. По-моему, Гендель рассказывает только про чистое поле и синее небо, а Бах про разные поля, про разное небо, про бурное море, высокие горы и потоки, обо всем мире.

— Пожалуй. — Она покосилась на него: — Не бегите так. Вы не обиделись на меня за то, что я сделала вам замечание насчет курения?

— Конечно, нет.

— Я хочу попросить вас: будем товарищами. Не надо за мной ухаживать, я этого терпеть не могу.

— Хорошо, не буду.

— У вас сильный акцент. И еще, вы вместо «почему» говорите «зачем». В грузинском языке, наоборот, нет мягкого знака?

— Нет. И родов тоже нет — мой, моя, мое.

Опа оживилась.

— Очень удобно. Еще чего нет?

— Ятя нет. Больших букв нет.

— Как хорошо! Знаете что, давайте свернем с Крещатика, а то вас на самом деле застукают, и я буду виновата. А разве плохо, что Гендель, как вы сказали, показывает нам чистое поле и синее небо?

— По-моему, Гендель говорит — посмотрите, как красиво, радуйтесь тихой радостью. А Бах говорит — посмотрите, какой большой и разный мир, лезьте в горы, боритесь со штормом, с грозой, с тучами, которые закрывают небо. Гендель ошибается, когда изображает чистое поле и синее небо.

— Вы мало знаете Генделя. Он умеет и плакать. Разве всегда должна быть гроза? Ведь идут и осенние дожди, бывают туманы. Володя, вы всегда такой рассудительный? Вы понравитесь маме и тете Мане.

Она на секунду остановилась.

— Ну-ка, я вас проэкзаменую. Какого русского поэта вы любите?

— Рылеева.

— Не слышала о таком поэте. Опять вы побежали. Что у вас, сапоги-скороходы надеты?

— Извините. Рылеев — декабрист.

— А, вспомнила. Я не знала, что он стихи писал.

Теперь почти каждый день Ладо встречал Марусю на улице. Было совершенно непонятно, как это раньше он не видел ее. Чаще она бывала оживленной, озорной, но иногда вдруг умолкала, и тогда он замечал, как из глубины ее глаз появляется другая, незнакомая ему девушка, напряженно думающая о чем-то своем.

— Пойдемте в театр братьев Бергонье, — предложил он, — там завтра читает Старицкий и поет хор, дирижирует композитор Лысенко. Хотите?

— Очень!

Чтобы достать билеты, надо было стоять в очереди с вечера. Студенты, которые стояли впереди, рассказывали, что Старицкий и Лысенко специально обращались к генерал-губернатору за разрешением па концерт. Наверное, на вечере будут исправник и инспекторы гимназий и семинарии.

Ни исправника, ни семинарских инспекторов он в зале не заметил. Но распорядитель концерта вышел на сцену и попросил «не делать громких рукоплесканий, дабы не был сорван концерт».

— Вы понимаете? — шепотом спросила Маруся, когда известный, любимый молодежью поэт и драматург Старицкий по-украински читал стихи.

— Да.

Старицкий поднял руки, останавливая аплодисменты, и без того приглушенные, похожие на шелест бумаги, и прочел:

И день иде, и нич иде...

— Шевченко,— прошептала Маруся.

И голову склонивши в руки,
Дивуешься, чому не йде
Апостол правди и науки!

Зал загудел. На сцене появился распорядитель.

— Господа, прошу вас, умоляю...

На сцену выходили хористы.

— Как это позорно,— сказала Маруся,— как это унижительно! Почему люди должны бояться говорить на своем языке, читать громко стихи своих поэтов!

— Это не будет продолжаться вечно, это кончится,— уверенно сказал Ладос.

Она улыбнулась и прижалась плечом к нему.

Концерт все-таки был сорван, хор запел песню карпатских крестьян:

Гей, не будет нам,
горянам,
Уже светлой воли,
Гей, нас погонят с гор
в долину
С цепями на шее...

Раздались громкие, не сдерживаемые больше хлопки. На сцене рядом с Лысенко — статным, одетым во фрак, появился полицейский пристав.

— Текст дозволен цензурой! — громко сказал Лысенко.

— Долой! — закричал Ладос. — Долой полицию!
Маша толкнула его.

— Вы с ума сошли! Замолчите.

В зале зажегся свет, открылись двери, и в дверях выросли полицейские.

Ладо и Маша молча вышли на улицу.

— У нас почти нет семьи,— сказал он,— в которой не знали бы наизусть многие главы поэмы Руставели. Когда девушку выдают замуж, самое ценное в ее приданом — книга. Если семья зажиточная — несколько книг и обязательно «Витязь в тигровой шкуре». А в XVIII веке Руставели был запрещен, по распоряжению главы нашей церкви Антония печатные экземпляры поэмы утопили в Куре...

Он закашлялся.

— Неужели у вас нет теплого пальто? — спросила Маша.

— Мне не холодно. Я привык.

— Не думала, что вы такой неосторожный. Кричали так, что я чуть не оглохла, а пристав даже вадрогнул.

Через три дня его вызвал помощник инспектора Козловский.

— Изволили жаловаться, господин Кецховели?

— Не понимаю.

— Приходила в семинарию некая девица, назвавшая себя вашей родственницей, и очень возмущалась тем, что наши семинаристы, а именно вы, плохо одеты и могут зимой простудиться, заболеть и даже умереть. Есть у вас в Киеве родственники?

— Нет, господин Козловский.

— Кто же была сия экзальтированная гимназистка?

— Она не назвала себя?

— Не успел спросить. Она изволила убежать, кипя негодованием.

— Я догадываюсь, кто был у вас. Случайно, проездом, в Киеве была один день моя родственница, и она спрашивала, нет ли у меня другого пальто, потеплее. Вот и все.

— У вас есть родственники не грузины?

— Да. Она дочь моего двоюродного дяди, который женат на русской. Двоюродный дядя — епископ, она приезжала с ним.

— Епископ? Гм... Так вы не жаловались?

— Нет, господин Козловский. Моя троюродная сестра такая, знаете... Она очень боится холода. Моему отцу она тоже, бывало, говорила летом: ваш Ладو очень легко одет. Представляете, июльская жара, а она...

— Можете идти.

К вечеру у Ладо заболело горло и поднялась температура. А он собирался с Марусей на оперный спектакль. Он постучал в дверь дома, в котором еще ни разу не был. Дверь открыла сама Маруся.

— Я заболел, вам придется пойти одной.

— Не стойте на ветру! Заходите!

— У меня ангина.

— Входите скорее! — Она втащила его в прихожую. — Тетя вас вылечит.

— Я еще хотел сказать, что знаю про вас. Вы были у нашего инспектора...

— Ии у кого я не была!

Она тронула пальцем его лоб.

— Как уют, обжечься можно. Тетя Маня! Мамы нет дома, не бойтесь.

Из кресла поднялась высокая, худощавая женщина с седой головой. Она зорко посмотрела на Ладо добрыми черными глазами и протянула руку.

— Мария Филипповна Манковская.

— Тетечка, у Володи ангина. Полечи его скорее. У него жар.

Ладо принялся извиняться, но Мария Филипповна улыбнулась.

— Посидите, я сейчас приготовлю полоскание.

Маруся спросила, понизив голос:

— Дадут они вам новое пальто?

Ладо покачал головой.

— Разве у них нет средств для помощи?

— Я от них ничего не возьму.

— Я дам вам мой шарф.

Ангина прошла, и Ладо снова встречал Марусю на углу, а она спрашивала:

— Теперь вы не мерзнете?

И поправляла вязаный шарф на его шее.

Наступила весна, но он все равно носил шарф до тех пор, пока Маруся не сказала:

— Володя, это не орден подвязки.

Он снял и протянул ей шарф. Она вспыхнула.

— Неужели вы не поняли, что я подарила его вам?

Маруся почему-то стала очень обидчивой.

— Простите меня,— сказал Ладо,— я нечаянно, не подумал.

Он пристально посмотрел на нее. Она тряхнула головой и отвернулась.

Он пытался создать кружок в семинарии, но из этого ничего не получилось. Семинаристы-грузины, исключенные вместе с ним в Тифлисе, боялись рисковать, хотели закончить семинарию, а большинство местных сторонились, мало доверяли товарищам — очень уж много развелось в семинарии фискалов. Через ребят-грузин, учившихся в университете, Ладо удалось попасть в студенческий нелегальный кружок. Его предупредили, что во избежание провала решено число членов кружка особо не расширять, поэтому не надо приводить новых людей. Несколько раз дни собраний кружка совпадали с концертами, на которые звала его Маруся, и он отказывался пой-

ти с ней, ссылаясь на занятость. Может быть, это ее и обижало.

Они стояли над Днепром.

— Так бы и полетела куда-нибудь, — сказала Маруся, подняла руки и замахала ими. — Осенью я начну работать в школе, Володя. Тетя Маня сказала, что поможет устроиться в Киеве, она знакома с попечителем учебного округа. А я бы куда-нибудь поехала.

— Поезжайте в деревню. Здесь учителей и без вас хватает.

— Одной трудно в деревне, Володя. Я не сильная. А вы хотели бы уехать далеко-далеко? — Не дожидаясь ответа, она схватила его за руку. — Спустимся вниз, на пристань, спросим про пароходы! Как будто мы куда-нибудь решили поехать. Побегали?

На пустой пристани сидел сивоусый дядько в фуражке с якорем. На вопросы о ценах на билеты и о расписании он ответил:

— Хиба ж я знаю. Цену скажут, когда пароход приде, а когда он приде, бог весть. Може, он другой день на мели сидит.

Дядько не выдумывал. Из-за конкуренции между пароходным обществом и частными владельцами цены на билеты часто менялись, а пароходы ходили с опозданиями, иногда налетали на коряги и ремонтировались, стоя у берега, а бывало, что капитан приставал к какой-нибудь деревушке — опрокинуть с дружком чарку-другую. Пассажиры лениво поругивали его и удили с палубы рыбу.

— Володя, мы друзья? — спросила Маруся.

— Конечно.

— Но вы не откровенны. По-моему, вы что-то скрываете от меня.

— Вам показалось, Маша.

Он отвернулся, чтобы не смотреть ей в глаза. Кто первый сказал о святой лжи? Ханжа, сердобольный христианин? Он не имел права рассказать ей о задании, полученном в Тифлисе, — наладить связь с киевскими кружками, пересылать в Грузию нелегальную литературу, не мог рассказать про университетский кружок...

— Вы уедете в деревню... Ведь поедете, правда? И однажды в школу вбежит сторожик и скажет: Мария Михайловна, к вам приехали. Черный такой, на коне и с кнжиком.

Она улыбнулась:

— Володя, пусть у него, когда он придет, не будет бороды. Обещайте мне, что не будете носить бороду.

— Не понимаю, чем вам не нравится борода.

— У нашего попечителя борода, и он очень противный. Раньше я была уверена, что все грузины в черкесках, с кнжиками, скачут на лошадях и похищают девушек.

— Некоторые носят черкески. Не крестьяне. Офицеры, князья. Народники тоже. Мой старший брат Нико в черкеске часто ходит. Бывает, что у нас и девушек увозят.

— Мама всегда спрашивает: — Что он тебе сказал, что ты ему сказала? — Смешная. А тетя Маня смеется: — Оставь ты ее в покое, он ее не украдет, он такой застенчивый. Володя, в самом деле, могли бы вы похитить девушку?

— Против желания человека ничего нельзя делать. Любое насилие над человеком ненавистно.

— Нет, вы представьте себе, что полюбили красавицу. Без нее жить не можете, хоть в прорубь! У вас кони, слуги, дворцы, вы для нее создадите не

жизнь, а сказку. Вы с ума сходите, горите, как будто у вас ангина. А эта ангина не пройдет, пока она не будет вашей. Похитили бы?

— Если бы у меня было богатство, дворцы, слуги, я богатство и дворцы раздал бы беднякам, слугам дал бы волю, а ей сказал бы: ничего у меня нет, я бедняк.

— Я не предполагала, что вы такой правильный, бурсак Володя. Вы говорите, как на уроке закона божьего.

— Не сердитесь, Маша. Я говорю то, что думаю. Людям живется очень тяжело, но когда-нибудь все переменится, все! Горя не будет, обид и унижений не будет, нищеты и голода не будет. Люди забудут о жадности, жестокости, никто не станет запрещать говорить на родном языке, бить кого-то нагайкой. И мы с вами обязательно увидим этот новый, светлый мир, встретимся там.

Маруся посмотрела на него, и он опустил голову, чтобы она не угадала его желания — поцеловать ее. Она рассердится, если он прикоснется к ее губам, и поссорится с ним. Но скоро он уедет на лето домой, попытается вернуться в Тифлисскую семинарию, и тогда они больше не увидятся. Поцеловать ее или просто сказать, что она ему очень нравится, что он не может думать о ней иначе, чем с нежностью, было нехорошо, потому что она стала бы надеяться, и вышло бы, что он обманывает ее — ведь он избрал путь, на котором человек обязан отстранять все личное.

— Володя, разве вы хотите стать священником?

— Нет, конечно.

— А кем? — Она впилась в него глазами.

— Я занимаюсь переводами, несколько дней, как 191

отослал в газету переводы рассказов Ниношвили. Люблю литературу и историю. Посмотрим, что получится... Во всяком случае, одно знаю твердо — моя работа должна облегчать жизнь людям.

— Помните наш разговор о Бахе и Генделе? Все-таки вы не правы. Гендель обещает людям именно светлый, новый мир.

— А Бах зовет бороться за него.

— Как, Володя?

— Вам Бах говорит: поезжайте в деревню.

— Боюсь. Чтобы поехать, нужно забыть о себе. Я ведь ни разу не думала о других. Папа, теперь мама и тетя всегда заботились обо мне, а я... Стыдно, правда?

Он кивнул.

— Молодец, что не солгали, не стали утешать и жалеть. Вы думаете, я справлюсь в деревне?

— Конечно, Маша.

Он уехал на лето в Тквиави, написал прошение ректору Тифлисской семинарии о том, чтобы ему разрешили перевод из Киева. Ректор наложил резолюцию на его прошение: «Разъяснить неудобоеисполнимость просьбы», и он вернулся в Киев.

Киев показался теперь необычайно красивым, и люди в нем, оказывается, жили такие же приветливые и открытые, как в Тифлисе, все в нем было, как родное, — и узкие, грязные улочки Подола, и приднепровские просторы, и Труханов остров с его широкими песчаными отмелями, и величественный Софийский собор, и лавки Подольской торговой площади.

Он поздоровался с хозяйкой и, оставив вещи, хотел выйти на улицу. Один из соседей по квартире, прозванный за свой богатырский рост Алешей Поповичем, остановил его.



— Вы, кажется, имели друзей в университете?

— Да.

— Полиция арестовала десять или двенадцать студентов. Говорят, у них революционный кружок был. Их прямо во время собрания схватили.

— Мои друзья в кружках не состоят, — сказал Ладю и направился к калитке. Если бы он не ездил домой, его тоже арестовали бы. Студенты не назовут его, но все же следует быть осторожным и в университете пока не показываться.

Маруся стояла у своего дома.

— Я увидела, что ты приехал, Ладюша, — тихо сказала она, — из окна. Я ждала.

Она сказала ему «ты» и назвала так ласково, как никто его не называл.

— Я боялась, что ты не застанешь меня, я завтра утром уезжаю в деревню. Ты рад?

— Да, Маша. Я знал, что ты не испугаешься. Куда ты едешь?

— В Полтаву, а оттуда — куда направят. Пойдем в сад?

Они взялись за руки и пошли в садик, весь заросший кустами сирени, возле которых буйно росли хризантемы, и сели на скамью. Больше они ничего не говорили — сидели и смотрели друг на друга, пока не стемнело.

Марусю позвала мать.

— Пойду, Ладюша, пора.

Она ушла.

Он сидел на скамье до тех пор, пока в ее окне не погас свет.

Проснулся он рано и вышел к калитке.

Вскоре из подъезда вышли Маруся, ее мать и тетка. Дворник Василий нес за ними два чемодана. 193

Проходя мимо калитки, Маруся повернулась и сказала ему глазами:

— Прощай.

— До свидания,— про себя ответил он, достал из кармана табак, свернул сигарку и закурил. Табачный дым показался горьким, он обжигал горло.

Ильяшевич

В начале двенадцатого ночи помощник инспектора Киевской духовной семинарии коллежский советник Ильяшевич вошел в спальню.

Бесшумно ступая, Ильяшевич прошел между коек, наугад наклонился, понюхал рот и нос спящего — не пахнет ли вином или табаком?

Послышалось бормотанье. Ильяшевич повернулся и стал прислушиваться.

— Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока...

На лицо семинариста падал из окна свет луны. Ильяшевич занес его фамилию в записную книжку. Ученик бредил Библией, но инспекции из года в год напоминали, что «Песнь Песней» Соломона, некоторые места из книги Притчей и книги Премудростей Иисуса, сына Сирахова при обучении священному писанию в третьем классе опускаются. Либо преподаватель Кохомский нарушает указания правления семинарии, либо ученик проявляет нездоровую любознательность.

Семинарист повернулся, обнял подушку и шепотом произнес:

— Ланиты твои под кудрями твоими...

Ильяшевич сделал пометку в записной книжке: «Лишить отпуска для свидания со знакомыми».

Побыв еще немного в спальне, Ильяшевич пошел к себе, в свою холостяцкую квартиру, расположенную в левом крыле семинарии. Рядом жили два других помощника инспектора — Шпаковский и Козловский. Ильяшевич постоял у дверей их комнат, но ничего не услышал и отпер свою дверь. Он зажег лампу, переоделся, потянулся до хруста в суставах, раздвинул в аптекарском шкафчике склянки с лекарствами, которых никогда не принимал, извлек бутылку с коньяком и налил рюмку. Спрятав коньяк, он снял очки и посмотрел на себя в стенное зеркало. Без очков он различал на лице только густые брови, большой нос и бакенбарды. Все это ему понравилось, он поднял рюмку, поклонился и сказал:

— Ваше здоровье, Гавриил Петрович.

Он выпил коньяк, прищелкнул языком и сел раскладывать пасьянс. Фу ты, очки забыл надеть! Он вздохнул. Если бы не врожденная дальновзоркость, он стал бы офицером. И сейчас еще с завистью и восхищением смотрит на мундир с эполетами и шпоры. Это наследственное, покойный отец был офицером, правда, не кавалеристом, а майором инфантерии. Впрочем, в армии служилось бы менее спокойно — всякие там маневры, команды. В семинарии размеренный, раз и навсегда расписанный по часам и минутам уклад жизни, да еще бесплатная квартира, стол.

Пасьянс получился. Хорошее занятие, располагающее к раздумьям. Благодаря пасьянсу он и создал свой график обхода наемных квартир. В пасьянсе есть система и случайность, нарушающая систему. На каждой квартире полагалось бывать не менее четырех раз в месяц. Шпаковский и Козловский не нарушали инструкции, но ходили всегда одной дорогой, в одни и те же дни. Ильяшевич вносил в систему

случайность — вдруг менял дни посещения, или шел другим путем, или обходил квартиры то рано утром, то поздно вечером. Почти всегда, подходя к какому-нибудь домику в Покровском переулке или на Кожемякской улице, он чувствовал охотничий азарт, волнение игрока — накроет ли семинаристов на чем-либо предосудительном, вытянет ли удачную карту? И даже если карта не выпадала, пережитое оставляло чувство удовлетворения. Отраду дает не столько результат, сколько сам процесс творчества. Да, что бы ни говорил вечно всем недовольный Шпаковский, а в должности инспектора много приятного. Хотя бы то, что ты по роду службы узнаешь тайные слабости людей! Обнаруживая в других низменное и скверное, становишься выше и увереннее в себе.

Пасьянс снова получил. Ильяшевич убрал карты в ящик стола, встал и подошел к окну.

Внизу чернели, наползая в оврагах друг на друга, домики Подола. Вдали лежал, словно застывший, Днепр. Справа поднимались к небу стрелы-башенки церкви Андрея Первозванного. Недавно преподаватель в присутствии отца-инспектора Анастасия и Ильяшевича спросил учеников, в чем наиболее полно может проявиться служение богу, и семинарист Кецховели ответил: «В защите обиженных и угнетенных и в создании прекрасных творений искусства, таких, например, как растреллевская церковь Андрея Первозванного. Издали она кажется ажурной, легкой, а когда подойдешь к ней поближе, дивишься ее величию». Инспектор шепнул Ильяшевичу, чтобы он обратил внимание на этого семинариста.

Спать не хотелось. Он достал из стола инструкцию об обязанностях инспекции и стал читать ее, вникая в каждое слово. Мысль о том, что инструкцию можно улучшить, пришла в голову ему на прошлой

неделе, но заняться этим кропотливым делом было все недосуг.

— Инспектор и его помощники бдительно... («Бдительно» — хорошее слово. Бдеть — значит не спать, бодрствовать, неусыпно стеречь, бдитель — человек, который наблюдает, блюдет порядок. А что если предложить переименовать инспекторов во бдителей?)... бдительно надзирают за всеми воспитанниками семинарии, как живущими в казенном общежитии, так и на частных квартирах... Инспекция особое внимание обращает на то, чтобы по возможности оградить учеников от дурного влияния на их образ жизни и нравственное настроение («По возможности» следует убрать, это лазейка для недобросовестных людей, для того же Шпаковского). Инспекция строго наблюдает, чтобы ученики не ходили в такие места, где они могут наткнуться на какие-либо соблазны, следить за сторонними посетителями учеников, за их перепиской (насчет соблазнов сказано туманно, следует перечислить все соблазны, а сторонним посетителям вообще запретить появляться. О переписке хорошо. Прелюбопытные штучки попадают в письма, ей-богу, читать письма куда интереснее, чем романы). Следить, чтобы ученики не входили ни в какие отношения с лицами заведомо сомнительной нравственности или неблагонадежными, чтобы не брали никаких книг, несоответствующих целям семинарского воспитания (что значит — «не брали»? Козловский занимается семинарской библиотекой, а в ней и Шиллер, и Мольер. В библиотеке не должно быть ничего, кроме духовной литературы. Пометим и это). Инспектор и один из его помощников поочередно наблюдают за учениками в казенном общежитии — живущими там и приходящими из квартир, другие два помощника поочередно наблю-

дают за учениками, живущими в наемных квартирах (наемные квартиры следовало бы вообще ликвидировать, там ученики безо всякого постоянного наблюдения. Кроме него, другие по-настоящему квартир не осматривают. Шпаковский постоянно манкирует. Жена его оставила, ушла с детьми, он и развинулся. Правильно сделала, что бросила. Толстый, плешивый, любимчиков себе заводит. Нашкодят они, он запишет, сообщит, а потом огорчается, что их в карцер посадили или голодным столом општрафовали. Ильяшевич вспомнил, как любимец Шпаковского, по его словам, похожий на старшего сына, пошел тайно гулять в Царский сад, и Шпак увидел его там, доложил инспектору, ученика посадили в карцер, а Шпаковский вечером плакал у себя в комнате).

Ильяшевич пожал плечами, дочитал инструкцию до конца, но из-за позднего времени уже бегло. Упущений и неточностей в инструкции было много. Но кому об этом доложить? Отцу-инспектору Анастасию? Этот молод, ему едва тридцать стукнуло, иеромонах прищурит свои красивые глаза и сухо скажет: «Не рекомендую вам подвергать сомнениям инструкцию, утвержденную святейшим Синодом». Карьерист он, этот красавец! Подхалимничает перед отцом-ректором, со вторым викарием митрополита дружбу ведет. А небось, если завтра власть имущие повелят, чтобы все стали поклоняться Магомету, Анастасий первый крест на помойку выбросит.

Как повели бы себя семинаристы, если бы им велели обратиться в мусульманство? Один, другой, ну, десятый, покорно согласились бы, а вот остальные? Пожалуй, стали бы спрашивать, для чего это нужно, и чем вера мусульманская лучше и, кто их знает, что они сделали бы... Вот тебе и инспекция, вот тебе и инструкция! Обязаны бывать при утренних и вечер-

них молитвах, и на уроках в классное время, и сопровождать на завтрак, обед, ужин, просматривать ящики в комнатах и шкафы в гардеробных... А вот как сделать, чтобы весь образ мыслей семинаристов знать, все их нутро, все их поступки наперед?

Он лег, натянул одеяло на голову и стал думать о завтрашнем дне. После завтрака он прогуляется по Крещатику, зайдет в аптеку магистра фармации Зейделя, и тот вручит своему старому клиенту бутылку «Финь-шампаня» в коробке из-под медикаментов и будет уговаривать взять коньяк за два рубля пятьдесят копеек, а Ильяшевич, как всегда, скажет: «Альберт Вильгельмович, вы же знаете, что я человек постоянный, пью только двухрублевый». Возле Думы Ильяшевич постоит у витрины магазина Хаскельмана, полюбуется на витрину, потом дойдет до Андреевского собора и там уже решит, какой дорогой сойти к улице Боричев-ток — по Андреевскому спуску или узкой крутой лестницей, ведущей к Покровскому переулку. На улице Боричев-ток, в доме госпожи Ширжерской, живут несколько семинаристов, в том числе Кецховели, за которым было рекомендовано особо присматривать. До сих пор Кецховели ни в чем особом не замечен. Хозяйка квартиры говорила, что он с соседской гимназисточкой прогуливается иногда. Переменил образ мыслей? Надо будет устроить у него форменный обыск: посмотреть и под матрацем, и в шкафах. Авось повезет, и удастся наткнуться на что-нибудь здакое, пикантное, вроде фривольных открыточек или копий с изображения нагой Магдалины...

Воины войска христово

В строгом ректорском кабинете — тишина. Ее нарушает только потрескивание дубовых поленьев в камине и хрипение высоких, стоящих у стены часов.

Ректор, архимандрит отец Иоанникий прохаживался по длинному кабинету своей странной походкой. Он делал шаг и прежде, чем сделать второй, чуть задерживал сзади ногу. Физик Шаревич однажды, как сообщили инспектору, сказал: «Вон отец-ректор по двору заикается».

Инспектор, иеромонах Анастасий, сидел на краешке кресла выпрямившись, расправив широкие, налитые плечи. На лице застыла выжидательная улыбка.

Архимандрит продолжал ходить, опустив к нагрудному кресту темную бороду. Тонкими длинными пальцами он в задумчивости словно ощупывал тело Иисуса на кресте.

Анастасий привстал.

— Сидите, сидите, — сказал Иоанникий, — что это вы? Я не генерал, а вы не солдат.

— Все мы воины войска христово, ваше высокопреподобие, — сказал Анастасий, — а мы, монахи, его гвардия.

Он засмеялся своей шутке. Иоанникий не улыбнулся.

— Давайте лучше сядем оба.

Он опустился в кресло, и Анастасий тоже сел. Темные глаза его, не мигая, смотрели на архимандрита.

«Кажется, я еще ни разу не видел, чтобы он мигал, — подумал Иоанникий, — а глаза красивые, влажные. Будто с чужого лица». Он вспомнил семинариста Кецховели, у которого вчера помощник инспек-

тора Ильяшевич обнаружил недозволенные книги и которого сегодня допрашивали поочередно Анастасий и он сам. У того тоже карие глаза, но чистые и умные. Когда Иоанникий спросил у семинариста, какой предмет его более всего интересует, глаза у юноши потеплели, и он назвал всеобщую и русскую гражданскую историю.

— Отец Анастасий, вы присутствовали на уроках Гневушева?

— Да, ваше высокопреподобие, бывал несколько раз в третьем классе.

— За литургику я спокоен, с основным и догматическим богословием все, разумеется, в порядке, священное писание читаете вы и Кохомский, но история... Вы не обращали внимания, насколько удастся Гневушеву показать руководящую роль церкви в жизни народов, значение веры в години тяжелых испытаний?

— Да, ваше высокопреподобие. Гневушев объяснял ученикам, что, например, в смутные времена русский народ смог выйти из страшных испытаний лишь благодаря непоколебимой любви к самодержавию и искренней преданности вере православной...

Он положил на край стола правую руку с искалеченными пальцами. Иоанникий старался смотреть в сторону, но все же ее видел. Анастасий рассказывал, что повредил руку еще в детстве. Большая икона сорвалась с костыля, Анастасий заметил, что она падает на голову настоятеля монастыря, хотел ее оттолкнуть, и острым углом рамы ему изувечило пальцы. Настоятель обратил внимание на сироту-послушника, стал опекать его, помог закончить семинарию и духовную академию. Преподаватель физики Шаревич уверял, что отец-инспектор носит на груди вместо крестика кусочек гнилой веревки от той иконы.

— Отмечу, что Гневушев всегда проводит параллель между историческими и современными событиями, показывает единство исторической жизни народов и разнообразие в проявлениях способностей человеческого духа, отсюда он выводит закономерность разнообразия политического быта в разных странах...

— А не возникало у учеников сомнений в том, насколько такой вывод согласуется с догматами веры? Гневушев не склонял учеников к примиренчеству по отношению к язычеству, к республиканскому строю, отрицающему монархию?

— Не склонял, ваше высокопреподобие, и при мне таких сомнений у учеников не возникало. Они уже хорошо усвоили догматы веры.

— Благодарю вас, отец Анастасий. Значит, с этой стороны нам ничто не грозит?

— Разве ожидается комиссия, ваше высокопреподобие?

— Все может случиться, отец Анастасий, после того, как у Кецховели нашли пелегальную литературу. Почему инспекция до сих пор была в неведении?

— Ильяшевич проявил бдительность, своевременно обнаружил и представил мне запрещенные издания, которые могли получить дальнейшее распространение в семинарии.

Иоанникий выпрямился и посмотрел в глаза Анастасию.

— Что вы предлагаете? — спросил Иоанникий.

— Немедля сообщить генерал-майору Новицкому, пачальнику губернского жандармского управления. Одновременно сквозной обыск по всей семинарии, — отчеканил Анастасий, — по одному, по два ученика из каждого класса посадить в карцер, на голодный стол.

Иоанникий снова вспомнил чистые глаза семинариста Кецховели. Он никого не назвал, старался представить дело так, будто никто, кроме него, о запрещенных изданиях не знал, не видел их даже, стремился принять наказание сам. Он лгал, конечно, но ложь его была чище правды, и Иоанникий, напоминая ему заповедь Христа и убеждая во всем признаться, чувствовал себя прескверно.

— Вы знаете, отец Анастасий, что я не сторонник крайних мер. Добровольный пост, умерщвление плоти угодны господу богу, наказание же голодным столом действует на желудок, а не на сердце отроков. Словом, словом надо воздействовать...

Шаревич как-то сострил, будто бы семинаристы написали на доске: «Беседа отца ректора = 2 карцера + голодный стол».

— Карцер и голодный стол, — сухо сказал Анастасий, — введены во всех семинариях по рекомендации святейшего Синода и утверждены правлением. Кроме того...

— Что, отец-инспектор?

— Дозвольте, ваше высокопреподобие, быть совершенно откровенным.

Иоанникий молча наклонил голову.

— Я не впервые убеждаюсь в том, что наши с вами взгляды на методы воспитания несколько м-м... разнятся, что бесконечно огорчает меня. Вы мой пас-тырь, но мы с вами впряжены в одно ярмо. Когда вы изволите отсутствовать, я замещаю вас, и разные требования не могут не вредить, простите, не расхо-лаживать преподавателей.

— Разве я когда-нибудь отменял ваши распоряжения, отец-инспектор?

— О нет, ваше высокопреподобие. Я, с вашего милостивого согласия, объясню свою мысль. Надеюсь, у

вас нет сомнения в том, что я искренне предан церкви?

Он положил на стол свою искалеченную руку. Иоанникий внутренне передернулся.

— Я не сомневаюсь в вашей преданности, отец-инспектор.

— Вы знаете, что я, можно сказать, с самого рождения...

Иоанникий снова кивнул. Он, как и все, знал, что Анастасия еще младенцем во время голода подбросили в монастырь.

— Тема моей магистерской диссертации была исторической, — сказал Анастасий, глядя в глаза архимандриту, — история православного русского монашества. И у меня убеждения. Я в них укрепился, работая над диссертацией. Ваши познания шире и глубже моих, но вы помилуйте меня, если я разрешу напомнить вам, что церковь наша прошла через тяжелые испытания и укреплялась не тогда, когда ей приходилось защищать себя, а тогда, когда она сама проявляла волю и действовала наступательно. Наша церковь — сейчас главная духовная сила в империи и не только оплот самодержавия, она выше — церковь совершает миропомазание на царство...

— Воистину так, — подтвердил Иоанникий.

— И мы, плоть от плоти матери нашей церкви, не можем допустить даже малейшего ослабления нашей духовной власти и силы. Мы, яко знак, выращиваем новых служителей культа, тех, кто продолжит дело, начатое отцами церкви. Вы воззрите на то, что происходит в последнее десятилетие. Вспомните Тифлисскую семинарию — убийство архимандрита Чудецкого, спустя несколько лет — бунт! Нашу семинарию пока бог миловал, но если мы не примем мер... Среди обнаруженных Ильяшевичем запрещенных из-

даний — «Летучие листки», изданные в Лондоне. Вот откуда идет зло, тлетворное влияние на умы молодежи, подрывающее веру в церковь, в идею, которую мы принесли народу, пройдя сквозь тяжелые испытания. Одно лишь можно противопоставить искушению лукавого — жестокости! Хватит либеральничать! Карцер, карцер и карцер! Сорную траву из поля вон! Всех подозрительных — в руки жандармов!

Анастасий рубанул по воздуху искалеченной рукой.

Архимандрит поднялся и заходил по кабинету, оттягивая ноги. Анастасий следил за ним глазами. Как он стал монахом, Иоанникий, которого в миру звали Никитой? Отец был генерал, братья — один товарищ министра, другой офицер Генерального штаба, мать еще жива, доживает свой век в имении где-то под Калугой. Как его занесло в лоно церкви? Профессор, языками владеет, а не понимает, что время разговоров прошло. Похожи они с митрополитом — высокие, сухие и тезки к тому же. Увидев их вместе в актовом зале на выпуске, Шаревич сказал: «Два — Иоанникий — два». Остер на язык, безбожник.

— Наказанию должно предшествовать воздействие словом, — сказал Иоанникий и снова сел в кресло. — И только ежели слово не достигло цели, можно прибегнуть к воздействию страхом. Однако вернемся к сути дела. Я тоже буду откровенен с вами, отец Анастасий. Разумеется, мой долг, не откладывая, сообщить обо всем генерал-майору Новицкому. Я лично знаком с Василием Дементьевичем. Но... он в тот же день доложит в департамент полиции. Наша с вами обязанность также сообщить святейшему Синоду о том, что жандармское управление арестовало ученика Киевской духовной семинарии Кецховели. Давайте подумаем о последствиях. Конечно, Ильяшевич

проявил бдительность, достойную поощрения. Но я не сомневаюсь в том, что святейший Синод пошлет к вам комиссию, которая начнет искать и, при желании, конечно, сумеет найти просчеты в нашей с вами работе. Вряд ли нам простят пятно на добром имени семинарии. Вы только говорили о некоторых расхождениях в наших взглядах на воспитание. Я думаю, что предугадать выводы комиссии затруднительно. Смотри по тому, кто будет в ее составе. Может быть, скажут, что я слишком мягок, но могут записать, что именно излишне жесткий режим и отсутствие гибкости со стороны инспекции привели к нежелательным результатам. Я уже стар, мне пора на покой, но вам, только начинающему восхождение к премудрости, отрицательные выводы комиссии могут изрядно повредить, что меня лично крайне огорчило бы. Но это я к слову. В первую очередь нам надлежит позаботиться о сохранении доброго имени семинарии.

Щеки у Анастасия разругались. Он встал и, помахивая рукой, заходил по кабинету.

«Как это он ухитряется ходить по ковру и так стучать каблуками?» — подумал Иоанникий.

Анастасий вернулся к столу и, не садясь, сказал:

— Преклоняюсь перед вашей мудростью, ваше высокопреподобие. Я прошу еще раз выслушать меня.

— Да вы садитесь, садитесь, отец Анастасий.

Анастасий сел.

— Я подумал следующее. Поскольку высшие цели у жандармского управления и у нас одни, но ведомства все-таки разные, и поскольку вы правы в том, что страх божий, уважение к сану пастыря могут принести лучшие плоды, чем допросы ротмистра Байкова...

— Кого, отец Анастасий?

— Ротмистра Байкова, ваше высокопреподобие. Ему поручат вести дознание.

— Вы и это знаете. Я вижу, вы поднаторели также и в мирских делах, отец Анастасий.

— Дозвольте изложить мою мысль до конца. Мы проводим все дознание сами, исключаем Кецховели и, если потребуется, других его сообщников, из семинарии и уже после этого ставим в известность жандармское управление.

— Понимаю. Жандармское управление поведет дознание против бывшего ученика семинарии, иначе говоря, против человека без определенных занятий.

— О котором,— продолжил Анастасий,— мы сообщать Синоду вовсе не должны. Это было бы нелепо. Мало ли на Руси людей без определенных занятий, где-то когда-то учившихся.

Иоанникий усмехнулся и погладил бороду.

— А вы дока, отец Анастасий, дока, как я посмотрю. Дельную мысль высказали. Василий Дементьевич, верно, недоволен будет, но...— Архимандрит развел руками.

— Не имея в виду конкретно его, ваше высокопреподобие, скажу, что нельзя допускать такой возможности, при которой жандармское управление поставит себя выше духовной власти в государстве — матери нашей церкви. Это привело бы к весьма нежелательным последствиям. Синоду не повредило бы иметь свою тайную службу, как это, говорят, заведено в Ватикане. Много у нас еще дремучести, неповоротливости исконно русской.

Иоанникий с любопытством на него посмотрел и повторил:

— Дока, дока вы, отец Анастасий.

— Я просто использовал уроки прошлого, ваше высокопреподобие. Занимаясь историей, я встретил

случаи, когда служителей культа судили гражданским судом, и это каждый раз клало пятно на церковь. А ведь можно было лишать преступников сана еще до суда.

— Но если бы суд вынес оправдательный вердикт?

— Заботясь о добром имени церкви, лучше пересолить, чем недосолить. Всегда можно извиниться и восстановить в сане. А ежели пострадавшие выказали бы недовольство или усомнились в вере, в церкви, значит, они не выдержали испытания, ниспосланного господом богом.

— Будем верить, что он избавит нас от таких испытаний,— суеверно произнес Иоанникий.— Весьма мудрое мы с вами приняли решение. А правлению я предложу обычную формулировку: исключить за недобрительное поведение.

— Выше всяких похвал, ваше высокопреподобие.

— Ну-ну, не льстите мне. Предупредите Ильяшевича и Шпаковского, чтобы все пока оставалось в тайне.

— Я могу идти, ваше высокопреподобие?

— Да. Впрочем, обождите. Шаревич подал мне эту вот челобитную.

Анастасий взял из рук ректора листок и пробежал его глазами. Гм, жалоба. Кабинет физики разорен, все разбито — и барометр, и воздушное огниво, и колокола воздушной машины, испорчен геронов шар...

— Ваше высокопреподобие, то, что излагает Шаревич, истинная правда, но средств у нас сейчас нет, придется отложить до начала будущего учебного года. Шаревич обойдется.

— Что ж, отложим,— пробормотал Иоанникий, просматривая другие бумаги.— Пригласите к себе Шаревича, ответьте ему.

Анастасий разглядел на столе приглашение к губернатору. В те дома, где бывал Иоанникий, Анастасия не приглашали. Всему свое время. Он сегодня навестит нового приятеля, владельца мыловаренного завода Яковлева, низенького розового крепыша, который уверяет, что чувствует родство душ с ним. Яковлев хлебосолен, хвастает новинками — телефоном и электрическим освещением, целует ручки дамам и, подмигивая, рекомендует им в духовники отца Анастасия.

Он не замечал, что архимандрит смотрит на него. «Улыбка какая бабья, — думал Иоанникий, — с такой физиономией только квасом торговать, а он уже магистр и инспектор семинарии. Немало их расплодилось за последние годы — таких Анастасиев, и во всех наличествует мужицкое упорство. Второй vicарий его поддерживает потому, что сам — сын крепостной девки от графа Олсуфьева. Свой свояка видит издалека. Митрополит глуп, как пробка, и оба vicария вертят им по своему усмотрению. Вот в таких руках судьба церкви. Наверху — дураки, пониже — Анастасии, которые стремятся превратить церковь в казарму. Недавно вице-губернатор жаловался: жизнь настолько усложнилась, что ею стало невозможно управлять. Всемиловитейший манифест об освобождении крестьян был поистине христианским решением, он, наконец, уравнил Россию с просвещенными странами Европы, но не укрепил ни власти самодержавной, ни веры. Самая большая трудность в том, что люди, имеющие идеалы, не знают, что делать. Главное — удержаться, не дать таким, как Анастасий, сбросить себя. Придет же время, когда церковь начнет нуждаться в умных людях!»

В камине затрещало полено, угли посыпались на ковер, Анастасий кинулся подбирать их, часть собрал

в совок, а некоторые хватал прямо левой рукой и бросал в камин.

— Обожжетесь! — сказал Иоанникий. — Это не каштаны.

— Мы привычные, отец Иоанникий. Разрешите откланяться.

— Благослови вас бог, отец Анастасий.

Высокая дубовая дверь закрылась. Иоанникий встал и прошел к камину.

«Эх, неосторожно пошутил. Все-таки мы с ним столкнувались. А в практическом уме ему не откажешь. Да, он не прост, совсем не прост. И многого нахватался. Ишь, и насчет дремучести русской высказался. Думал, что разоткровенничаюсь с ним».

Часы захрипели и громко пробили шесть раз.

Тяжелый был день. Началось с допроса... Если Кецховели ослабнет духом и назовет другие имена, неприятностей не избежать. Надо будет продолжать вести следствие самому. Впрочем, он не проговорится, этот кавказец с чистыми глазами. Он смотрел на ректора без злобы и без страха, и в глазах его была уверенность в том, что он прав. Вероятно, Кецховели — член какого-нибудь тайного общества, революционного кружка. Читать сочинения Шелгунова и «Этюды об экономическом материализме» Кареева, стихи с призывом собраться под красные знамена и строить баррикады может только человек крайних убеждений. Но расследование всего этого пусть выпадет на долю жандармов. Жаль все-таки, что невозможно поговорить с Кецховели откровенно. Насколько он приятнее отца Анастасия. К Анастасию относиться брезгливо, а беседуя с Кецховели, пожалуй, ощущаешь к нему симпатию.

Иоанникий наклонился, взял кочергу и пошевелил угли, они засветились фиолетово-алым пламенем.

Сейчас молодежь или безразлична ко всему, кроме собственной карьеры, добывания материальных благ, либо блуждает в поисках новой идеи, которая даст надежду на исправление пороков общества, и эта часть молодых людей интересуется всем — и музыкой, и литературой, и искусством. Да, сколько бы мы ни утверждали, что нашу, выстраданную в тяжелых испытаниях веру надо беречь, хранить в чистоте, заклинания не принесут плодов. Идея себя скомпрометировала, а плоды на иссохшем дереве веры опадают, не успев созреть, и гнивают под ногами прохожих, торопящихся в людское завтра. Пожалуй, ревнители казарменного режима правы: хлыст в руках Анастасиев — единственное, что может продержат еще какое-то время духовную и государственную власть. Господи, дай мне умереть, не видя, как пачнут топтать ногами обломки святого креста...

Иоанникий достал из ящика стола таблетку от изжоги и проглотил ее, не запивая.

ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛИЦИИ

13 апреля 1896 г. № 1165

Имею честь сообщить вашему превосходительству, что 9-го сего апреля ко мне прибыл г. ректор Киевской духовной семинарии архимандрит Иоанникий и, передавая мне отношение свое от 9-го сего апреля за № 731, заявил, что инспекцией семинарии был произведен осмотр квартиры воспитанника IV класса Киевской духовной семинарии Владимира Кецховели, причем в числе его вещей обнаружены были: 1) сочинение Шелгунова, т. 2, издание Павленкова; 2) «Старые и новые этюды об экономическом материализме» Н. Кареева; 3) журнал «Русская мысль». Март 1896 года; 4) «Летучие листки», издаваемые фондом

вольной русской прессы в Лондоне, 18 января 1896 года; 5) Рукопись в стихах, озаглавленная «Бездействующим заматерелым радикалам» за подписью Р. Н. Р.; 6) две рукописные тетради, озаглавленные: «Во имя чего мы боремся. Издание революционеров из педр России. 1895 года», из коих одна писана рукою Кецховели; 7) рукописная тетрадь, писанная рукою Кецховели, озаглавленная «Насущный вопрос», издание партии «Народного права». Выпуск I. 1894 года» и 8) рукописная тетрадь, озаглавленная «Дело о дочери капитана Вере Засулич, обвиняемой в покушении на убийство петербургского градоначальника генерал-адъютанта Тренова», содержащая в себе речь присяжного поверенного Александрова. При этом г. ректор семинарии сообщил, что воспитанник Кецховели, будучи опрошен инспекцией, заявил, что «Летучие листки», брошюры «Насущный вопрос» и «Во имя чего мы боремся» он получил на передвижной выставке картин в актовом зале Университета св. Владимира от неизвестного ему господина, назвавшегося Петром Алексеевичем, и что названный воспитанник Владимир Кецховели, в экстренном собрании семинарского правления по журналу от 29-го минувшего марта, утвержденному резолюцией высокопреосвященнейшего Иоанникия, митрополита Киевского и Галицкого, от 3-го сего апреля за № 1162, исключен из семинарии за неодобрительное поведение.

Так как все означенные брошюры по содержанию своему соответствуют сочинениям, предусмотренным в 251 статье уложения о наказаниях, и принимая во внимание, во-первых, то обстоятельство, что брошюра «Во имя чего мы боремся», найденная в двух экземплярах, из коих один переписан рукой Кецховели, а, во-вторых, что брошюра «Насущный вопрос» перепи-

сана также сим последним, причем оригинала сей брошюры у Кецховели не обнаружено, признано было соответственно приступить к производству по сему делу к дознанию в порядке 1035 статьи устава уголовного судопроизводства по обвинению Владимира Захарьева Кецховели в преступлении, предусмотренном 2 ч. 251 ст. улож. о нак. Названный Кецховели по существу дела признал себя виновным в том, что хранил у себя и переписывал преступные издания.

Сообщая о сем, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать сообщить мне, не имеется ли в департаменте полиции каких-либо неблагоприятных сведений о сыне священника Тифлисской губернии Владимире Захарьеве Кецховели, исключенном в 1894 году из Тифлисской духовной семинарии за неодобрительное поведение.

Задержание ректором семинарии в продолжении трех недель преступных вещественных доказательств, взятых у Кецховели, не может не отзываться неблагоприятно на ходе и результате производимых дознаний о Кецховели.

Ген.-майор Новицкий

Ай, хорошо!

После арестов студентов университета наступило недолгое затишье. Однако арестованы были не все члены кружка. Он отыскал уцелевших и убедил продолжить работу, но уже не в университете, а среди рабочих. Очень не хватало литературы, а те брошюры, которые удавалось раздобыть, не на чем было размножать. Осенью, пока было тепло, он уходил к Днепру, устроившись в кустах, писал, пока рука не отказывала, и отдыхал, лежа на

спине, разглядывая наползающие с севера облака и вспоминая Марусю.

Зимой он переписывал брошюры ночами, когда соседи по комнате спали. Потом уговорил помочь Элефтера Абесадзе. Ильяшевич нагрянул неожиданно и застал врасплох. Во время обыска в кармане была брошюра «Речь Петра Алексеева», поэтому он, на вопрос о том, кто ему дал брошюры, не нашел другого ответа, как сослаться на неизвестного, назвавшего себя Петром Алексеевичем. Ильяшевич, ошарашенный найденным, не обыскал его, и брошюра уцелела. Начались допросы. С ним беседовали Ильяшевич и Шпаковский, инспектор Анастасий и, наконец, сам Иоанникий. Отец-ректор то грозил исключением, то напоминал о боге, то увещевал позаботиться о добром имени семинарии. Одновременно он словно подсказывал, как вести себя, намекал, что молчание — золото. Оказалось, что отец-ректор боится скандала и заботится не столько о добром имени семинарии, сколько о себе.

Правление семинарии, как и следовало ожидать, исключило его. Он решил, что этим ограничатся. Вокруг него сразу образовалась пустота. Большинство семинаристов боялись даже подойти к нему — вдруг их тоже в чем-то заподозрят. А преподаватели... Физик Шаревич демонстративно пожал ему на глазах у всех руку и спросил, что он теперь собирается делать и не нужно ли ему помочь. После него встретился Белинский, высокий, видный, с гривой волос, в пенсне. Заметив Ладо, он втянул голову в плечи и прошел мимо, делая вид, что не узнает. Белинский читал русскую словесность и историю литературы, не подтверждал и не отрицал своего родства с великим критиком, отшучиваясь: «Его звали Виссарион, а меня, как вам известно, родители нарекли Ксенофонтom». Читал

он свой предмет с увлечением, знал наизусть «Мертвые души» Гоголя, а на прогулках в семинарском саду рассказывал о Шелгунове и, обнимая Ладо за плечи, говорил: «С такими, как вы, мы перевернем весь мир». За Белинского было очень стыдно. Вообще легче стыдиться за себя, чем за другого. Шаревич не уравнивал Белинского. Люди — не простые слагаемые. Если девяносто девять человек искренни и правдивы, а один подлец, это вовсе не значит, что зла в мире всего одна сотая часть, зла неизмеримо больше.

О Белинском думалось часто. Он просто струсил. Кто-то говорил, что у Белинского разбита параличом мать. Наверное, он испугался, что за близость к исключенному семинаристу его уволят и ему не на что будет кормить мать и покупать ей лекарства. Можно ли простить его, протянуть ему руку? Нет! У всех матери, у всех дети, но если ради них люди будут трусить, жизнь навсегда останется низкой и подлой.

Он предупредил членов своего кружка, чтобы с ним пока не встречались, написал домой, в Тквиави, попросил выслать денег на дорогу.

Явились за ним неожиданно. Резкий стук в дверь, и в комнату вошли пятеро: худощавый, с ногами циркулем, товарищ прокурора Неметти, ротмистр Байков — совершенно бесцветный, серолицый, здоровенный жандарм и двое понятых — дворник Василий и один из соседей. На первом же допросе от него потребовали назвать имя второго переписчика. Он ответил, что переписывал брошюры один, а другой почерк, возможно, принадлежит Петру Алексеевичу. Но Байков вскоре докопался до Элефтера. Как выяснилось, помог жандармам сам отец-ректор, он просмотрел 1500 ученических сочинений и сличил почерки. Пришлось сказать Байкову, что он принудил

Элефтера Абесадзе переписать несколько страниц. Но беднягу, как потом выяснилось, все же исключили из семинарии.

В Лукьяновской тюрьме поначалу показалось даже интересно, как бывает интересным все новое. У надзирателя была странная привычка — он сжимал и разжимал пальцы правой руки, словно по ладони бегала муха и ему хотелось ее поймать. Приведя Ладо в камеру, он спросил, хлюпая носом: — Ты кто? — В семинарии учился. — В попы готовился? На волю тебе надо чего передать? Товарищам своим? — Каким товарищам? — Тем, что с тобою были. Сообщу, что надо, записочку снесу по адресу. — Он подошел ближе, от него пахло махоркой и ржавой селедкой. — У меня денег нет. — А я так. Я с охотой, ты не думай. — Есть у меня трое товарищей. — Так давай, говори или записочку черкни. — Надзиратель торопливо достал из кармана клочок бумаги и карандаш. — Писать не буду, так запомни. Пойдешь в семинарию, спросишь Иоанникия, Анастасия и Ильяшевича. — Ну? — Скажешь — поклон от Кецховели. — Дальше, дальше. — Все. — Ага, понял. Главное, значит, чтобы от них весточка была, чтобы сообщили, что и как. — Вот, вот. — Хлюпая носом, надзиратель повторил: — Иоанникий, Анастасий, Ильяшевич... От Кецховели. Видать, духовного звания двое. Все сделаю, любезный, все будет в аккурате, голубь мой. Я еще приду, приду. — Он, пятась, вышел, запер дверь и быстро зашагал по коридору. Ладо развеселился, придвинул табурет к стенке и встал на него. За стеклом и решеткой была синяя полоска неба с облаками, ниже — стена, внизу — большой пустой двор. Он спрыгнул на пол и запел старую карталинскую песню:

Нашего хозяина дом
Из дерева построен отменно,

В нем питье и веселье,
И двери открыты настежь...

Послышались шаги, лязгнули ключи, дверь отворилась. — Поглумник проклятый! — крикнул с порога надзиратель. — Обожди, ты у меня пошуткуешь! — Вытри нос, — смеясь, посоветовал Ладо.

Спустя месяц стало невесело. К воня параша можно привыкнуть, рывканье озлобленного надзирателя лишь развлекало, прогулки в специальном дворике для политических, как ни коротки они были, придавали бодрости, привычной стала глухая тишина, в ней хорошо думалось. Но постепенно именно тишина стала давить, вызывая потребность нарушить ее, сбросить с себя, как сбрасывают тяжелое шерстяное одеяло.

Он стал придумывать, как убежать, представлял овраги, заросшие бурьяном, в которых так легко спрятаться, огороды, домишки Полтавской улицы, единственной в этой пустынной части города. В любой из лачуг охотно укроют беглеца. Но как бежать? Лукьяновка — огромное здание, построенное буквой «П». Оба крыла изолированы от главного корпуса, где содержатся уголовники, в левом — женское отделение, в правом — в одиночных камерах — политические. В коридорах — надзиратели. Вокруг тюрьмы — часовые. Одному, без помощи, из одиночки не удастся убежать.

Еще месяц спустя им незаметно овладела тюремная болезнь, облегчающая, сладостная и погибельная. Стен и решеток словно не стало больше, потребность в свободе, в людях, в движении пропала. Можно было, оказывается, лежать на койке и видеть все, что тебе хотелось, просто гулять — по лесу, по горам, вызывать из прошлого любое видение, оживлять даже то, что могло бы произойти в будущем... Он освобождался

только во время прогулки от раздвоения личности и начинал бояться за себя. Любой ценой надо было спастись от болезни, от потери воли. Помогала ненависть — к ротмистру Байкову, к товарищу прокурора Неметти, к Ильешевичу, Анастасию, Иоанникию, к дворнику Тимошкину и тюремному надзирателю, ко всем, кто действует заодно с ними, кто помогает им своим молчанием. Ненависть заставила его бегать по камере до изнеможения, делая гимнастику, поднимать сотни раз табуретку, читать вслух стихи по-русски, старательно выговаривая каждое слово, чтобы избавиться от акцента, пенависть заставила его нацарапать на стенах шаржи на Иоанникия и Неметти и только от одного он не мог заставить себя отказаться — от встреч с Марусей. Перед сном воля иногда ослабевала, и, как он ни отгонял от себя Марусю, она все равно приходила к нему в камеру, и он слышал ее голос и видел ее встревоженные глаза... Он читал ей свои стихи — они рождались легко, без мук, но почему-то не запоминались. Он не тужил об этом. Если ты можешь все, о чем думаешь, все, что чувствуешь, выразить стихами, то это, пока ты жив, бездонный колодец, из которого всегда можно черпать. И к чему тогда стихи записывать, запоминать?

Его держали в одиночке, не вызывали на допросы, разрешали иногда писать домой, но ни денег, ни писем из дому не приносили, и начинало казаться, что все забыли о нем. Он потребовал к себе следователя. Ротмистр пришел через три дня и равнодушно объявил, что его будут держать, пока не отыщут Петра Алексеевича.

— А если вы его никогда не отыщете?

Ротмистр пожал плечами:

— Вы подумайте, господин Кецховели, может, адресок его вспомните или хотя бы фамилию.

Он написал прошение начальнику жандармского управления, но ответа так и не получил.

Освободили его спустя два с половиной месяца, в конце июня, так же неожиданно, как арестовали. Привели в тюремную контору и прочитали: «По соглашению господ министров внутренних дел и юстиции, на основании пункта I статьи XIII и статьи XXIII всемилостивейшего манифеста 14 мая 1896 года...» Он не спросил, что это за манифест.

Его высылали на родину, под гласный надзор полиции. Обычно высланные под гласный надзор ехали самостоятельно, но ему дали в сопровождение полицейского — мрачную глыбу по фамилии Петров. Полицейский ехал по какому-то делу в Тифлис, и ему поручили заодно сопровождать Ладо до Горийского уезда.

— По вашей просьбе, господин Кецховели, — сказал чиновник канцелярии полицмейстера, — Петров будет производить оплату ваших расходов на питание из денег, присланных вам из дома.

В вагоне Петров занял крайнее отделение, завесил его одеялом и порывивал на любопытных пассажиров:

— Проходи! Куды прешь? Давай отседова!

Петров взял у проводника чайник, набирал на станциях кипяток и, вернувшись в вагон, доставал сало, сухари, луковицу, тяжело ворочая челюстями, ел, ненавидяще глядел на Ладо и пил незаваренный кипяток, пока пот не начинал капать со лба. Ладо жадно читал газеты и старался не обращать внимания на сопровождающего. Сбежать от него не представляло труда, но было лишено смысла. Петров, конечно, доложит по прибытии на место о том, как вел себя в дороге бывший арестант, а сразу же настораживать уездную полицию не стоит.

В газетах сообщали, что в Австрии приведена по-

вая избирательная реформа, дающая возможность господам социал-демократам попасть в парламент. Россия заключила с Китаем союз, начнется строительство Китайско-Восточной железной дороги. В Петербурге бастовали текстильщики, а в Тифлисе рабочие табачных фабрик...

Воздух, солнце, лица и голоса людей, бегущие за окном степи, речки, перелески, гудки паровозов, стук колес, вкус и запах наваристого борща, крепкого чая с лимоном, отсутствие решетки на окне — все пьянило, радовало, отодвигало тюрьму в прошлое, убеждало в том, что все тюрьмы скоро будут разрушены.

Просыпаясь по ночам, Ладо видел, как Петров сидит, положив руку на кобуру, сдвинутую к животу, и таращит глаза, борясь со сном.

Сон сморил Петрова перед Ростовом. Полицейский спал, опустив голову к коленям, и шея у него побегрела от прилива крови. Ладо встал, опрокинул Петрова на лавку, стянул с него сапоги, чуть не задохнулся от запаха сопевших ног, приоткрыл окно и снова лег. За последнее время в камере Лукьяновки он научил себя засыпать быстро. Надо было лечь на спину, сосредоточить внимание на большом пальце ноги, вообразить, что он расслабился, так же расслабить все пальцы, потом ноги до колен, до живота, руки — от пальцев до плеч, и после этого легко приходит сон.

Петров проснулся утром. Ладо уже встал и умылся. Он сидел, просматривая вчерашние газеты. Петров подскочил, поспешно нащупал кобуру, посмотрел на свои разутые ноги и начал икать — кадык так и заходил вниз и вверх. Ладо с холодной безразличностью наблюдал за ним.

— Хорошо было одному гулять на станциях, — сказал он.

Петров посмотрел на степь, окрашенную желтизной от косых лучей утреннего солнца, опустил голову, перемотал портянки, надел сапоги и с отчаянием устоялся в стенку.

Из Ростова они выехали во Владикавказ. Оттуда путь в Грузию шел Военно-Грузинской дорогой, через Крестовый перевал. Петров становился все мрачнее, а Ладю чувствовал, как у него распрямляется спина. Когда он увидел первую горную цепь, глаза затуманились от слез.

В омнибусе, ползущем по Дарьяльскому ущелью, он зашел. Петров закричал. Ладю увидел перекошенное от страха лицо. Петров не сводил глаз с пропасти, над которой извивалась дорога. Ладю счастливо рассмеялся.

— Год, кажись, високосный, — пробормотал Петров, — как бы беды не было.

На перевале у омнибуса отлетело колесо. Они долго застряли, и Ладю поговорил с чабаном. Петров стоял рядом, прислушиваясь к незнакомой речи.

В Тифлис приехали днем. Ладю заявил, что хочет пройтись по городу. Петров покорно сказал:

— Как угодно будет!

— Мразь ты! — сказал Ладю. — Боишься, что расскажу начальству, как ты спал? Разве тебе наказывали не спать ночами? Я ведь не арестант. Доедем до базара, там бани, помоемся.

Они вышли из омнибуса на подъеме, возле ночлежного приюта, и город обволок их своими запахами. От ночлежки пахло сыростью и кислыми щами, из большого серого здания Военно-окружного суда несло расплавленным сургучом, из Ольгинского повивального института — медикаментами, от водочного завода Сараджева во все стороны струился сладковатый запах спирта.

Ладо шел широко, позади стучали подкованные сапоги Петрова. Возле аптеки Земмеля сели в вагон конки. Вдоль вагончика с обеих сторон были длинные ступеньки, по которым, продавая билеты, перебирался кондуктор. На спуске кондуктор соскакивал и подкладывал под колеса клинья, чтобы вагон не накапывался на лошадей: тормоз, видно, действовал плохо. Кучер натягивал вожжи, лошади оседали и храпели.

По Верийскому мосту конка проезжала, не останавливаясь, будочники брали плату за проезд только с фазтонов и других экипажей.

Они проехали мимо кирхи, свернули на Михайловский проспект и, миновав сад Муштайда, добрались до железнодорожного вокзала.

— Пойдем узнаем, когда поезд на Гори, — сказал Ладо.

Вокзальная площадь их оглушила. Кучера фазтонов и дрожек зазывали к себе. Возле дородного пассажира, вышедшего с перрона с двумя носильщиками, прыгали муши¹ и уговаривали не брать дрожек — до Елисаветинской улицы рукой подать, и они куда дешевле донесут его багаж. Кучера с руганью замахивались на них кнутами. Звенели вагоны конки. Бежали с кувшинами мальчишки.

— Вада, вада, халодный вада!

Чистильщики сапог барабанили по своим ящикам щетками.

— Чистим, блистим, ваксой мажем, щеткой глажем.

Из духанов пахло жареной бараниной и луком. Дворники собирали в совки конский навоз и ругали фазтоны и конку. Свистел на бегу тучный усатый полицейский, а перед ним, юля среди прохожих, показывал пятки мальчишка-карманник, и весь люд — и

¹ Муша — рабочий, в данном случае, переносчик багажа.

кучера, и муши, и прохожие гоготали, кричали и уступали дорогу карманнику. Говорили, кричали, ругались по-грузински, по-русски, по-армянски, по-турецки, по-персидски и по-курдски.

— Ай, хорошо! — сказал Ладо, остановившись среди площади и забыв, что за ним все еще ходит полицейский.

Ладо посмотрел расписание, и они снова сели в вагончик конки. Мелькали аккуратные домики железнодорожников с садиками, потом пошли вперемежку дома добротные, европейские и немецкие — с высокими крышами и узкими окошками.

Рельсы свернули на Песковскую, где стояли русские бревенчатые срубы, а за ними — дома азиатские, с плоскими крышами. Петров, насупившись, смотрел вперед, на отмель, покрытую шатрами, возле которых были привязаны верблюды.

Слева на скалистом берегу Куры возвышалась Метехская тюрьма.

Лошади перевезли вагон через узкий мостик.

— Приехали.

Ладо спрыгнул на мостовую, любовался синей узорчатой мечетью, перед которой сидели длиннобродые старики с янтарными четками в руках, посмотрел, как рыбаки на Куре бросают сети-накидки, и кивнул Петрову.

— Пошли!

Это был Майдан — торговая площадь.

Ладо шел, проталкиваясь через толпу. В узкой улочке, ведущей к базару, с обеих сторон тянулись лавки с галантерейными товарами, с персидскими коврами, с фруктами и овощами, на прилавках и полках в лотках лежали сливы, охапки трав, молодой картофель, морковь, свекла, огурцы, помидоры. Продавцы кричали:

- Пах, пах, памидор!
- Дешев, дешев персик!

В кузнице тяжело дышали мехи, звенели молоты. Из духанов несло пение, визг шарманки.

Ладо сталкивался с прохожими, кто-то толкал его в спину, и на кого-то он напирал сам. Мелькали рыжеватые шапки и рыжие бороды, московские картузы, из-под которых по-армянски печально глядели черные глаза,— и Ладо слился с толпой, разноязыкий говор которой звал в духан — разгрызать бараньи кости и вливать в рот из кувшина густое красное мукузани, плакать и петь песни.

Наперерез со скрипом двигалась арба, которую тащили четыре буйвола. На ярме сидел мальчишка, колотя буйвола по бокам и по морде гибким прутом орешника. А на арбе лежал сделанный из шкуры буйвола огромный бурдюк с вином. Ладо остановился. Петров задышал ему в затылок. Из переулка выехал экипаж, в котором, развалясь и выставив ногу в лакированном сапоге со шпорой, сидел смуглый жандармский офицер. Темные глаза офицера остановились на Ладо, и Ладо показал жандарму кукиш. Экипаж зацепился колесом за арбу. Мальчишка хлестнул прутом лошадь. Кучер кнутом огрел мальчишку. Поднялся галдеж. На толпу напирали верблюды, вышедшие из другой улицы. Офицер крикнул Петрову:

- Эй, чего глазеешь, наведи порядок!

Ладо растолкал людей и пошел дальше, Петров, тяжело дыша, догнал его, а офицер что-то кричал ему вслед.

Под мостом шумела на камнях речка. Пахло серой, мылом, нечистотами. Внизу женщины в ярких пестрых юбках мыли в речке ковры, терли их щетками, колотили валками и громко переговаривались.

Ладо посмотрел на нарядные бани Ираклия, на бани Бебутова, Сумбатова, на серые купола, торчащие из земли наподобие макушек муравейников,— из каждого поднимались влажные испарения, и почувствовал, как кожа у него зудит от дорожной пыли и пота.

Они дошли до бани, Петров по знаку Ладо заплатил за номер и за терщика, и они вошли в номер из двух комнат, отделанных белым мрамором. Когда разделись, появился кривоногий смуглый терщик в халате. Он снял халат и остался в повязке на жилистых бедрах.

— А он кто?— спросил Петров.— Он для чего?

— Мыть буду тебя, ваше благородие,— ответил терщик.— Приезжие? Откуда?

— Из Киева,— сказал Ладо.

Он перешел в банную комнату, встал под душ, обмылся и погрузился в бассейн, полный горячей — даже в озноб бросало — серной воды.

Терщик вошел за ним.

— Ты грузин, князь?

— Грузин, но не князь.

— Тот ишак замок в двери все проверяет.

— Пусть проверяет,— сказал Ладо.

— Где ты нашел такого гостя?

— Он не гость. Еду из тюрьмы домой, а он сопровождает.

— Грабил? Или воровал?

— Политический.

— Уважаю,— сказал терщик,— ты совсем молодой. Очень уважаю.

Вошел Петров — большой, белый, с обвисшими, как у старой бабы, жирными грудями и оплывшим животом, перепоясанный по голому телу ремнем с кобурой.

— Вах, какой красивый!— терщик причмокнул и подмигнул Ладю.— Ты, ваше благородие, сперва под душ, потом в бассейн давай. Не боишься, что револьвер промокнет? Как стрелять будешь?

Петров снял пояс, повесил на крап, взял мыло и, постояв под душем, начал намыливать голову.

— Тоже мне, баця,— ворчал он,— парной нету, а вонь, как в нужнике. Сам вымоюсь.

— На Песковской парная есть,— сказал терщик,— чего гуда не пошел?

Ладю лег на каменную лежанку, терщик вытянул ему в суставах руки и ноги, влез на спину, промял пятками позвоночник, слез и стал цепкими сильными пальцами массировать мускулы. Ладю закрыл глаза, ощущая блаженную истому, покой и облегчение.

— Меня Гасан зовут,— вполголоса сказал терщик.— А тебя?

— Кецховели. Ладю.

Гасан натянул на руку шерстяную перчатку и принялся растирать спину, плечи и грудь Ладю. Из-под перчатки сползали тоненькие катышки. Закончив растирание, Гасан облил Ладю водой из ведра, намылил мокрый мешок, взмахнул им, мешок раздулся, и, проведя по мешку пальцами, вывалил на Ладю обильную пушистую пену. Растирая его, он шепнул по-грузински:

— Хочешь, удушим? Ночью в Куру сброшу, никто не найдет.

Перед глазами Ладю пятнами поплыли лица Анастасия, Иоанникия, Ильяшевича, жандармского следователя, тюремных надзирателей, он услышал гул базара, гортанные крики, шлепанье валков на берегу, звонкие удары молотов в кузницах, лязг дверного замка тюремной камеры, ощутил запах плова, шашлыка, почувствовал плечи людей, которые толкали

его в сутолоке Майдана, и посмотрел на Петрова — он стоял под струями воды... Да, удушим!

Гасан приподнял его, ловко и быстро намылил голову и снова шепнул в самое ухо:

— Что молчишь? Удушить его?

Не расслышал терщик или Ладо ничего не сказал вслух?

— Нет, Гасан. Его время еще не пришло.

— Тебе лучше знать. Надо будет — отыщи меня. Здесь все Гасана знают.

— Запомню. Понадобится, приду.

— Отдыхай! — Гасан опрокинул на него ведро с водой, шлепнул ладонью по спине и спросил: — Так эту свинью не мыть?

— Раз не хочет...

Ладо лег на лежанку. Гасан сложил в ведро перчатку, мешок, мыло, выжал из бороды влагу и сказал:

— Не обижай, не проси, чтобы деньги взял. Это мое к тебе уважение. Тебя хочу пригласить в духан, его не хочу. Как быть?

— Спасибо, Гасан, в другой раз, когда я без него буду.

— Ладно. Будь здоров.

Гасан ушел. Петров схватил пояс с кобурой и выскочил в предбанник. Ладо вышел за ним, стал натягивать нательную рубаху.

Подняв голову, он увидел, что Петров уже одет и снова смотрит на него с ненавистью и ожесточением. Разговор с Гасаном Петров понять не мог, может, почувствовал угрозу или просто ожил после бани?

Они вышли на улицу, снова прошли шумным Майданом, узкими, звенящими улочками, и Ладо с привычным удовлетворением смотрел на руки кузнецов, медников, кожевников и представлял себе, как вместо молота, паяльника и скребка они будут

держат книжалы, шашки, револьверы и винтовки, как цепкие пальцы Гасапа сдавят горло Петрова, как выбросят из фазтона жапдармского офицера, как оборванные люди ворвутся в особняки купцов и заводчиков и как ликующая толпа пойдет по Головинскому проспекту... Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!..

От автора.

Много лет спустя

В Гори Варлама не оказалось. Дом был закрыт. Я поехал в Тквиави. Ни в домике, ни в землянке Варлама не было. Походив по саду, я увидел его. Он сидел на камне, в парусиновых брюках и в старой куртке, забрызганной медным купоросом. Улыбнувшись, махнул мне рукой. Я подошел и увидел, что у ног его стоит на земле опрыскиватель.

Мы поздоровались.

— Садись рядом, отдохни.

— Я не устал. А где Машо?— спросил я, устраиваясь на другом камне.

— Ходит по домам, делает прививки от холеры. Я тебе очень срочно нужен?

— Не очень. Я хочу, чтобы вы показали мне старый Тифлис.

— Что-то ты слишком уж привык на все старое смотреть моими глазами. Двинемся, если можно, через несколько дней, мне надо закончить опрыскивание виноградника.

— Это ваш или колхозный?

— Хо-хо,— рассмеялся он,— хочешь заполнить на меня анкету? Откуда у меня участок, работаю ли я в виноградарской бригаде, сколько получаю на тру-

додни? Боишься, что кто-нибудь спросит тебя, на какие средства я живу?

— Ехидный вы старик.

— Какой есть. Я пенсионер, заслуженный пенсионер, имею законное право на приусадебный участок.

— Ладно вам,— сказал я,— что вы придираетесь к слову? Лучше скажите, знали вы Марусю?

— Гимназистку, соседку Ладю по Киеву?

Я кивнул.

— Был знаком.— Он посмотрел на меня.— Рассказать?

— Конечно.

— Видел ее несколько раз. На концерт вместе ходили, как-то втроем сидели, болтали в ее саду. Сирень там росла буйно. Маруся больше других цветов любила сирень и хризантемы. Ладю тоже хризантемы нравились. Шли мы раз по улице. Она увидела в палисаднике хризантемы.— Отвернитесь, господа кавалеры, у меня узкая юбка, а мне надо перелезть через эту ограду.— Ладю, конечно, перемахнул в палисадник, стал срывать самые крупные хризантемы. А она мне:— Лезьте вы тоже, если кто-нибудь покажется, я чихну.— Отказаться было неловко. Только я перелез через ограду в палисадник, она:— Ап-чхи!— Я толкаю Ладю:— Скорее, идут!— Мы обратно, я зацепился за штaketник, чуть брюки не порвал, а она хохочет на всю улицу:— Я не потому! Никого нет, я на самом деле чихнула.— Веселая была девушка, но язык у нее без костей. В тот же вечер, когда мы шли с концерта, она показала на дом фабриканта Яковлева, там была кариатида, скульптура Атласа, держащего на плечах небо, фыркнула и сказала:— Этот Антей — вылитый Варлам.— Ладю, стесняясь, поправил ее:— Маша, это не Антей, а

Атлас.— Все равно похож.— И пошло: с того дня иначе меня не называла, как господин Атлас.

— Неужели вы обиделись? По-моему, очень метко сказано. Антей вам, больше, конечно, подходит.

— Если ты будешь одобрять все остроты по моему адресу, не стану тебе ничего рассказывать.

— Почему он не открылся ей? Может быть, и она стала бы революционеркой.

— Ладо не хотел перекладывать свой груз на плечи близких людей. Подумай и о другом. Ладо знал участь революционера — это почти неизбежно тюрьма, каторга.— Варлам покачал головой.— Нет, Ладо не мог направить на такой путь совсем еще юную девушку. Достаточно уже того, что она стала сельской учительницей. Жаль, что о ней ничего не известно. Они больше не увиделись. Она ведь уехала в Полтавскую губернию.

— В село Тепловку. А шестьдесят лет спустя Маруся, впервые с того дня, как они попрощались, узнала о Ладо. Она увидела на том доме, где он жил, мемориальную доску и узнала, что он был революционером. Потом она увидела табличку: «Улица Ладо Кецховели».

— Узнал бы я Марусю сейчас?— пробормотал Варлам.— Она сильно изменилась?

— Я не успел ее повидать. Когда я приехал в Киев, было уже поздно, она умерла. И, насколько мне известно, совсем одинокой.

Варлам долго сидел, задумавшись.

— Пойду поработаю еще,— сказал он и встал.— Ты не голоден?

— Вы всегда об этом спрашиваете.

Я застегнул на нем ремень опрыскивателя.

— Спрашиваю, потому что ты с дороги. А вообще я всегда терпеть не мог болтунов, которые с

амвона призывали других людей к умерщвлению плоти и отказу от благ жизни, обещая им за это блаженство в будущем раю или райскую жизнь для их внуков. Такие призывы — обычно величайшее ханжество! Проповедники, сойдя с амвона, идут вкусно и обильно обедать, не отказываясь от шашлыка в пользу будущих внуков человечества.

Он пошел, прикрыв рот и нос платком, в виноградник, и серебристое облачко раствора купороса покрыло зеленую лозу. «Какой он большой, высокий», — подумал я, любуясь Варламом, его широкими плечами. Несмотря на тяжелый опрыскиватель, он держался прямо, шагал легко. Пройдя один ряд, перешел в другой и двигался теперь на меня. Лучи солнца пробивали влажное облачко раствора и образовывали вокруг головы и плеч Варлама сияющее зеленое полукружье.

— Вы зеленый, как виноградные листья! — сказал я, когда он приблизился.

Он остановился и бросил на меня озорной взгляд из-под зеленовато-серебристых бровей.

— Иногда мне кажется, что я родной брат виноградной лозы. Не сиди без дела, наруби дров и разожги огонь. Скоро придет Машо.

Машо улыбнулась, увидев меня, и принялась готовить ужин. Я снова обратил внимание на ее спокойную уверенность.

— Машо, — спросил я, — вы когда-нибудь волнуетесь?

На ясном лбу ее появилась морщинка, тоненькая, как тень от нитки.

— Я не поняла...

— Бывает, чтобы вы не знали, как поступить, колебались, были в плохом настроении?

— Не знаю... Нет, пожалуй, нет. Это плохо? 231

— Нет. Но неужели вы ни из-за чего не беспокоитесь, ничего вас не огорчает?

— Почему же, я беспокоюсь за своих больных, вообще не люблю, когда люди болеют. Но ведь жизнь — это жизнь, правда?

— Да, конечно, — сказал я. — Вы очень напоминаете Варлама.

— Я рада, что похожа на него.

Варлам закончил работу, умылся и переоделся. Мы поужинали. Машо вымыла посуду и заспешила на автобус — она возвращалась в Горп.

— Сколько лет Машо? — спросил я. — Замуж она не собирается?

Варлам пожал плечами.

— Ждет, как и всякая девушка, когда появится тот, кто ей предназначен. Я в ней уверен. Сердце ее не ошибется. Могу даже сказать, каким он будет.

— Каким?

— Очень сильным тут — Варлам согнул руку в локте и показал на свой бицепс, — и тут — он постучал себя пальцем по лбу, — и очень добрым.

— Каждая девушка мечтает о таком, — сказал я, — а еще более каждый дедушка для своей внучки.

— Поддразнивать меня — зряшное дело. Я знаю Машо и могу добавить, что если ей не встретится такой, она полюбит самого несчастного, обиженного судьбой человека.

Понимая несуразность своего вопроса, я все же спросил:

— Допустим, что она ждет, ждет, а он все не появляется. Когда определится, что у нее уже нет надежды встретить его?

— Не знаю, это таинство. Что-то вдруг созреет и, как почка, лопнет, и раскроется одновременно во всем мире и в ней.

Мы помолчали, прислушиваясь к стрекоту цикад. Варлам вздохнул.

— Да-а, так и не встретились Маруся и Ладос в повое, светлом мире... А что ты хочешь увидеть в старом Тифлисе, сынок?

— Я хочу посмотреть на Тифлис последних лет прошлого века. Ладос ведь перебрался туда в 1897 году?

— Да. Ладно, посмотрим старый Тифлис. А Джава тебя интересует?

— Разве вы бывали там в те годы?

— Конечно, ездил к Ладосу в гости. И не раз.

Тквиави находится у самой границы с южной Осетией, в десятке километров от города Цхинвали, а нынешнее курортное местечко Джава, расположенное в ущелье за Цхинвали, было при жизни Ладоса маленьким горным селением. Я бывал в Джаве, но немного смог узнать о Ладосе, и мне в голову не пришло спросить о Джаве у Варлама.

— Вы для меня прямо клад, — сказал я. — Но разве в это время вы были не в Киеве?

— Меня зимой того года выгнали. Я дал пощечину профессору, который оскорбил моего товарища, еврея. Так рассказать про Джаву?

— Да.

— Над Ладосом, как тебе известно, был установлен гласный надзор, то есть он должен был раз в месяц являться в соседнее село к приставу — я, мол, нигде не исчез. По-моему, гласный надзор приятнее негласного. Иди угадай, кто за тобой следит, выясняет, с кем ты видишься, подслушивает, о чем ты говоришь. Ладос много читал, собирал крестьян в укромных уголках. После тюрьмы он стал каким-то неистовым, твердил одно: вооруженное восстание — единственное, что может сделать людей свободными. Ладос начал работать

писарем в Джаве, в канцелярии сельского старшины и лавочника Санакоева. Это устраивало всех — пристав считал, что Ладо будет под надежным присмотром, Захарий был доволен, что сын работает, получает жалование, Санакоев обрадовался грамотному помощнику, а сам Ладо получил возможность вести работу с горцами-осетинами. В Джаве была старая церковь. Возле нее — канцелярия. А через речку — дом Санакоева, в первом этаже — лавка. Санакоев был славный дядька, они даже породнились с Ладо. Ладо крестил его дочку Ольгу. Она, по-моему, живет сейчас в Тбилиси... Приехал я как-то к Ладо, а Санакоев в тот день уехал и поручил лавку Ладо. Лихо он наторговал! Пришел крестьянин — оборванный, боязливый, с палкой в руке. Заглянул в лавку. Видел, ты, каким взглядом осматривает товары в универмаге человек без денег? Так и тот крестьянин: пошарил он глазами по полкам и даже без вздоха — к выходу. Ладо ему: — Обожди, обожди! Что тебе больше всего нужно? — Бязи хотелось бы, только... — Ладо взял у него палку, рулон бязи — на прилавок и отмерил палкой, будто аршином, изрядный отрез. — Возьми. Запомни, что я десять раз отмерил. Деньги будут, придешь с этой палкой к Санакоеву. Понял? — Понял, господин, понял, дай бог тебе долгих лет жизни! — Ушел, кланяясь. Я спросил у Ладо: — А если у него не будет денег? — Санакоев не разорится, — ответил.

— Глушь там была непроходимая. Что такое врач, и не слышали. Я хотел осмотреть больных детей, а они их спрятали, боялись показать. Одно они твердо усвоили — без взятки, без подношения к начальству не суйся. Как-то припшелся из дальней деревушки крестьянин за справкой. Ладо в два счета выправил документ. Крестьянин кланялся, кланялся, потом втащил в канцелярию овцу. Ладо погнал его

вместе с овцой в три шен. Крестьянин перепугался.— Господин, бедняк я, всего пять овец у меня.— Ладо его за дверь, он чуть не плачет и все пытается оставить овцу. Ладо схватил овцу и огрел ею бестолкового крестьянина.— Чтоб ты не смел взятки предлагать! Вон отсюда!— Выскочил крестьянин за дверь, сел со своей овцой у церкви и долго сидел там, все никак прийти в себя не мог, потом поднялся и заковылял домой. Овца побежала за ним, как собачонка... Я не узнавал Ладо, прежнее спокойствие он словно растерял, легко взрывался и даже кричал иногда, что на него совсем уж не похоже.

— И дома?

— Дома тоже. Примерно в то время и был срублен тополь.

— Какой тополь?

— Я же тебе рассказывал. Священный тополь, что рос возле их землянки. Нико и Маро решили обвенчаться. Ладо обрадовался, расцеловал обоих и позвал отца.— Поп,— сказал он,— передай свои полномочия Нико. Отныне глава семьи он, и мы все будем признавать только его!— Захарий посмотрел на Ладо, ничего не ответил и ушел в землянку.

Ладо заявил, что надо срубить священный тополь, распилить на доски и построить новый дом. Ты знаешь, как в наших деревнях строят дома — собираются соседи, и близкие, и дальние, и сообща берутся за дело. Созвал Ладо крестьян. Узнав, что надо срубить священное дерево, те уперлись.— Не будем! Беду пакликаем! Гроном поразит, если тронем.— Ладо принес топор, позвал отца и громко сказал:— Поп, ты знаешь, что это дерево не священное. Возьми топор и ударь первым.— Захарий попятился. Ладо, видел бы ты его,— скулы, как булыжники, зрачки с булавоочную головку — крикнул:— Отец!— Я даже вздрогнул

от его голоса. У Захария затряслась борода. Все молчат, ждут, что будет. Захарий подошел к тополю, перекрестился и взмахнул топором. Женщины вскрикнули. Некоторые бросились бежать. Топор вопился в дерево так глубоко, что Захарий с трудом его вытащил.— Теперь Нико,— распорядился Ладо. Крестьяне осмелели, подошли ближе. После Нико за топор взялся Ладо, и тогда один из крестьян сказал ему:— Дай-ка теперь я, сынок.— Строили дом медленно, и он так и остался недостроенным. В 1904 году умер Захарий, потом начались волнения 1905 года, и с домом перестали возиться. В 1918 году убили Сандро, а в 1920 скончался от тифа Георгий. Вскоре умер и Нико. Вано жил в Тбилиси, он, как ты знаешь, умер в 1951 году. Дети Нико тоже разъехались. Остался в доме только один из его сыновей — Леван. Колхоз построил для него новый дом, а в старом открылся музей.

Мы долго сидели в задумчивости.

— Спасибо вам,— сказал я.— После того, как я вас послушаю, мне многое становится яснее.

— Мне и самому,— отозвался Варлам,— теперь, спустя столько лет, жизнь Ладо представляется полнее. Говорят же, что издали все лучше видно.

Мы поговорили еще немного и легли спать.

Я не мог заснуть.

Старая землянка жила странной ночной жизнью. Громко тикали карманные часы Варлама. Пробежала, тарабаня лапками, мышь. За ней, с писком, другая. Где-то треснула доска. В щелях посвистывало от ветра. Шуршала на столе газета. Мне показалось, что по комнате кто-то ходит. Я поднял голову — нет, никого, показалось, конечно. Закрыв глаза, и снова почудились чьи-то шаги. Может, это Ильяшевич? Подойдет, склонится надо мной и запишет,

что от меня пахнет вином и табаком. Потом заметит рукопись, прочтет о себе, об Анастасии, Иоанникии, Петрове, узнает все о Ладое и побежит докладывать. А может, пришел с обыском ротмистр Лавров? Надо спрятать от него рукопись, иначе она попадет в руки Луничя.

А. КЕЦХОВЕЛИ

Метехская тюрьма. 21 октября 1902 г.

Брат Сандро!

Я знаю, что тебе не очень приятно теперешнее мое положение. Еще бы! Что хорошего в пребывании в тюрьме? Но, признаться, и на свободе я не был особенно счастлив. Моя жизнь давно — на шаткой основе. У меня не было выхода. Нужно было выбирать одно из двух: или навсегда оторваться от привычных, любимых мест, или же продолжать, сколько возможно, мытарствоваться, волноваться, часто голодать и оставаться бездомным, только бы быть ближе к тому, что я считал святым, любимым делом. Судьба или случай сохранили меня до сегодняшнего дня, а затем изменили, бросив в руки тех, от кого я бежал. Боль и горечь всегда сопутствуют человеку, в каких бы условиях он ни находился. И здесь, конечно, не будет недостатка ни в том, ни в другом, но если поразмыслить, особенно отчаиваться и горевать нечего: случилось то, что обязательно должно было случиться. Со стороны горе и нужда близкого человека, как всегда, кажутся преувеличенными. Поверь мне, что человек со всем мирится и все переживает. Так или иначе, прошу верить, что я неплохо себя чувствую и если бы знал, что и мои близкие

так же горюют обо мне (а не больше), как и я, тогда я чувствовал бы себя в тысячу раз лучше. Короче говоря, вот мое положение: второго сентября меня арестовали в Баку. Сначала мое дело хотели расследовать там, и я находился в тамошней тюрьме, затем предпочли Тифлис и перевели меня сюда. Я не могу точно представить себе, каковы будут последствия этого дела в отношении меня, многое зависит от следствия, которое, кто знает, когда закончится! Вообще же я думаю, меня сильно прижмут и надолго упекут отсюда. «Но все равно,— скажут,— он был негоден, черт с ним, если погибнет!.. И здесь никому не принес пользы, издалека же тем более».

В этой тюрьме, я думаю, пробуду долго и считаю, что наши свиданья возможны. Если тебе часто случается бывать в Гори и, конечно, если у тебя есть свободное время, можно устроить так: утром приедешь, после полудня повидаешься со мной, а вечером опять возвратишься в Гори.

Только вначале это не так легко будет сделать, так как необходимо взять разрешение у жандармов... Возможно, что и вовсе не дадут разрешения, от них и этого можно ожидать... Написал письмо Нико, если увидишь, попроси написать мне несколько слов... Если сумеешь приехать, может быть, доставишь мне какие-либо книги, например, Шекспира на русском или на грузинском языке. Книги передашь жандармам, но чтобы в них не было никаких помарок и надписей. Они мне передадут. Журналы и газеты передавать нельзя, все остальное можно. Я тебе все это поручаю, но кто знает, в каком ты положении?..

Прошу извинить меня, если своим поведением я кому-либо причинил горе и неприятности, прошу не обращать внимания на мое положение...

Твой Ладо Кецховели.

Р. С. Прошу... прислать одну или две простыни, синюю блузу, брюки, чулки и, если это будет нетрудно, легкое одеяло... Если бы я был уверен, что рано или поздно выйду отсюда, не беспокоил бы, но чувствую, что отсюда мне придется ехать прямо в Сибирь, и считаю, что надо теперь же готовиться. Во всяком случае ни одна моя просьба к вам не является обязательной... Очень прошу книги и за них заранее благодарен. Вот коротко список, по возможности доставь их:

1) Шекспир (все произведения на русском языке),
2) Гёте — «Фауст» (траг., дешев. изд.), 3) Гейне (стихотворения, если не дорого!), 4) Самоучитель пемецкого языка по методу Тусена (кажется, стоит 3 руб., если его не будет, французский или английский), 5) Стихи Н. Бараташвили. Одним словом, что сумеешь... Будь счастлив...

Л. К.

Бог благословит

Над карталинской долиной стояла жара. Собаки, спасаясь от пекла, заползали под дома.

Духота держалась в Тквиави и ночью. В доме Кецховели спали плохо. Тяжело дышала Маро, дети что-то говорили во сне. Нико ворочался с боку на бок. Датики Деметрашвили лежал на балконе. Он спросил:

— Нико, спишь?

— Нет.

— Жарко. Прямо, как на сковороде лежишь. Думал, в деревне прохладнее будет.

— Жалеешь, что приехал?

Датико понял по голосу Нико, что тот улыбается.

— Нет, не жалею. Ладо мне здесь у вас не хватает. Когда он в последний раз приезжал?

— Я же говорил прошлым летом. Всего на часок заскочил. Оставил тетради со своими рисунками. Шаржи очень забавные и автопортреты. На одном, как в детстве, он нарисовал себя в терновом венце. Завтра покажу. Он уехал, а через день ротмистр Лавров пожаловал.

Послышался далекий топот копыт на горийской дороге.

— Кто-то едет,— сказал Датико.

— Слышу. Неужели опять жандармы?

Топот приближался.

На краю села залаяли собаки.

— По-моему, едут сюда. Лежи, я встречу.

Датико поднялся, быстро оделся и спустился с балкона. Под лестницей зарычала овчарка. К дому подъезжал фазтон. На облучке никого не было. В глубине фазтона сидел человек. Он бросил вожжи и прыгнул на землю. Овчарка завиляла хвостом.

— Кто это?— спросил приезжий, вытянув шею и вглядываясь в Датико.

— Сандро? Почему ты в такой час?

На балконе вышел Нико, зажег керосиновую лампу и поднял ее над головой.

— Что это за жандармская привычка по ночам ездить?

— Днем некогда было. Письмо от Ладо получил, он арестован, в Метехи.

Они поднялись по лестнице. Сандро вытер платком глаза, лоб, щеки, и платок почернел.

— Где его арестовали?— спросил Нико.

— В Баку.

— В конце концов это должно было случиться,— спокойно произнес Нико.

— Да ты что, не понимаешь,— взорвался Сандро,— ведь живым они его не выпустят!

— В тюрьме он в безопасности,— сказал Дати-ко.— Будет суд, самое худшее — в Сибирь отправят. В чем его обвиняют?

— Не знаю.— Сандро протянул брату письмо Ладю.— Надо, пока не поздно, повидаться с ним, может быть, нанять адвоката.

В дверях появилась заспанная Маро. Нико объяснил ей, что произошло. Маро сжала ладонями голову.

— Где отец?— спросил Сандро.— Надо, чтобы он поехал с нами в Тифлис, он священник, ему могут пойти навстречу.

— Отец в Карби,— сказал Нико,— у Апаты. Ты голоден?

— Нет, нет. Воды бы только выпил.

— Маро, принеси воды,— попросил Нико,— Сандро, я съезжу за отцом в твоём фээтоне.

— Да, конечно.

Сандро жадно выпил стакан воды, второй, третий, присел на тахту рядом с Датику, обнял его за плечи.

— Приготовь передачу для Ладю, все, что он просит, и нам поест в дорогу,— сказал жене Нико, спустился с балкона и взобрался в фээтон.

Лошадь не хотела ехать быстро, и фээтон еле-еле потащился по проселочной дороге.

«Надо же было, чтобы отец вечером уехал в Карби»,— подумал Нико.

В воскресенье с утра отец ушел мотыжить кукурузу. Когда припекло солнце, Нико забеспокоился, не стало бы отцу худо, и пошел в поле. Захария там не оказалось. Нико вспомнил, что отец должен был отпеть покойника, и повернул обратно. За церковью, на кладбище, чернела свежеврытая могила.

Нико вошел в церковь. Посреди возвышался гроб. В белых пальцах покойника горела свеча. Полукругом стояли, тоже со свечами в руках, родственники умершего. Нико после семинарии ни разу не был в церкви. Впрочем, был — когда венчался. Но как служит службу отец, он не слышал с детства. Захарий тотчас заметил сына, взглядом спросил его: «Чего тебе?» — и продолжал читать молитву, помахивая дароносицей.

— Истинно, истинно говорю вам, слушайте слово мое, и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос сына божия и, услышавши, оживут...

В церковь забрела слепая старуха Даре. Она подошла к гробу и, вытянув руки, притронулась к лицу покойника.

— Уберите ее! — буркнул, прервав молитву, Захарий.

Ее вывели, и она громко заплакала.

Пахло ладаном, запах которого нравился Нико, потому что был похож на запах соснового леса. Сосна не росла в Горийском уезде, и в сосновом бору он был только раз, когда ездил в Боржомское ущелье и поднялся в деревню Кечхоби, откуда был родом их дед.

Вдыхая запах ладана, Нико рассматривал обтянутое почерпевшей кожей лицо покойника, его острый нос, опущенные веки и слушал слова молитвы.

— Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды — нараспев говорил Захарий. — ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним...

После похорон Нико подошел к отцу.

— Пойдем домой.

— Иди, я потом приду. Мотыгу с собой возьми, вон там, в сарайчике.

Захарий пришел в сумерках, немного навеселе, взгромоздился на своего хромого коня Буцефала и поехал к дочери.

Фазтон тряско двигался вдоль зарослей ежевики. Узкий серпик луны ушел за горы. В вязкой тишине глухо стучали копыта лошади. Было тепло, но Нико знобило.

Конечно, это должно было случиться с Ладом рано или поздно. Но всегда казалось, что жандармам не удастся его схватить, он вновь и вновь будет неожиданно приезжать домой. Появится, как обычно, ночью, поест, посмеется, и никто его ни о чем не будет спрашивать, потому что издавна сложилось так, что спрашивать бесполезно...

Нико вздохнул. Он посмотрел на небо, полное звезд. Завтра опять будет знойный день. Фазтон въехал в деревню. Нико остановил лошадь у дома сестры. На лай собаки в окне появился отец. Нико помахал ему рукой. Захарий, полуодетый, вышел и спросил:

— Лад?

Нико ответил:

— Арестовали. В Метехи сидит. Надо в город ехать.

Захарий уставился в лицо ему, круто повернулся и, по-медвежьи загребая ногами, ушел в дом. Протирая глаза, на балкон вышла Аната. Нико в нескольких словах рассказал то, что знал.

Аната оглянулась на отца, который уже оделся, дернула себя за волосы, распустила их, царапнула по щекам ногтями и открыла круглый рот в крике:

— Вай ме!

— Детей пожалей,— строго сказал ей Захарий.— За Буцефалом присмотри. Поехали, Нико.

Они сели в фазтон, и Нико стегнул лошадь.

— Доигрался!— бурчал вполголоса отец.— Доигрался! Все это ты, ты его всему научил. Да, истинно сказано: не делай зла, и тебя не постигнет зло.

— Это Ладо делал зло? Опомнись, отец!

Захарий искоса посмотрел на него, отвернулся, потом жалобно спросил:

— Ты поедешь со мной в город, а, Нико? Там ведь по-русски говорить надо.

— Мы все поедem, и Сандро, и Давид,— с раздражением ответил Нико.

— И Датико у нас? Останови лошадь.

Захарий вылез на дорогу, подобрал булыжник и сунул его в ноги Нико.

— Пригодится,— сказал он.

До Тквиави они не разговаривали.

Когда вошли в дом, Сандро хотел обнять отца, но тот отвел протянутые к нему руки и сердито сказал:

— И ты, небось, в тюрьму мечтаешь попасть! Тоже своих рабочих против Зеземана подбиваешь.— Он повернулся к Деметрашвили:— А ты не боишься? Двойник! Может, Деметрашвили надо было под стражу взять, а не Кецховели?

Датико удивился — откуда Захарию стало известно, что он отдал свой паспорт Ладо?

— Ты бы переоделся, отец,— сказал Нико.— В городе будем.

Захарий надел парадную рясу, но старые стоптанные сапоги не сменил.

244 — Па-ана!— сказал Сандро укоризненно.

— Сойдет и так,— буркнул Захарий,— и нечего новые сапоги трепать.

Маро уткнулась лицом в грудь мужу. Он погладил ее по пушистым волосам. Дома она не носила платка.

— Если повидаете,— сказала она,— скажи, что мы ждем его.

В Гори они пошли на вокзал и сели на скамью в зале ожидания. Под потолком чадила керосиновая лампа. Народу в зале еще не было.

— Когда поезд?— спросил Нико.

— В половине восьмого. Я прилягу.— Сандро вытянулся на скамье и заснул, подложив руку под голову. Он был очень горяч и подвижен, но, как и Ладю, легко засыпал. В дверь заглянул усатый жандарм. Сандро поднял голову, выругался и вновь задремал. Датию сидел рядом с ним, под глазами у него набухли мешки, и он казался теперь много старше своих лет. А как выглядит Ладю? Тоже, наверное, изменился: жизнь у него тяжкая. Не случайно он написал, что и на свободе не был особенно счастлив.

Жандарм ушел, его подкованные сапоги застучали по перрону.

Нико покосился на отца. Он сидел, откинувшись на высокую спинку скамьи, с закрытыми глазами, седые волосы распустились по плечам, большой крест на груди чуть поднимался от дыхания.

Нико посмотрел на узловатые, мозолистые руки отца. Сколько ему уже? Семьдесят пять? Нет, семьдесят шесть. Сколько помнит Нико, отец всегда вставал в три-четыре часа утра и кончал работу в поле и на огороде только с темнотой.

Нико так долго смотрел на загорелое, морщинистое лицо отца, что тот поднял веки.

— Что теперь будет?— сказал Нико.

— Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем,— пробормотал Захарий.— А вы, безумцы, думаете, что можете изменить существующее от сотворения мира.

— Ты ведь любишь его,— сказал Нико,— как ты можешь так говорить?

— И ты, и Сандро, и Георгий, и Ладо, и Ваню, и Аната — все вы рождены от меня, но разве вы когда-нибудь меня слушали?

— Он хочет правды, хочет истины. В твоём же Екклесиасте говорится: и обратился, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. Разве ты это не видишь, разве ты сам...

— Так было, так будет. Пойдем походим, у меня затекли ноги.

Они вышли на перрон. Пахло мазутом. На светлеющем небе черным пнем высоко срубленного дерева стояла горийская крепость.

— Вы все скрываете от меня,— сказал Захарий,— по я не слепой и не глухой. Я думал — вы несете слово, а человек должен жить не хлебом единым, но и всяким словом, исходящим из уст божьих. Однако и вы станете убивать, как тот, кто убил Авалишвили. В вас — его дурная кровь. И даже если бы вы не захотели убивать, вам придется, потому что тот, чей глаз насытился богатством, не отдаст его по доброй воле. Вы сеете ветер...

Они остановились и посмотрели друг на друга. В глазах Захария была теперь одна печаль. Он поправил крест на груди. И Нико вспомнил, как отец ударил этим распятием собаку за то, что она утащила из кладовой окорок.

— Отец,— спросил он,— ты веришь в бога?

— Верую,— не сразу ответил Захарий.

Он подошел к стене и вслух стал читать цены на проезд до Тифлиса:

— Первый класс — два рубля пятьдесят пять копеек. Второй класс — рубль пятьдесят три копейки. Третий класс — рубль две копейки. Нико, в третий класс возьми билеты. Слышишь?

Город, несмотря на утренний час, встретил их духотой и гомоном.

— Давай сюда! — кричали на вокзальной площади извозчики. — Эх, барин, прокачу. Ваши высокоблагородия, прошу ко мне! До Авлабара сорок копеек! За час — шестьдесят копеек! А ну, кому дрожки! Кому подешевле — дрожки!

Сандро повел всех к вагончику конки.

— Заедем к Михо Бочоридзе, — сказал он, — может быть, узнаем подробности, посоветуемся.

Лошади тронулись. Навстречу, занимая всю улицу, шла развеселая компания: впереди, в широченных шароварах, в крохотных фуражках, с длинными цветными платками в руках, выплясывали друг перед другом, словно вывинчиваясь из мостовой, два кинто. За ними ковылял багровый длинноусый шарманщик, а позади, обнявшись и покачиваясь, брели торговцы вином — микитаны.

Они остановили конку. Один из микитанов подпал кувшин с вином и сказал:

— Я Микич. Всю ночь пили. День тоже будем пить. Вот вино, вот стакан. Пока каждый не выпьет, конка не пойдет.

Первый стакан поднесли кондуктору. Датию что-то сказал Микичу. Микич со стаканом в руке поднялся на ступеньки вагона и поклонился Захарю.

— Ты отец хорошего сына. За твое здоровье, за здоровье Ладо. Пусть скорее на свободу выйдет.

Он выпил вино, прижал руку к груди, сошел, и вагончик двинулся дальше.

Пассажиры стали перешептываться, поглядывая украдкой на священника. Кондуктор, перехватывая поручни, пробрался к кучеру, тот остановил лошадей и подошел к Захарию.

— Я знаком с Ладом, отец, говорил с ним. Если понадобится — всю тюрьму разнесем, камня на камне не оставим, а Лад выречим. Пусть только знак подаст.

Они поехали на Авчальскую улицу, оттуда на Мостовую, вышли из конки и повернули на Михайловскую улицу. Здесь работал бухгалтером винного склада Михо Бочоридзе. Он сказал, что знает только одно — Лад пожертвовал собой, чтобы спасти нескольких своих товарищей, рабочих. Связь с ним еще наладить не удалось, и неизвестно пока, в какой камере его держат. Взять адвоката власти вряд ли разрешат.

Возле Бочоридзе стоял небольшого роста горбатый парень.

— Не беспокойся, отец, — сказал он вполголоса, — если с Ладом что-нибудь случится, мы отомстим. Даю тебе слово. Десяти жандармам головы отрежу!

Захарий отшатнулся от него и перекрестился.

— Всякое беззаконие — как обоюдоострый меч, — глухо произнес он, — так раны не лечатся.

— Ты слишком много болтаешь, Темур, — рассердился на горбуна Бочоридзе.

Они поехали к майданскому мосту, поднялись к воротам Метехского замка.

Дежурный офицер, вызванный часовым, пробурчал, что не имеет разрешения на прием передачи и вообще не знает, содержится ли в тюрьме Владимир Кецховели. Оглядев с головы до ног Захария, он

смягчился и посоветовал обратиться в губернское жандармское управление.

Датико и Сандро отправились в книжную лавку Чичипадзе, поискать книги, которые просил Ладос, а Захарий с Нико поехали в жандармское управление.

Никто не хотел разговаривать с отцом и братом политического арестанта. Каждый чиновник, узнав, в чем дело, отправлял их к другому, тот — к третьему, и, в конце концов, кто-то, сжалившись, объяснил, что они напрасно ходят, что до окончания следствия им не дадут свидания с заключенным.

Захарий направился в патриархат, к экзарху. Нико несколько часов прождал отца, сидя в тени чинары у собора.

Захарий вышел на улицу мрачный.

— Поехали на вокзал, сынок.

На станции их ждали Сандро и Датико. Сандро сказал, что книги они купили и сдали в жандармское управление.

Отец в зале ожидания и потом, в поезде, молчал, сидел, сложив руки на груди и уставившись на свои порыжелые сапоги.

В Каспи в вагон вошли две толстые маленькие женщины. Усевшись у столика, они разложили на полотенце яйца, хлеб, сыр, зелень, и одна из них попросила:

— Благослови трапезу, батюшка.

Захарий не шевельнулся.

— Батюшка, благослови, — повторила она, тронув священника за рукав.

Он поднял голову, отрицательно покачал головой и сказал:

— Недостоин я. Бог благословит,

Ладо и Лунич

Окно в камере не так высоко, как в Лукьяновке, в него можно заглянуть, не влезая на табурет.

Внизу бурлила Кура. Влажные испарения ее пахли серой. За Курой отливала голубыми изразцами мечеть, двигался пестрый, шумный хоровод Майдана, левее, из куполов серных бань, вились кольца пара, правее поднимались к небу черные развалины крепости, еще правее, за красными черепичными крышами, синела посеребренная инеем гора Мтацминда. Почти весь город лежал перед ним словно в полураскрытой ладони. Зимы не чувствовалось — снега не было, светило солнце. Прогуляться бы сейчас по городу, ни о чем не печалась. Срывать на склоне горы фиалки, смотреть на солнце... Есть ли вообще такая жизнь и была ли она когда-нибудь? Жаловаться нечего — он сам выбрал тюрьму вместо жизни на чужбине. Какие бывают совпадения. Соседскую девушку, которую он полюбил как сестру и которая стала женой Нико, звали Маро или, как он иногда называл ее — Машо, и в Киеве он познакомился с Машей, и даже человек, который привез ему паспорт на имя Бастьяна, назывался «Машей». Другой увидел бы в этом зов судьбы и ушел. А он остался. Судьба — судьбой, но каждый человек сам избирает себе дорогу.

Под стеной что-то медленно постукивало. Ладо открыл окно и заглянул вниз, но ничего не увидел. Наверное, часовой стучал по камням подкованными сапогами.

Голоса Майдана то затихали, то усиливались.

250 Если громко крикнуть, на другом берегу услышат.

Можно докричаться до Гасана, он выскочит из сернистого тумана бани, жилистый, кривоногий, черный. После первого знакомства он бывал у Гасана еще и, подставляя спину и грудь его шерстяной перчатке, растолковывал ему, как можно добиться улучшения условий работы и повышения жалования. О том, что терщики в серных банях бастовали, ему рассказал в Баку Авель.

Авель дважды передал через надзирателя записку — досадно, надзирателя сменили, — написал, что его уже несколько раз допрашивали. Гриша Согорашвили тоже здесь, он притворяется душевнобольным и на допросах болтает всякую чепуху. Виктора Бакрадзе, как он и предполагал, допросили и выпустили. Дмитрия выпустили еще раньше. Лишь Ладо не вызывали ни разу. На прошлой неделе он написал прошение начальнику жандармского управления, требуя ускорить рассмотрение дела. Сегодня обещали вызвать на допрос.

Он открыл окно и крикнул:

— Виктор Константинович!

Ответа не было. Он закрыл окно.

Неподалеку, тоже в одиночке, сидел Курнатовский. Знакомы они мало. О Викторе Константиновиче спрашивал в Самаре Кржижановский, просил помочь ему, чем удастся. Курнатовский часто сидел в тюрьмах, был три года в ссылке. Он неважно слышит, и переговоры с ним наладить не удастся. Вообще, если не считать двух записок от Авеля, связь с другими арестованными пока не наладилась, соседние камеры пусты. Во второй записке Авель сообщил, что ему удалось пронести в тюрьму последний номер «Искры» и «Что делать?», и про «Нину» написал — «Здоровье твоей любимой улучшилось». Значит, Джибраил отдал машину и стереотипный станок, и типография

снова заработала. А что происходит здесь, в Тифлисе? Ничего, ровным счетом ничего он не знает. Нет и ответных писем от Сандро и Нико...

Ладо снова приник к окну, посмотрел на крышу семинарии. Она сегодня еле была видна, дым скрывал ее. Наверное, возле Анчисхатской церкви в чьем-то саду жгут костры. Он бывал там, когда Эгнате Ниношвили ставил спектакль, чтобы на собранные деньги приобрести литературу. Пьеса была из жизни русских революционеров, Ладо играл главную роль, и Эгнате на репетиции смеялся, глядя на него, и говорил:— Не надувайся так, проще надо, проще, русские революционеры — такие же люди, как и мы с тобой.— Насмевшись, он хватался за грудь и кашлял. Смотреть на него было тяжело. У Эгнате бывал мастеровой Алеша Пешков. Алеша жил на горе, у речки Веры и, когда кто-то спросил его, где он живет, ответил стихами:

Живу я на Вере без веры
И в горе живу на горе...

Громыхающим окающим басом Алеша прочитал свой рассказ Эгнате, и тот уверенно предсказал, что Алеша обязательно станет писателем. Пророчество сбылось — Алеша теперь где-то в Москве, он известный писатель Максим Горький. Кржижановский говорил, что искряки собираются обложить Горького «налогом» в пользу партии. Судьба разметала по белу свету многих прежних друзей и знакомых. Кто в Варшаве, кто за границей, одни из бывших семинаристов служат в церкви, другие учительствуют. Порой самая непонятная несправедливость отдаляет от тебя товарищей. Болел туберкулезом бывший семинарист, член «Лиги свободы Грузии» Иродион Немсадзе.

252 Горестно было смотреть, как он кашляет, знать, что

он неизлечимо болен, но нельзя было не спорить с ним, потому что Иродион высказывал часто заведомо ошибочные мысли. Примириться с этим было невозможно, и, любя друг друга, они становились противниками, хотя имели общего врага, который преследовал их. Спорили, не уступая ни в чем, а потом Ладо вытирал Иродиону полотенцем пот со лба, укладывал его в постель, поил лекарством и просиживал возле него ночь, с жалостью глядя на его исхудавшее лицо. Весной Иродиону всегда становилось особенно худо, и в ту памятную весну, в апреле, он несколько раз повторил, что дни его сочтены, а Ладо, ободряя его, засмеялся, предложил пойти вместе на нелегальную первомайскую сходку, которая состоится через пять дней:— Не надо никаких маевки!— хрипя и задыхаясь, стал доказывать Иродион, — твой путь погибелен, Ладо, подумай о родине нашей, о нашей маленькой стране.— Именно о ней и думаю, Иродион, только о ней!— Он вытащил из-за пазухи красное полотнище и показал Иродиону. Половина жалованья ушла на то, чтобы купить этот алый шелк. Жена рабочего застрочила шелк по краям, надо было только натянуть его на древко. После маевки он отдал шелк тому рабочему и его жене, они очень нуждались. Сколько беготни было, сколько спешки! Ведь еще печатал для первомайской сходки прокламации, а в таких случаях, как у студентов перед экзаменами, всегда не хватает одного дня. Но успел, все успел, и прямо от постели Иродиона побежал в Грма-геле¹, боялся опоздать, а пришел раньше всех, и в первый момент испугался, что никто больше не придет. Но рабочие собрались. Они приходили по одному, по двое и трое, с сумками, из которых торчали горла

¹ Грма-геле — пустынный тогда пригород Тифлиса.

кувшинов с вином. Наивно, конечно, было надеяться на то, что полиция, набреди она на сходку, поверила бы, что столько народу вдруг решило одновременно посидеть за стаканом вина на весенней травке. Семьдесят человек! Не свадьба ведь. Но полиция на них не набрела. Поляк рабочий из железнодорожных мастеровских сказал:— Вот бы сохранился этот обычай — чтобы народ каждый май собирался за городом, и, не боясь друг друга, все говорили бы о жизни, о том, как вернуть отнятые у нас человеческие права.— Шелк натянули на палку и подняли кверху, из рук в руки передавали прокламации, и тут, когда надо было начать говорить, Ладо вспомнил Иродиона — вдруг, вернувшись, не застанет его в живых? И от ужаса не сказал, а закричал так, что все вздрогнули:— Товарищи!— О чем он говорил тогда? Кажется, начал с того, что это особенный день, впервые рабочие собрались, чтобы говорить не об экономической забастовке, а о завоевании политических прав. Всего восемь лет прошло с тех пор, а кажется, будто это было очень, очень давно и кто-то другой кричал, волнуясь. Сначала он говорил о народниках и никак не мог с ними покончить, потом перескочил на создание первой социал-демократической организации в Грузии «Месаме даси», вспомнил об организаторе ее Эгнате Ниношвили, чуть не расплакался и предложил всем встать и почтить память Эгнате. Потом рассказал о спорах, которые велись первое время в «Месаме даси» — какое избрать направление: социал-демократическое или национал-демократическое, и как Миха Цхакая заявил:— Никакого национализма, мы всегда и везде, легально и нелегально — социалисты!— Очень хотелось рассказать о том, какой Цхакая забавный, близорукий, рассеянный: может, полетев на столб, извиниться. Каким-то чудом удержался и ска-

зал, что нынешняя организация эсдеков развивает именно то направление, о котором объявил Цхакая. Тут, наконец, удалось выбраться на верную дорогу, заговорил о Марксе и о задачах, стоящих перед рабочими... Самое удивительное, что его выступление всем понравилось, хотя Ладо казалось, что говорил он постыдно плохо. Потом, когда рабочие разошлись, в панике побежал к Иродиону и рассказал обо всем, что было, а он то улыбался, то хмурился и повторял:— Не то вы говорили, не к тому звали.— И вновь был спор, огорчение, раздражение и жалость к упрямцу Иродиону.

Загремел дверной замок.

— Выходи! На допрос.

Его повели темными длинными коридорами, и он жадно всматривался в глазки на дверях — не мелькнет ли в них знакомое лицо.

За столом сидел жандармский ротмистр.

— Садитесь, господин Кецховели. Ротмистр Лунич.

Ладо сел, припомнив, что заметил ротмистра в день приезда в Тифлис на станции. С того времени, как его привезли сюда, он видел только двух надзирателей и нескольких стражников, которые под вечер заносили в камеру парашу. Появление нового человеческого лица, даже принадлежащего жандарму, было разнообразием. Кроме того, вызов на допрос означал, что дело его сдвинулось с мертвой точки.

— Наша беседа, если можно так выразиться, предварительная,— сказал Лунич.— Господин товарищ прокурора сегодня занят... Чему вы улыбаетесь, разрешите узнать?

— Забавное сочетание: «господин товарищ прокурора»,— ответил Ладо.

— Согласен, юмористично. Скажите, господин Кецховели, откуда я могу вас знать, где мы могли с вами раньше видеться? Закуривайте.

— Воздержусь. И мне знакомо ваше лицо.

— Любопытно.

Майдан, толпа, жандармский офицер в коляске... Кажется, Ладое показал ему кукиш. Напомнить ему? Неужели у ротмистра такая хорошая зрительная память, что он спустя столько времени вспомнил лицо, случайно выхваченное взглядом из толпы? Потом они виделись на станции, когда Ладое привезли из Баку.

Настроение у Лунича было приподнятое. Дебиль сказал, что он не забудет заслуг Лунича, если следствие по делу Кецховели пройдет успешно. Вчера вечером совершенно неожиданно к нему домой приехала в фаэтоне Амалия. А сегодня он видит перед собой Кецховели, и то, что Кецховели держит себя со спокойным достоинством, тоже отрадно, ибо подтверждает предположение о сильном противнике.

— У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы или вопросы, господин Кецховели?

— Да. Почему мне не дали свиданий с родными, почему перестали разрешать писать письма, почему не доставляют писем от родных, почему не удовлетворена моя просьба насчет книг? Я уверен, что книги находятся у вас.

— Свидания? Посмотрим... На переписку я вам дам разрешение, насчет книг, господин... Кстати, к какому имени вы более привыкли — Деметрадзе, Деметрашвили, Георгобиани, Бастьян?

— Кецховели. Так что же насчет книг?

— Доложу начальству вашу просьбу. На первом допросе в Баку вы заявили, что ваши единомышленники знали вас под другими именами.

— Да, только я не называл случайных в этом деле людей революционерами-единомышленниками.

— Господин Кецховели, это еще не допрос, вы видите, что протокол не ведется, удовлетворите мое любопытство — по какой причине вы называли себя, имея возможность скрыться?

— Я объяснил причину на допросах в Баку.

Лунич сощурился.

— Иного ответа не ждал от вас. Однако учтите, нам известно больше, нежели вы предполагаете.

Кецховели откровенно заскучал.

— А мадам Гинзбург относится к числу ваших единомышленников?

— Я не знаком с мадам Гинзбург.

— Не знакомы? Разве? Скажите, какой город из тех, в которых вы побывали, — Брюссель, Марсель, Константинополь, — вам больше понравился?

Ладо пожал плечами.

— Не хотите отвечать? — осведомился Лунич. — Но вы ведь бывали за границей?

Жандармы взяли у него иностранный паспорт на имя Бастьяна. Сказать правду, что он за границей не был? Тогда они заинтересуются тем, кто приехал по этому паспорту, наведут справки и, возможно, нападут на след «Маши». Да еще начнут выяснять, где Кецховели пропадал летом, чего доброго, обнаружат, что он побывал в Киеве, в Самаре... Отрицать поездку за границу опасно, можно поставить под угрозу ареста множество людей.

— Да, бывал.

— Возвращаюсь к мадам Гинзбург. Долго продолжалось ваше знакомство с ней?

— Такой знакомой у меня не было. Я уже ска-
зал об этом.

— Но она на допросах призналась ротмистру Вальтеру, что была знакома с вами. Не только по делам, но и...

— Господин ротмистр, вы лжете. И пошлости мне не доставляют удовольствия. Я буду отвечать на вопросы только в присутствии товарища прокурора и только по моему делу. Извольте отправить меня в камеру.

Лунич заставил себя улыбнуться. Экая досада, сбился на неверный тон.

— Прошу прощения, я забыл, что ваш отец — священник и что вы воспитывались в двух духовных семинариях. Конечно, разговор о женщинах не по душе вам.

Ладо вдруг рассмеялся — открыто, заразительно, и Лунич ощутил себя совершенным дураком, хотя нечаянно сам улыбнулся в ответ. Поймав себя на этом, он нащупал путеводную нить. Откровенность, максимально возможная откровенность!

— Я наговорил глупостей, — смеясь, сказал он, — от чрезмерного старания и еще потому, что сам, грешный, люблю женщин. Надеюсь, вы не будете думать обо мне скверно. Мы с вами враги, политические враги, так уж решил бог, но ведь можно уважать и противника, верно?

— Если он честный человек.

— Да, да, именно это я имею в виду. Но где же, однако, мы с вами виделись? Вы не вспомнили?

— Вы в карательных экспедициях участвовали?

— Нет. Я следовательно, а по склонностям своим не следовательно даже, а исследователь человеческих характеров.

258 Какого черта Кецховели вдруг заговорил о карательной экспедиции? Не был же он в том селе, не

видел же, как Лунич спиб конем оборвыша? И рас-
сказать ему никто не мог.

— Почему вы спросили о карательной экспеди-
ции, господин Кецховели?

— Вспомнилась карательная экспедиция, кото-
рую я как-то видел. Один офицер был похож на
вас.

— Какая? Когда? Где это было? — быстро спро-
сил Лунич, вонзившись взглядом в глаза Ладо.

— Давно уже, — нехотя ответил Ладо. — Какое
это имеет для вас значение? Ведь вы не каратель, а
следователь.

— Разумеется, не имеет значения. — Лунич ску-
по улыбнулся, продолжая смотреть в глаза Ладо. —
Вы ведь профессиональный революционер?

— Да.

— Вы знаете, господин Кецховели, что из тех гос-
под, с которыми мне пришлось иметь дело, вы
первый назвались на допросе революционером по
профессии.

— Что из этого следует?

— Просто любопытно... Ответьте мне на один об-
щий вопрос. Вы с вашими единомышленниками до-
биваетесь революции. В истории отмечено немало ре-
волюций. Но чем все они кончались? Революция в
Англии дала вместо короля Карла протектора Кром-
веля, французская революция из маленького Бона-
парта сделала великого императора. Возьмите наших
доморожденных революционеров. Свершись то, что они
задумали, Пестель стал бы диктатором, новым Кром-
велем пли, в конце концов, императором, новым На-
полеоном. Чего добиваетесь вы? Ведь если револю-
ция, которую вы готовите, свершилась бы, вы созда-
ли бы нового диктатора, нового царя, не более. Так
ведь?

Губы Ладо дрогнули в усмешке. Неужели такой вопрос рекомендуется задавать всем подследственным? Ведь то же самое ему говорил шесть лет назад в Киеве ротмистр Байков. Только тогда Ладо по молодости лет разволновался, стал объяснять, что не так все просто. Ротмистр ставил под сомнение необходимость перемен, необходимость революции, но тысячи причин обусловили обратные ходы в истории — возобновление абсолютизма, восхождение императора Наполеона. Наивно было бы теперь убеждать в чем-то Луничу.

— Может, вы сами мечтаете стать диктатором? — спросил Лунич.

Ладо улыбнулся.

— Я занимался в двух семинариях, там нас учили смирению, и я никогда не думал о посохе митрополита или патриарха. Ответьте и вы мне: если бы я указал на ошибку в ваших рассуждениях, вы открыли бы мне двери тюрьмы и стали бы, как я, революционером? Или вы предполагаете, что, поверив вашим доводам, я откажусь от своих убеждений и захочу стать жандармским следователем?

Лунич почувствовал глухое раздражение и непривычную неловкость.

— Напрасно вы отнеслись к моим словам иронически, господин Кецховели. Я знаю историю, но почти не знаком с революционной, нелегальной литературой. Кстати, порекомендуйте, что мне прочитать о том, каким представляют себе будущее общество революционеры.

Ладо снова усмехнулся.

— Поищите в списках запрещенной литературы.

— Благодарю, я об этом не подумал, — сквозь зубы сказал Лунич. — У вас нет никаких других

просьб, которым может помешать присутствие товарища прокурора?

— У меня одинаковое доверие к вам обоим, хотя господина товарища прокурора я еще не имею чести знать.

— У вас отменное чувство юмора. И пошутить вы, как я вижу, любите. С ротмистром Лавровым, охотно признаю, вы превеселый водевильчик устроили. Помните, на квартире Джугели, когда вы спящим дьяконом притворились?

— Никогда не надевал одежды священнослужителя, а с Джугели не виделся после семинарии.

— Даже такой пустяк отрицаете?

Лунич позвонил в колокольчик.

Конвоир увел Ладо.

Лунич постоял, собираясь с мыслями. Что дала ему первая встреча с Кецховели? Ничего, ровным счетом ничего. У этого человека удивительная способность спокойно, без презрения и без ненависти ограждать себя, не допускать следователя туда, куда он не хотел его допустить, и естественная, живая реакция на все другие вопросы. Игривость не пришлась по душе Кецховели, и этот тон придется оставить. А ведь обычно арестанты как раз о женщинах говорят охотно. Может быть, мало еще сидит? Да, с ним придется помучиться.

Лунич уехал из тюрьмы недовольный собой, в каком-то смутном настроении.

Выйдя в коридор, Ладо заметил, что во дворе тюрьмы выгружают из телеги рулоны типографской бумаги.

— Что, в тюрьме есть типография? — спросил он у конвоира.

Тот нерешительно оглянулся и ответил:

— Так точно, имеется.

— Я, кажется, слышал, как печатная машина стучит,— наугад, еще не зная, для чего это может ему пригодиться, сказал Ладо.

— Могли слышать. Ваша камера над типографией. Помолчите, господин!

Типография помещалась под его камерой. Связь с волей у типографии есть — сюда привозят бумагу, отсюда увозят готовую продукцию. Окна типографии должны выходить на сторону Куры. Полезные сведения! Вот что значит бывать на допросах.

Ладо вернулся в камеру, как возвращаются домой после прогулки, и с аппетитом съел баланду, которую обычно не мог есть без отвращения.

К вечеру, когда тюрьма затихла, Ладо лег на пол и приложил к холодному цементу ухо. Если вечером внизу работают, он должен услышать... Действительно, ухо уловило ритмичное постукивание. Так, теперь выждать, когда будет перерыв, и чем-нибудь несколько раз ударить по полу. Можно позвать и через окно, но если услышит часовой? Надо приглядеться, прислушаться, определить, где пост часового, а потом уже... Рисковать не стоит. Он вскочил на ноги и подошел к окну. Политических к типографии на пушечный выстрел не подпустят, там работают уголовники. Интересно, какая у них машина? Судя по стуку, скороходная. Великое изобретение! Что еще можно сравнить с созданием печатного станка, что дало человечеству больше, чем мысль, идея, чувство, мечта, размноженные и разнесенные по свету?! Создатели печатного слова, вот кто произвел подлинную революцию! А не то ли говорил и попутчик в поезде, Костровский? Уж не начинает ли Ладо соглашаться с ним? Нет, все равно нет! Подобно тому, как печатное слово не смогло облегчить участь угнетенных и униженных, никакая электрическая машина не

уничтожит неравенства людей, не защитит их от грабежа и произвола!

Часовой ходил где-то справа. Шаги отдалились, затихли. Не стучит и печатная машина. Ладо свистнул.

— Эй, внизу! Подойдите к окошку!

*От автора.
Старый Тифлис*

И вот мы с Варламом в Тбилиси или, как его называли раньше, Тифлисе. Для нас не существует новых районов города, новых названий улиц, новых мостов, театров, мы не замечаем автобусов, троллейбусов и автомобилей...

Мы сели у вокзала в такси, попросили, чтобы шофер ехал немедленно.

Варлам одет в черкеску. Где он хранил ее до сих пор? И неужели не растолстел со времен своей молодости? Черкеска сидит на нем, как влитая. Варлам очень старается помочь мне во всем, иногда даже немного неуклюже и наивно. Трогательный старик!

Шофер с любопытством поглядывает на Варлама в зеркальце. Варлам замечает это, усмехается и говорит мне:

— Понади ты в своем синтетическом костюме в прошлый век, кучер обязательно спросил бы у меня: откуда это чучело?

Шофер засмеялся. Он уже не молод, гладко выбрит, в белой рубашке с галстуком.

— А ты что,— спросил он у Варлама,— из прошлого века выпрыгнул?

В Тбилиси легко переходят на «ты».

— Прямым ходом оттуда.

— Хе, я же тебя знаю,— сказал шофер,— по телевидению видел. Ты руководитель хора столетних колхозников.

— Ошибся, дорогой,— возразил Варлам,— я не руководитель, а солист. «Мравалжамнер» в моем исполнении слышал?

— Куда ехать?

— Приказывайте, господин,— с улыбкой сказал мне Варлам.

— Поедем по городу.

— Поезжай прямо, потом сверни на Михайловский, то есть на Плехановский проспект,— распорядился Варлам и развалился на сиденье с видом человека, показывающего свой дом,— напомни мне, пожалуйста, насчет года.

— Проедемся по последнему году прошлого века.

— Мчись, Мерани мой, неудержим твой бег и упрям. Размечи мою думу черную всем ветрам! — продекламировал Варлам строки из Бараташвили.

Была поздняя осень, и ветер гнал по мостовой опавшую листву.

Не успели мы проехать квартал, как Варлам схватил меня за руку.

— Видишь человека в шляпе? Шофер, поезжай медленнее.

У самого края тротуара шел небольшого роста худенький человек в пальто с поднятым воротником и в шляпе, надвинутой на самые брови. Руки он держал в карманах.

— Вылитый Саша Цулукидзе,— шепнул мне Варлам.

Словно почувствовав, что мы говорим о нем, человек посмотрел на такси. Глаза у него были черные, как остывшие угли. Так смотрят люди, у кото-

рых что-то болит внутри. Он закашлялся, остановился и, когда кашель заглох, свернул за угол.

— Цулукидзе прожил недолго,— сказал Варлам.— Умница был, хороший публицист. Смерть меньше других щадит талантливых людей.

Цулукидзе был ровесником Ладо, в гимназии писал стихи и рассказы. В то лето, когда Ладо сидел в Лукьяновской тюрьме, Саша приехал в Тифлис и сотрудничал в газете «Иверия», потом перебрался в Баку, организовал вечерние курсы для рабочих, а затем учился на юридическом факультете Московского университета. В Тифлис он снова приехал в 1899 году уже зрелым революционером.

— Мне в самом деле посмотреть бы на Цулукидзе,— сказал я,— увидеть его вместе с Ладо.

— Все в твоей воле,— ответил Варлам.

— Чего-то не пойму,— сказал шофер,— кто вы такие и что задумали.

Я объяснил. Он резко затормозил и повернулся к нам, сияя из-под усов улыбкой.

— Смотри ты, как повезло. Я ведь наследственный извозчик. Дед мой держал фазтон, а отец был кучером на конке. Потом на вагоновожатого трамвая переквалифицировался. Раньше бы приехали, пока отец жив был!

— Он что-нибудь вспоминал о Кецховели?

— Не помню. Может и вспоминал. А уж знать — наверняка знал. Ладо был человек, что надо! Жаль, тюрьму снесли, в которой он сидел. Святое место!

Позади засигналили машины. Высунувшись из окна, шофер крикнул:

— Проезжайте, не видите, делом занят! Подумаешь, князя, объехать не могут! — Он посмотрел на Варлама.— Сколько тебе лет?

Варлам ответил. Шофер присвистнул.

— Ишь, сохранился. Но я Тифлис тоже неплохо знаю. Как настоящий извозчик! Так что называй улицы по-старому, точно довежу, без ошибки.

— Тогда погоняй лошадей до Михайловского и налево.

— Левого поворота там нет, немного дальше придется проехать.

Варлам снова заговорил голосом экскурсовода:

— Мы пересекаем Елисаветинскую улицу. Слева пивоваренный и лимонадный завод Луизы Мадер. Пиво куленбахское, царское, лимонады грушевый, ванильный, кофейный, малиновый и лимонный. Отличные напитки! Конкуренция! Плохо сварить пиво, его никто пить не станет, и фрау Мадер прогорит.

Таксист свернул на Плехановский проспект.

— Справа — обсерватория, — сказал Варлам, — в ноябре 1899 года разразилась новая забастовка в семинарии. Как и прежде, многих семинаристов исключили. Младшего брата Ладо — Ваню и его одноклассника еще по горийскому духовному училищу Сосо Джуганвили исключили с волчьим билетом. В обсерватории работал Ражден Каладзе, он и помог устроиться — сперва Ваню, потом Ладо пристроил сюда же Сосо. Они жили в одной комнате. Изредка у них ночевал Ладо. Постоянного жилья у него не было... А здесь был сад Тифлисского собрания, — объяснял Варлам, — сад Немецкого клуба. Налево кирха.

— Ее еще до войны снесли, — вставил шофер.

— Направо городская больница на двести кроватей. Хочешь лечиться, плати 12 рублей в месяц за кровать в общей палате, хочешь отдельную комнату — плати 60 рубликов. Полная демократия — в рекламном объявлении сказано: принимаются больные всех званий. Приползи в лохмотьях, протяни

60 рублей и царствуй один, ириди в королевской мантии, но без денег, перед тобой захлопнут дверь.

Крепкий, с плечами и шеей борца, человек в шляпе словно приклеился глазами к такси. Выгляд у него был тяжелый, казалось, он мысленно зарисовывает нани лица. Я толкнул Варлама локтем.

— Кто это, как вы думаете?

— По-моему, филер. Чем-то мы ему недоверительны.

Шофер фыркнул.

— Это вы про того, здорового? Сосед мой, бывший интангист, теперь директором столовой работает.

Варлам подмигнул мне и забермотал:

— Сретение Господне, Благовещение, Вознесение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, первый и второй день Насхи...

— Что с вами? — спросил я.

— Подожди. Эх, сбил ты меня... Бог с ним! Мы подъезжаем к почте, и я стал вспоминать, в какие праздничные дни почта не работала совсем, а в какие работала с восьми до одиннадцати часов дня. В обычные дни почта закрывалась в два часа.

Проехали еще немного. Варлам спохватился и попросил шофера вернуться немного назад. Он остановил такси у небольшого домика.

Мы вышли на тротуар из старых каменных плит. Варлам повел меня во двор и показал на маленький флигель, прислонившийся к стене двухэтажного дома.

— Там жил Эгнате Нинношвили.

— Сюда приходил семинарист Ладо?

— Да. Ладо говорил мне, что Эгнате дал ему читать Маркса, но «Капитал» он тогда осилить не смог.

Мы вернулись на улицу. Шофер стоял у дома и читал надпись на мемориальной доске.

— Поехали?

— Поехали,— ответил Варлам.

— Вы до которого часа ездить будете? — спросил шофер.— У меня в час кончается смена.

— Скоро освободим тебя.

— Я почему спросил — давайте доедем вместе до гаража. Сдам машину и поедем ко мне, пообедаем. Вино есть, хлеб, сыр есть, посидим, поговорим о Ладо. От души прошу.

— Спасибо,— сказал Варлам,— лучше в другой раз, не сегодня. Мы будем заняты до ночи.

— Хорошо, договорились. На Вардисубанской улице спросите таксиста Амираана. Если дома меня не застанете, подождите.

Я назвал свой адрес, Варлам пригласил Амираана в Гори.

— Главное,— сказал Амиран,— при встрече обрадоваться, вспомнить, что мы знакомы. Разговаривайте, не буду больше мешать.

— С каким множеством людей встречался Ладо,— сказал я,— и как быстролетны, кратковременны бывали встречи, какой-то людской калейдоскоп. Значит, его освободили от гласного надзора полиции в 1897 году?

— Да, но не освободили от негласного. Он распрощался в Джаве с Санакоевым и приехал сюда, стал искать себе работу. Он несколько дней прожил в одной комнате с Ражденем Каладзе и Северианом Джугели, потом вместе с Северианом перешли к старому знакомому, содержателю книжной лавки Захарии Чичинадзе. Ладо попросил Захария помочь ему устроиться в типографию, и Захарий рекомендовал его владельцу типографии Хеладзе.

Такси проехало по мосту на бывший Мадатовский остров, где раньше были сады, а на другой стороне — городская свалка.

Пересхали второй мост, и Варлам крикнул:

— Кучер, на Лорис-Меликовскую! Я покажу тебе типографию Хеладзе.

— Не надо,— сказал я,— о ней мне все известно. Даже лучше, чем вам. На Головинский проспект!

Варлам прищурил один глаз.

— Сомневаетесь? — спросил я. — Тогда слушайте. Ладо поступает в типографию Хеладзе. Корректуру он уже умеет читать, наборное и печатное дело осваивает быстро. Он сообразителен, весел, энергичен и очень нравится Хеладзе. Тот назначает его конторщиком. У Хеладзе женится сын. Типография на первом этаже, Хеладзе живет на втором. У Ладо припрятана бумага, набор на грузинском языке брошюры польского социалиста и писателя Дикштейна «Кто чем живет?». Это популярное изложение «Капитала» Маркса. В типографии спрятался подмастерье Васико, мальчишка, влюбленный в Ладо. На втором этаже гремит музыка, пол гнется от пляски. Ладо незаметно встает из-за стола, спускается в типографию, достает набор, закладывает его в печатную машину, приправляет, и к рассвету брошюра отпечатана, уложена в корзины из-под фруктов. Первая нелегальная брошюра в Закавказье!

— Из твоей скороговорки я понял, что ты дотошно работал в архивах,— сказал Варлам. — А знаешь, кто сделал перевод Дикштейна?

— Кецховели.

— Так все считают. На самом деле он перевел одну главу, а всю брошюру перевел социал-демократ Дмитрий Каландаришвили. Кстати, вспомнил одну историю. Как-то видит Ладо, что впереди идет по улице Каландаришвили. Ладо подошел,дохнул ему в затылок и, картавя, сказал: — Я жандагмский погучик Агаханов. Попогошу не обогащаться. Тепег на-

лево, тепег напгаво.— Привел на конспиративную квартиру, разрешил повернуться и захохотал. Каландаришвили ругался так, что стекла дрожали... А вот здесь была такая вывеска над ювелирным магазином: «Прошу убедиться в дешевизне». Тебя она соблазнила бы?

— Меня больше соблазнила бы вывеска над духаном.

— Вполне согласен. Я тоже проголодался.

Мы принялись уговаривать Амирана, чтобы он пообедал с нами.

— Не могу,— с сожалением сказал он,— сменщик ждет. И я ведь за рулем — за стол сяду, а выпить за ваше здоровье не смогу.

Пришлось попрощаться.

Пообедали в подвальчике. Народу было изрядно. За соседним столом сидела развеселая компания. Тамада пил из большой цветочной вазы, стоял прямо, развернув плечи, подняв красивую голову, и вазу держал, откинув локоть, привычно, как старый солдат держит винтовку. Варлам улыбулся.

Толстяк-буфетчик вышел из-за стойки и поставил перед нами две бутылки вина.

— Мы не заказывали,— сказал я.

— Шофер, что вас привез, просил от него передать.

Мы выпили за здоровье Амирана, поели и вышли.

— Теперь пешком? — спросил Варлам.

— Да. Неплохо бы на какой-нибудь старый завод заглянуть.

Мы ходили по узеньким улицам, на которых раньше с трудом разъезжались два фаэтона. На иных они не могли разъехаться, и тогда открывались окна, высовывались головы, дети высыпали на улицу, и все вместе громко обсуждали, как быть. Мужчины тоже

выходили из домов, снимали пояса, измеряли ширину фаэтонов и ширину улицы, качали головами, убедившись, что разъехаться невозможно, все же приподнимали фаэтоны, прижимали их к стенам, и, в конце концов, один из фаэтонов катил назад до перекрестка, другой проезжал, но после этого никто не расходился, все продолжали обсуждать происшествие, ругали Думу и городского голову за то, что улицы такие узкие.

За углом слышались крики. Мы подошли и увидели две автомашины — «Москвич» и «Волгу». «Москвич» въехал одним боком на узенький тротуар, но «Волга» все равно не могла проехать, и шоферы вышли на мостовую, и уже раскрывались окна, и дети выбегали из крохотных дворишков.

— Чего он на тротуар въехал? — возмутился Варлам. — Подал бы назад, до перекрестка!

— Здесь одностороннее движение, — возразил я, — «Волга» нарушила правила. Кроме того, почему должен уступать дорогу именно «Москвич»?

Мы чуть было не заспорили, но, посмотрев друг на друга, захохотали и отправились дальше. Прошли мимо Майдана, где неподалеку от Сионского собора мирно соседствовали еврейская синагога, армяно-гегорианская церковь и мечеть.

— Ты знаешь слова о том, что труд создал человека, — сказал Варлам, — я покажу тебе, что труд делал с человеком.

Он провел меня к длинным строениям на берегу Куры.

— Здесь был кожевенный завод Адельханова и компании. Сапожный товар поставлялся военному округу...

Смрад. Во дворе с арб и телег сбрасывают на землю окровавленные, вонючие, просоленные или

подсушенные шкуры. Над ними роются большие зеленые мухи. В первом помещении шкуры вымачиваются в огромных деревянных чанах, в следующем с них соскребают мездру большими, кривыми, как ятаганы, ножами. Дальше шкуры гноят, чтобы с них сошла шерсть, и плотно укладывают в ямы, а с размягченных сдирают скребками остатки мяса и волос. Еще дальше шкуры квасят — погружают в длинные ванны, наполненные жижей из куриного и собачьего помета. Мельницы размалывают дубовую кору, кожи дубят, рабочие «уколачивают» их молотками на ровных плоских камнях, чтобы будущие подошвы и голенища сапог стали плотными. Сырые, гнилостные испарения, дубовая пыль, которая ест глаза и раздражает горло, и повсюду десятки, сотни рабочих, полураздетых, грязных, не похожих на людей. Здесь и грузины, и армяне, и татары, и русские — на завод берут только по одному признаку: сила и крепкое здоровье. В полумраке двигаются, орудуют крюками, ножами и молотками обтянутые блестящей от пота кожей мускулистые руки — уродливо вздувшиеся, искаженные однообразным трудом. И только когда кто-нибудь поднимает голову, показывается измученное лицо и глаза — у одних потухшие, полуслепые, у других ожесточенные и твердые...

— У них был четырнадцатичасовой рабочий день, — говорит Варлам.

На обратном пути мы оба молчим.

Возле моста Варлам останавливает меня. Я слушаю его рассказ...

Похоронная процессия. Впереди и возле тротуаров едут конные полицейские. При виде процессии из лавок и домов высыпают зеваки.

— Кого хоронят?

— Кто-то важный, гляди, полиции сколько.

Высоко, с наклоном поднятый на руках, гроб плывет над людьми. В гробу лежит человек с красивым, смугловатым, чуть улыбающимся лицом. За гробом идут две женщины в трауре — пожилая и молодая, с маленьким мальчиком на руках. Мальчик испуганно поглядывает по сторонам. За ними густо движется толпа. Больше всего рабочих, но кое-где среди шапок и картузов виднеются шляпы и студенческие фуражки. Все идут молча. В том, как они медленно и торжественно идут, в никем не нарушаемой тишине — только шорох обуви по мостовой и цокот копыт, — могучая, сдерживаемая сила. Позади процессии едет тюремная карета.

В толпе — Ладю. Рядом с ним, сгорбившись, идет Саша Цулукидзе.

— А кого хоронят?

— Техника, он работал в железнодорожных мастерских, протестовал против произвола администрации, у него нашли нелегальную литературу, арестовали, в участке избили, потом бросили в тюрьму, а через месяц после того, как выпустили, он умер внезапно от горячки.

Миновав мост, процессия поднимается по улице, огибающей Метехский тюремный замок, и движется к Петропавловскому кладбищу.

Цулукидзе и Ладю останавливаются вблизи могилы. Цулукидзе нервно покусывает ногти, а Ладю смотрит на мать покойного. Его лицо выражает такое горе, словно он брат или близкий друг человека, которого опускают в землю.

Над могилой поднимается холм, и полицейские, оставившие лошадей у входа на кладбище, приходят в замешательство: люди не расходятся, стоят молча, с опущенными головами. Старик-пристав суетится, проходит к могиле, срывающимся голосом говорит:

— Господа, господа...

Никто не отвечает и не двигается с места.

Пристав совсем растерян. Придаться и потащить кого-нибудь в карету не за что — никто не говорит речей, не бросает листовок, не совершает ничего противозаконного, люди просто стоят в скорбном молчании. Так бывает перед грозой — еще и гром не ворчит вдалеке, и молнии не рассекают небо, но все окрест затихает в ожидании.

Пристав почему-то подходит к Цулукидзе. Видимо, тонкое пылливое лицо его внушает приставу доверие.

— Господин, прошу вас, церемония уже закончилась.

— Прошу не указывать мне. Я сам знаю, когда мне покинуть кладбище.

У старика-пристава лицо в красных прожилках, глаза от возраста помутнели, старый служака, видно, тянет лямку, чтобы получить приличную пенсию.

— Однако же вы не близкие покойного, — бормочет он, поглядывая на Ладю, — с какой целью вы явились сюда?

— Отдать человеческий долг, — отрывисто отвечает Цулукидзе.

— Что за удовольствие стоять так? — не понимает пристав. — Предполагаю, что вы не близкие друзья...

— На ваши похороны, господин пристав, — резко, со злостью говорит Ладю, — я пришел бы с гораздо большим удовольствием!

Пристав отскакивает и всматривается в лицо Ладю, запоминая его.

Все, не сговариваясь, вдруг начинают расходиться — в разных направлениях, полицейские суеются, и филеры бегают, не зная, за кем идти...

Мы с Варламом вернулись на правый берег Куры и еще побродили по улицам. Когда стемнело, остановились у какого-то дома. Варлам сказал, что мы должны постоять здесь и он кое-что расскажет.

Я закурил.

В доме напротив светились окна, за занавесками виднелись люди, слышались голоса. Кто-то пробежал пальцами по клавиатуре рояля, глубокий, мягкий баритон запел по-грузински романс.

Стена за моей спиной была прохладная, она не успела согреться за день. В саду за домом заиграла зурна, захлопали в ладоши, и мужские голоса ритмично закричали:

— Таш-туш! Таш-туш!

Неужели все это уже было? Та же улочка, духота догоревшего дня, большие редкие звезды над головой, звуки рояля, веселый плач зурны... Я учился в десятом классе и как-то вечером забрел сюда, в старый город, и остановился у стены послушать романс. Странное состояние. Наверное, оно знакомо всем. Вдруг начинает казаться, что повторяется уже случившееся с тобой.

— Здесь, в этом доме, в такие же вечера собирались члены комитета,— говорит Варлам.

...Голос Ладо:

— Вы не правы. Мы с вами сходимся в одном: мы вместе хотим, чтобы знамя, на котором написано «подлость и насилие», было отброшено и чтобы его сменило наше знамя с надписью «свобода и любовь». Но вы не хотите замечать изменений, которые произошли в жизни нашего народа.

— Я не слепой, Ладо! — отвечает резкий взволнованный голос. — Мы только и трубим об этих измене-

ниях, о том, что промышленность наша растет, как в русских лесах грибы. Ты и Цулукидзе пытаешься, хотите вы этого или не хотите, задержать, остановить исторический, неизбежный процесс развития капитализма.

Кто-то хохочет.

— Задержать и остановить? — Это глуховатый голос Цулукидзе.

— Да, задержать и остановить! — слышится еще чей-то голос.

— Толкать рабочих, вчерашних крестьян — а грузины-рабочие еще связаны с деревней и долго не порвут связи с ней — на путь борьбы с капитализмом и означает стараться помешать развитию промышленности. А в чем еще так нуждается наша бедная крестьянская страна, как не в притоке капитала, как не в европеизации всего уклада нашей жизни? Тот не патриот своей страны, кто не хочет ее развития!

Цулукидзе снова смеется.

— Подожди, Саша! Вы не видите, что у нашего рабочего и психология еще крестьянская. Ему нужно стать грамотным, ему надо научиться думать.

— И пусть мучается, умирает от голода, от эксплуатации! — кричит Цулукидзе. — А мы будем наблюдать за этим с холодным сердцем и ждать, пока народ наш научится думать! А уже потом... Говоря о народе, вы отворачиваетесь от него и смотрите на заводчиков!

— Глупости! Кто говорит, что нужно отворачиваться от народа, от рабочего? Ему надо помогать, о безобразиях на заводах надо печатать в газете, привлекая к этому внимание всего общества. Положение рабочего надо улучшать, улучшая условия труда, процессы производства. А кто в Грузии сейчас может этого добиться, как не сам заводчик, не сам капита-

лист? У каждой страны — свой путь, у каждого народа — своя дорога, и нельзя смотреть на далекую, огромную Россию и не видеть того, что происходит на твоей собственной земле!

— Давайте посмотрим, что происходит на нашей земле, — спокойно говорит Ладос, — давайте подумаем о том, отличаются ли условия жизни нашего народа от условий жизни народа России. Есть только одна разница, я оговариваю ее наперед, — та, что Грузия под двойным гнетом — собственных заводчиков и помещиков, и колониальным гнетом русского царизма. Ну, а в остальном? Чем русский капиталист отличается от нашего, чем русский дворянин, помещик отличается от нашего, чем грузинский крестьянин отличается от русского мужика, и грузин-рабочий от русского рабочего? Та же эксплуатация, то же угнетение. Сама жизнь показывает рабочим — и русским, и грузинам, и армянам, кто их грабит, угнетает и с кем им надо бороться. Не перебивайте меня, я слушал вас внимательно и дал вам высказаться, теперь выслушайте меня. Вы согласны с тем, что движение протеста рабочих возникало само собою, что оно будет крепнуть и шириться?

— Допустим, так.

— Отлично. Я согласен с вами — чтобы движение рабочих само собой приняло организованный, политический характер, надо ждать, пока разовьется промышленность, пока численность пролетариата увеличится, и он составит большинство населения. Но ждать этого придется очень долго, десятки лет. Так?

— Согласен. Ты повторяешь мои слова.

— Но есть и другое обстоятельство. Ты забываешь о распространении социалистических идей, о том, что учение революционной социал-демократии упало у нас на благодатную почву, что уже не пер-

вый год существуют рабочие кружки, ты забываешь о том, что у нас в этом году в апреле состоялась первая рабочая политическая демонстрация. Ты ведь помнишь, как мы собрались у Соленых озер? Ты не думаешь о том, что лучшая часть наших рабочих теперь понимает — надо бороться не только со своим хозяином, а с правительством, с царем!

— Понимает, потому что вы это им вдалбливаете в голову.

— Верно, мы ведем пропаганду. Я хочу вернуться к тому, что ты говорил о патриотизме. Грузию мы любим не меньше тебя, но, подумай над этим, борьба с царем, с правительством ведь и есть кратчайший путь к освобождению Грузии. Ваш путь — это путь долгий и неверный. Вы, говоря об освобождении народа, по сути дела предлагаете еще многие десятилетия держать его в угнетении.

— Нет!

— Вы часто повторяете, — говорит Ладэ, — что мы не патриоты, что настоящий патриот Жордания. Таких патриотов, как вы, Грузия видела немало. Давайте вспомним. Кто первый начал кричать о своем национализме, о патриотизме? Наши князья, наше дворянство после присоединения Грузии к России. Они хотели освобождения Грузии, чтобы вернуть потерянные привилегии. А кто теперь у нас больше всех кричит об освобождении Грузии? Буржуазия, которая боится конкуренции, хочет ограбить нашу страну таможенным кордоном, изгнать русских заводчиков со своего рынка. И все для того, чтобы разбогатеть, а не ради любви к народу. И вы, повторяя слова буржуазии о независимости, сбиваете с толку рабочих, вы хотите помочь буржуазии загребать жар чужими руками! Вы предлагаете не руководить движением рабочих, а приглушать его, усно-

каивать. Если бы вам удалось повести народ по вашему длинному пути... Помните пословицу: «У вороны сдох итенец, и она подбросила его сове, у тебя, мол, большая голова, ты и оплакивай его»? Вы скажали бы это нам, убедившись в своей ошибке.

Веселый смех Цулукидзе.

— Нет, я не могу согласиться с вами, — продолжает Ладо. — Мы будем руководить рабочими, организовывать стачки, бороться за улучшение условий жизни, но мы будем объяснять и объяснять им, что главная их задача — политическая борьба с правительством, борьба за быстрейший захват власти! И мы поведем их именно по этому пути!..

Варлам кладет руку мне на плечо.

— Откуда вы знаете об этом споре? — спрашиваю я. — Разве вам приходилось бывать на заседаниях комитета?

— Я приехал в Тифлис и случайно встретился с Ладо. Он шел после заседания возбужденный и сразу стал рассказывать. Я ведь говорил, что он многое доверял мне. А интересно было бы оказаться в том времени на самом деле, войти в комнату, принять участие в разговоре... Куда мы теперь?

Я посмотрел на площадку, где раньше чернел на скале Метехский замок. На эту сторону выходило окно камеры, в которой находился Ладо. Прежде чем я вернусь к нему, мне надо узнать о последних днях жизни Ладо в Тифлисе до отъезда в Баку.

Я проводил Варлама на вокзал.

Старый Тифлис медленно уходил от нас, и мы снова слышали шум автомобильных моторов и шорох, с которыми проносились по улице троллейбусы.

Подожли к вагону.

— У меня такое чувство, будто я теперь долго тебя не увижу,— сказал Варлам.

— Не знаю. Работы у меня сейчас много.

— У меня тоже дел уйма — и виноградник, и сад, и самое важное — мои больные. Сколько минут до отхода?

— Около двадцати. Поднимитесь в вагон.

— В вагоне душно, лучше постою здесь.

— Вам много приходилось оперировать?

— Нет. Операция — дело вынужденное. Авария, ранение, вконец запущенная болезнь — когда уже нет другого выхода. Я специализировался как терапевт и психиатр. И, признаюсь в одной своей слабости, я завидую акушеркам. Ведь это так здорово! Маленькая жизнь, заложенная в большой, должна выйти из нее и стать самостоятельной. Пожалуй, ничему так нельзя радоваться, как первому крику нового человека.

— А вам известно, что где-то в Сибири живет родственник Ладо?

— Что за нелепость! В Сибири?

— Да, помните историю о том Кецховели, который убил князя Авалишвили и сгинул без вести в Сибири?

— Еще бы. Ладо не раз вспоминал о нем.

— Сравнительно недавно, несколько лет назад, сын Нико, академик Николай Николаевич Кецховели получил письмо из Сибири, кажется, от инженера по профессии, по фамилии Кецховели. Он писал, что прочитал в газете отчет о сессии Академии наук, на которой выступал Николай Николаевич, и впервые встретил однофамильца. До этого и сам он, и окружающие считали, что фамилия его итальянская. Видимо, это потомок того мятежного дворянина, который убил Авалишвили.

— Вот уж чего не ожидал.— Варлам рассмеялся.— Тебе сам Николай Николаевич об этом рассказывал?

— Да, мы с ним давние знакомые. Я учился в университете, а он был в те годы ректором. Идите в вагон, поезд сейчас тронется. Я не прощаюсь с вами.

— Я буду ждать тебя.

В новогоднюю ночь

Жужжание города постепенно смолкло. Уже не спешили по улицам люди с корзинами фруктов и овощей, бурдюками и бочонками вина в руках. Погасли свечи на прилавках ларьков, и только в кондитерских еще горели огоньки на елках и горожане торопливо уносили домой торты и кульки с конфетами.

Наступление 1900 года во всех городах Российской империи должно было быть, по указанию свыше, отмечено парадно. Городским властям рекомендовали распространять мысль о том, что новый год принесет подданным императора Николая II улучшение условий жизни, облегчит участь страждущих и озолотит имущих.

В Тифлисе, как и повсеместно, на милость государя надеялась только часть дворянства. Но Новый год был Новым годом, поэтому праздник отмечал всяк, кто мог.

«Еще немного, и затишье взорвется, как оживший вулкан», — подумал Ладо.

В двенадцать часов разразится стрельба, раздастся треск шутих. В хмурое, нависшее над крышами небо взлетят разноцветные ракеты. Пожалуй, «за-

тишье, изорванное, как оживший вулкан», в переводе на русский теряет естественную образность. Шекспир, вот у кого самая невероятная гипербола вылеплена словно из костей и мяса. В переводе Мачабели пьесы Шекспира кажутся созданными на грузинском языке. Саша Цулукидзе вряд ли согласится с этим, но не потому, что думает иначе, а потому, что не может не спорить. Наверное, он спорит и во сне, и подушка, на которую он кладет голову, вся в дырках от его восклицаний. Но вчера, узнав, что выступать перед рабочими конки будет не он, а Ладос, он не стал спорить. Он смотрел на Раждена Каладзе и о чем-то думал, слушая, как Ражден снова повторяет свои доводы в пользу новогодней забастовки. Ражден был бы хорошей натурой для скульптора — широкие плечи, крупная голова, борода веером и умные, с хитринкой, глаза — глаза человека, который не даст жизни схватить себя за горло, а сам прижмет ее лопатками к земле по всем правилам борьбы.

Комитет еще слаб, нерешителен. К Джибладзе, как к старшему по возрасту и по опыту революционной работы, многие прислушиваются, уважают его, считаются с ним. А он теперь без устали доказывает, что только легальная работа принесет зрелые плоды. Джибладзе не только отстаивает свою точку зрения, он даже прекратил занятия в рабочем кружке. В комитет входят рабочие — Аракел Окуашвили и Закро Чодришвили. Они уверенно защищаются и нападают, когда речь идет о чем-либо знакомом им, понятном, а если спор теоретический, переводят взгляд с Джибладзе на Каладзе и отмалчиваются. Саша Цулукидзе всей душой на стороне Раждена и Ладоса. Саша Шатилов тоже склонен меньше рассуждать, больше делать. Когда Ражден, который вел занятия в кружке рабочих конки, сказал, что кутерам и кондукторам

нужно помочь провести забастовку, Джибладзе принялся возражать. Пришлось привести на заседание комитета рабочего конки Артема Чачава. И только после этого Джибладзе и его сторонники нехотя уступили.

На мостовую и тротуары посыпались мокрые хлопья снега. Ладо поднял воротник и зашагал дальше. Ноги мерзли. Где бы посидеть до двенадцати? Пойти к брату Ваню? Он, наверное, дома, вернулся из театра. Немало трудов стоило приохотить брата к опере. А ведь он хорошо поет, и слух у него есть. Тот, кто вырос в деревне, не сразу воспринимает условность театрального спектакля. Ближе всего сердцу грузинского крестьянина поэзия. Поэтому стихи Акакия Церетели распространяются как на крыльях ветра.

Нет, к Ваню идти не стоит, мало ли что может быть, осторожность сегодня на первом месте. Что надо сделать обязательно, так это сбрить бороду. Кажется, где-то в переулке есть парикмахерская.

Он свернул в переулок и заглянул в покрытое изморосью стекло. Сухонький старичок-парикмахер укладывал в футляр бритву. Ладо постучал в окно. Старичок открыл дверь.

— Примите, пожалуйста, запоздалого клиента, — попросил Ладо.

Старичок вздохнул.

— Прошу пана. Сегодня такой вечер... Молодость всегда торопится, но часто не успевает. Что прикажете?

— Сбрить бороду, — ответил Ладо, снимая пальто и шляпу.

— Такую роскошную бороду? Садитесь в кресло. Может, я только коротко подстригу?

— Увы, это связано с Новым годом.

— А-а, понимаю. Паненка любит бритых. Когда-то давно, в Варшаве, пани Эльвира сказала мне: «Я поцеловала бы вас, если бы не борода». «Один момент, пани», — сказал я и вышел. Но когда я вернулся без бороды...

Старик говорил почти без умолку, быстро работая ножницами, потом бритвой.

— А ведь вы совсем еще молодой, — сказал он, — борода очень старит, и я понимаю вашу паненку. Она вас не узнает. Одеколон? Вежеталь?

— Спасибо, не надо. С наступающим Новым годом. Желаю вам вернуться в Варшаву.

— Благодарю пана, но это невозможно. Примерно в вашем возрасте я участвовал в 1863 году в польском восстании, и меня сослали на Кавказ.

— Сколько же вам лет?

— Шестьдесят. Я одинок, как перст. За стеной у меня комнатка, веранда, за верандой садик. Цветы — единственное, что меня радует.

Участник восстания, выход в сад — грех упускать такой случай. Ладо нащупал в кармане оставшиеся деньги. На бутылку вина хватит.

— Меня ждут только к двенадцати. Разрешите я схожу за вином, и мы разопьем его с вами.

— Езус Мария! — Старичок захлопал в ладоши. — Никуда не надо ходить. У меня припасена бутылка старой польской водки, выдержанное вино из подвала Багдоева, есть тешка, пикули, лимбургский сыр! Прóшу пана. Разрешите представиться — Игнаций Поклевский. Не Падлевский, известный участник польского восстания, а Поклевский.

— Давид Деметрадзе, конторщик.

Старичок запер дверь, и они перешли в небольшую комнату. На стене висели вид Варшавы и распятие. Старичок зажег лампу.

— Вы не слышали о Падлевском? — спросил он, накрывая на стол. — О Лянгевиче тоже не слышали? Он был небольшого роста, как я. Садитесь, пожалуйста, сюда. Говорят, что люди невысокого роста властолюбивы. Лянгевич подтверждал это мнение, а я опровергаю. Лянгевич — офицер, гарибальдиец, он тоже был участником восстания... Так вот, Лянгевич объявил себя диктатором... Вам водки или вина?

— Вина, пожалуйста.

— Себе я налью водки. С наступающим Новым годом, пан Деметрадзе. Берите пикули, тешку. За вашу и мою родину!

Ладо выпил вино и почувствовал, что начинает согреваться.

— Сколько было надежд, — сказал Поклевский, — все бурлило, кипело. Мы пели «Еще польска не згинела» и были полны надежд... Нас раздавили. Да-а, сколько крови было пролито, сколько молодых было порублено... Теперь по второй. За наше знакомство. Не возражаете?

— Нет, конечно.

— Я был ранен вот сюда, в плечо. Почему-то вместо Сибири меня отправили на Кавказ. Я сбежал к черкесам, чтобы сражаться с русскими, а черкесы посадили меня в яму, как раба. О, это тысяча и одна ночь! Русские войска меня освободили. Ирония судьбы. Все оказалось бессмысленным. И я остался здесь. Простите, что я так болтлив. Вы думаете, что я плохой поляк, что я должен был вернуться в Варшаву... Нет, сказал я себе, нет! Выбери себе скромную профессию, которая всегда будет нужна людям, и оставайся здесь, потому что в Варшаве тебя снова могут позвать на баррикады. Плод моих долгих размышлений: люди должны стремиться к маленькой,

полезной всем работе, и тогда не будет ни войн, ни бед. Я так живу, и я почти счастлив.

— Вы не были женаты?

— Я боялся, что меня все-таки отправят в Сибирь и семья моя останется без куска хлеба.

— Завтра другой Поклевский откроет рядом с вами большую парикмахерскую, и все ваши клиенты пойдут туда, и вам не на что будет жить.

— Об этом я и говорю. Не надо больших парикмахерских, не надо, чтобы один притеснял другого. Вы улыбаетесь? А ведь это так просто. Только как сделать, чтобы все люди поняли?.. Вы, может быть, думаете, что я трус?

— Нет.

— Напрасно. Я вам признаюсь, я до сих пор боюсь. Сюда ко мне заходит бриться жандармский офицер. Он каждый раз говорит, чтобы я признался в своих связях с революционерами. Я потом ночь не сплю. Он шутит, я знаю, и все же...

— А если бы вам в самом деле предложили спрятать у себя запрещенную литературу или приютить человека, которого преследует полиция?

— Езус Мария, бог с вами! Я мечтаю дожить свою жизнь спокойно.

— Простите меня, я не хочу вас обидеть, но разве бояться жандармского офицера или появления другого Поклевского с его большой парикмахерской — значит жить спокойно?

— Покой мне дают цветы. В моем садике я забываю обо всем. Налейте себе вина и скажите тост, теперь ваша очередь. Признаюсь вам еще в одной своей мысли. Иногда я думаю: а почему бы тебе не пойти по свету и не начать рассказывать людям о том, как им надо жить? Но ведь если я поступлю так, значит я поставлю себя выше других, стану кем-то

вроде другого Поклевского с его большой парикмахерской, кем-то вроде Лянговича, который объявил себя диктатором. Разве человек имеет право говорить другим: «Я пророк, делайте, как я!»? Простите, я снова разговорился. Жду вашего тоста.

— Я хочу выпить за ваших товарищей, за тех, кто, не боясь ничего, думая только об освобождении своей родины, погиб с оружием в руках!

— Я понял ваш тост, вы ответили мне.

Поклевский опустил седую голову, потом посмотрел на Ладю.

— Взгляд у вас вызывающий, а глаза добрые. Я позволю себе несколько по-иному повторить ваш тост. Пусть мои мятежные товарищи починят в мире. Вы сказали, что вы конторщик. Мое хорошее пожелание вам — займитесь цветами.

— Мне пора, — сказал, улынувшись, Ладю. — Уже половина двенадцатого.

— Да, да, спешите к вашей паненке. Уверен, что она красива. К сожалению, сейчас зима, а то я собрал бы вам букет.

— Примите и мое пожелание, господин Поклевский. Не бойтесь жандармского офицера. Когда будете брить его, вспомните, что в руках у вас бритва.

— О нет! Я лучше сменю профессию.

— Я пошутил, мой добрый хозяин. Благодарю вас. До свидания.

Они попрощались. Ладю оделся, вышел в затянутый снежной мглой переулок и свернул на безлюдный Михайловский проспект.

Ражден ожидал Ладю в духане. Ладю с порога посмотрел на гриву волос, широкую, словно взбитую бороду Раждена и улыбнулся. Играя под мастерского, Ражден заказал водку и пиво.

— Здорово, друг! — по-русски крикнул ему Ладос.

Духанщик повернул к нему багрово-синее лицо и отвернулся. Духанщики не опасны, они знают, что повышенный интерес к посетителям грозит снижением барыша.

— Попроси, чтобы тебе подали рюмку и стакан, — сказал Ражден.

Ладос сел за столик.

— Не буду пить. Разве не чувствуешь, что от меня пахнет хорошим вином?

— Где это ты?

— У одного испуганного старикашки, основателя мира маленьких людей, лишенных властолюбия.

Ражден расправил свои сильные плечи и усмехнулся.

— Маленьких?

— Тебе не хочется запустить бутылкой в лампу? — спросил Ладос.

— Еле удерживаюсь.

— Долой тишину!

— Я силен сегодня, как буйвол! — объявил Ладос. — Я вижу завтрашний день, как с горы: поднимаются все, большие, сильные, как стадо разъяренных буйволов. За первой волной другая, третья!.. И тогда музыка, песни, солнце — все свободны, люди высокие, красивые. Вместо подвалов — дворцы. Какая ночь сегодня, Ражден, я запомню ее на всю жизнь!

Они смотрели друг на друга и смеялись.

— Ты уверен, что поднимешь их? — спросил Ражден.

— Уверен. А вот и Чачава пришел, — сказал Ладос, заметив в дверях человека в шинели рабочего конки. Рабочий направился к их столику. У него были запавшие глаза, прокуренные рыжеватые усы подчеркивали глубокие складки у рта.



— С Новым годом,— сказал он.

— Садись, Артем,— Ражден налил ему и себе водки.

Чачава посмотрел на рюмку, взял ее в свою широкую руку.

— Будьте здоровы!

— Сегодня начинается новый год,— сказал Ладос.— Последний год девятнадцатого века. И начинаем его мы.

Артем промолчал.

— Ты всегда такой спокойный?— спросил Ражден.

— Научился. Били много. Народ собирается, коп-дуктора пришли, скоро подойдут кучера.

— Охотно собираются?— спросил Ражден.— Или уговаривать надо?

— Неволя всех гонит. Голодные, злые, деться пекуда.

— Завтра почувствуете себя по-другому,— обещал Ладос.

Они вышли на улицу. Небо осветилось со всех концов города. К облакам вознеслись разноцветные ракеты. Затрещали выстрелы — из охотничьих ружей и револьверов.

— Слышишь, салютуют нам,— сказал Ражден, толкнув Ладос в бок. Ладос рассмеялся.

Они дошли до парка Муштайда, свернули в переулок. Кто-то отделился от стены.

— Артем? Возьми шинели.

Ладос и Ражден надели поверх пальто форменные шинели. Узкий, длинный двор. Дверь. За дверью сотни людей. Ладос и Раждена подняли и с рук на руки передали в другой конец комнаты. Они встали на скамью. Первым заговорил Ражден.

Огоньки свечей колыхались от дыхания людей. 289

Здесь были и грузины, и русские, и армяне, и осетины, и, чтобы все поняли, надо было говорить по-русски, коротко, простыми, доступными всем словами. Говорить о забастовке — что она даст, какие требования предъявить дирекции, как вести себя.

Рабочие жадно всматривались в Раждена и Ладю — словно только от них могли прийти облегчение и надежда. Одно из лиц было знакомо. Кажется, этот парень с острым, вдавленным в грудь подбородком занимался в кружке у Ладю. Не то Темура, не то Теймураз.

Еще одно лицо показалось ему знакомым. Кто это? Широкий лоб, пересеченный одной глубокой морщиной. Гасан? Нет, не может он быть здесь. Ладю снова отыскал горбатого парня — тот не сводил с него острых враждебных глаз. Рядом стоял русский рабочий. У него были вынуклые злые глаза. Странно, что два разных человека могут смотреть так одинаково.

Ражден сказал, что теперь будет говорить другой товарищ. Ладю заговорил от волнения хрипловато и негромко. Было слышно, как потрескивают фитили свечей.

— Сегодня новогодняя ночь. Вы люди. Как и все другие. Но вы здесь. А ваши хозяева сидят дома со своими семьями, друзьями, знакомыми. Вы голодны, а ваши хозяева вкусно едят. И поросята у них на столе, и индейки. Они пьют дорогие вина...

В первом ряду стоял седой рабочий. Усталые глаза его стали нечальными. «Да, все правильно, — прочитал в них Ладю, — но так устроен мир, и в нем ничего не изменишь».

— Таких позабытых богом и хозяевами рабочих, таких угнетенных, как вы, нет нигде...

«А ты не ошибаешься?» — спросили глаза старика. Ладю бесстрастно, по-деловому сообщил:

— В железнодорожных мастерских после забастовки установлен одиннадцатичасовой рабочий день, как записано в законе. А вы работаете когда по тринадцать, а когда и по восемнадцать часов. Самый последний мастерской в городе не получает меньше рубля двадцати копеек в день, а вы не получаете и рубля. Все рабочие в воскресенье дома, а вы даже в повогоднюю ночь на работе.— Он повысил голос.— Вы до утра будете развозить по городу пьяных чиновников — от дома к дому, с одного кутежа на другой. Разве такое можно терпеть?

Язычки коптилок и свечей заметались от общего крика.

Горец, пуская лошадь в галоп, ослабляет поводья и гикает, чтобы лошадь пришла в ярость. Подобно всаднику, Ладо закричал:

— Решайте тогда! Подкрепите свое слово делом! Покажите свою силу! Поднимите свои мозолистые руки, сожмите их в кулаки. Долой ваших врагов, ваших хозяев!

— Бить их! Бить! — пронзительно крикнул рабочий, похожий на Гасана.

— Бить!

— Бить!

Ничего не надо было больше. Ладо прочел требования рабочих, предложил выбрать делегатов, которые завтра пойдут к директору Роббу.

Старый рабочий выбрался из толпы, встал на скамью рядом с Ладо и улыбнулся ему, как другу. Глаза у него были светлые, голубые. Так улыбается человек, который, проснувшись после долгой зимней ночи, вдруг замечает, что на дворе весна и снежные сугробы плавятся под горячими лучами солнца.

— Братцы, — сказал он, — давайте не расходиться. Останемся тут до утра. А то дома бабы расхпы-

чутся, отговаривать начнут, глядишь, кто-нибудь поддастся, и в общей стене нашей кирпичей не хватит. А дыра — дыра и есть, в нее что хошь потом просунуть можно и всю стену развалить. Останемся?

Одобрительными выкриками и смехом рабочие поддерживали его. Раждена и Ладю снова передали на руках к выходу.

Они вернули Артему шинели и, обнявшись, пошли по Михайловскому проспекту. Снег перестал падать. Развеселые прохожие, встречая Ладю и Раждена, кричали:

— С Новым годом!

— С Новым годом! — дружно отвечали они.

Дошли до памятника Воронцову, пожелали ему свалиться с пьедестала и свернули в Михайловские номера. Сонный портье открыл им комнату. Ражден сразу заснул. Спал он тяжело, ворочался с боку на бок и храпел. Ладю заснул только на рассвете. Ему приснилось, что он косит в поле ячмень. Едва он взмахивал косой, как откуда-то издали его окликал Ражден. Он шел искать Раждена, не паходил, возвращался, и только брался за косу, как Ражден снова звал...

Утром Ражден разбудил его. Они вышли на улицу. Ражден сбрил бороду, и им было очень смешно от того, что лицо Раждена совершенно преобразилось. Они не оглядывались, не смотрели по сторонам, и прохожие расступались, принимая их за подвыпивших кутяк.

Показались лошади, одинокий вагончик. Ладю нахмурился, но всмотревшись, закатился в хохот. Вместо кучера лошадьми правил лакей директора конки. На нем был фрак, и даже белые перчатки он не снял — с такой поспешностью хозяин погнал его в парк копки.

Народ толпился на остановках, все с недоумением смотрели на кучера во фраке и в белых перчатках, и в вагончик никто не садился.

Они повернули обратно — надо было поскорее узнать, что происходит в парке конки. Широким хозяйским шагом они дошли до обсерватории и вдруг увидели вдали длинную вереницу вагонов.

— Наверное, цтрейкбрехеры, — осипшим голосом сказал Ражден.

Ладо побежал в сторону парка. Ражден еле успевал за ним. На перекрестке Ладо остановился как вкопанный.

Цокали подкованные копыта. Посреди мостовой на большом чалом коне ехал жандармский офицер. За ним — с шашками наголо — казаки. Вдоль тротуаров шли пешие полицейские.

— Рабочих ведут, — вполголоса произнес Ражден, — узнаешь?

Ладо не ответил.

Рабочие брели, не глядя по сторонам, опустив головы. Почти все были без фуражек, у многих на лицах — синяки, запекшаяся кровь. Прохожие столпились на тротуарах.

— Из-за этих смутьянов копка не работала. Слава богу, навели порядок.

— Я видел через ограду, как трупы увозили, шашками были зарублены.

— Не бунтуй. Никто не давал права нарушать законы государства.

— Не болтайте, барышня, постыдились бы. Вы сыты, обуты, а эти...

— Отстаньте, а то городского позову.

— Посмотрите, посмотрите, какой суродованный! Ладо охнул.

За полицейским, прихрамывая, шел седой рабочий. Кроваво-черная рана от шашки, ничем не перевязанная, пересекала голову. Он повернулся к тротуару и посмотрел на Ладю и Раждена правым глазом, со светлым, словно остекленевшим зрачком.

Ладю рванулся на мостовую, но Ражден успел обхватить его сзади за плечи и оттащил назад.

— С ума ты сошел? Успокойся.

На них стали оглядываться. Ражден не выпускал Ладю и громко, чтобы зеваки и городовые слышали, уговаривал:

— Ну, пойдем. Опохмелишься, легче станет. Говорил, не надо столько...

Сведенные судорогой мышцы Ладю расслабились. Ражден опустил руки.

— Пойдем?

Ладю кивнул.

Сделав несколько шагов, он остановился и посмотрел в глаза Раждену.

— Ты видел их? Нет, ты скажи, ты видел, как их вели? Седого старика ты видел?

Еще несколько стремительных шагов, и он снова остановился, сжимая рукой горло. Так путник, совершивший долгий путь, натывается на пропасть, в которую смыло дорогу, и не знает, что предпринять. Слева откос уходит вверх, справа и впереди — обрыв. Он измеряет взглядом ширину пропасти. Может, попытаться перепрыгнуть через нее?

— Ражден, — сказал он, — я пойду к Аракелу Окуашвили, а ты разузнай, кто убит.

— Для чего тебе Аракел Окуашвили?

— Он найдет людей в железнодорожных мастерских, я возьму у Саши Шатилова револьверы. Рабочих убивали утром, мы будем убивать вечером. Террористические акты! Ты узнай, точно узнай, сколько

убитых. За одного положим двоих. Нет, троих, сколько сможем! Встретимся в духане на углу Некрасова и Николаевской.

Они разошлись.

Ражден снова направился к парку конки, Ладос пошел к Окуашвили, а от него — к Джибладзе и Шатилову.

Когда Ражден увидел Ладос, он сидел за столиком и почему-то рассматривал свои руки. По щекам его, уже заросшим после вчерашнего бритья, текли слезы.

— Что, Ладос? — спросил Ражден.

Он подвинул голову.

— Закажи пива, у меня нет денег.

— Человек, две бутылки пива! Есть хочешь?

— Есть? Не хочу.

Он снова принялся рассматривать руки.

— Что решил, Ладос?

— Кто решил? Ах, да, решили... Террористических актов не будет. Уцелел кто-нибудь из наших в парке конки?

— Артем жив, его посадили в тюрьму. Про остальных не знаю.

— Да? Хорошо, что Артем жив. Я не заметил его, когда их вели.

— Не всех вели по Михайловскому проспекту.

— Куда увезли убитых?

— Не знаю. Наверное, в морг. Родным вряд ли отдадут убитых для похорон. Почему не пьешь пиво?

— Не хочется.

— Тебя ищут жандармы, Ладос. Кто-то тебя узнал и назвал.

— Да?

— Надо спрятаться. Пойдем к моему приятелю. Квартира надежная, там нас не будут искать. Что ты рассматриваешь руки?

— Разве? Ты видел, у одного из рабочих была отрублена кисть руки?

— Тебе показалось.

— Тогда я не обратил внимания, а сейчас вспомнил. Рука была обмотана рубашкой, а кисти не было. Может, не всей кисти, а пальцев. Рука была какая-то короткая.

— Хватит терзать себя, Ладо. А почему не пошли на террористические акты?

— По разным причинам, по разным соображениям: провала стачки этим не поправишь, еще больше всполошатся жандармы, вдруг раскроют комитет, пельзя рисковать собой, сила пока не на нашей стороне, у них винтовки, казаки, полиция, армия, а у нас два десятка револьверов... Как он брел, тот седой старик с разрубленной головой, без одного глаза... Что делать, Ражден, что? Я пойду на их похороны, я скажу их вдовам, их осиротевшим детям...

— Тебя схватят жандармы, Ладо. Мы не пустим тебя на похороны.

— Я должен!

— Встань, пойдем. Не надо думать об этом. Без жертв нельзя.

— У человека есть право принести в жертву себя, а не других. Я цел, невредим, а их нет...

— Ты сам не знаешь, что говоришь.

Ражден расплатился, и они вышли из духана.

Ладо молчал. Когда они пересекли Головинский проспект, он сказал:

— Давай поднимаемся на Мтацминду.

— Что ж, пойдем. Надеюсь, полицейских там сейчас не окажется.

Они стали подниматься по крутому подъему, и Ражден задохнулся.

— Не беги так.

Ладо остановился и посмотрел на город, тонущий в оранжевом предвечернем свете солнца.

— Я пойду вперед. Ты найдешь меня у церкви.

Он зашагал дальше и скрылся за поворотом.

Когда Ражден вошел в ограду церкви, Ладо стоял и смотрел на видневшуюся вдали вершину Казбека.

У входа в церковь сидели трое старых нищих, пахло ладаном, в притворе кто-то вслух молился.

Ражден подошел к Ладо.

— Мчит, несет меня без пути и следа мой Мерапи,— негромко произнес Ладо начало стихотворения Бараташвили.

Навстречу им полз на коленях человек. Руки у него были обмотаны тряпками, сквозь них просачивалась кровь. Он, видимо, ободрал руки о камни. Брюки на коленях были разорваны, измученное лицо с открытым ртом поднято к небу, по загорелому лбу катился пот. Он хрипло дышал. За ним плелась сгорбленная старуха с кувшином воды в руке.

— Передохни, сынок, воды вышей,— попросила она.

— Нет, мама,— прохрипел он,— уже немного осталось, доползу.

— Дал обет,— сказал Ражден,— или грех замаливает. Дикость, самоистязание.

— Может быть, он не нашел другого выхода, не падо осуждать его, ведь мы ничего не знаем о нем.

Подследственный и следователь

Ладо проводил взглядом вагончикковки, который прополз по мосту. Девять месяцев он в камере-одиночке и каждый день, *выгляды...* 297

вая из окна, видит эти вагончики — напоминание о новогодней ночи и первом дне Нового года.

Повезло, что типография находится под камерой. Он сумел договориться с печатником, и тот стал «почтальоном», снимает с опущенной сверху нитки записку и привязывает другую. Какими путями передает печатник почту дальше, он не знает. Но зато, более или менее регулярно, сведения из внешнего мира доходят до него. «Нина» жива и действует. «Брдзола» продолжает печататься. Только теперь она называется «Пролетариатис Брдзола». Учащаются стачки, забастовки, демонстрации. Он не раз слышал далекие выстрелы в городе, потом узнавал, что казаки стреляли по демонстрантам, и не спал ночами. Авель сообщил также, что в Тифлис приехал Максим Горький и часть сборов от спектакля «На дне» пожертвовал Кавказскому комитету. Авеля больше не допрашивают. Гришу Согорашвили отпустили как душевнобольного.

Сегодня надзиратель предупредил, что Ладо снова вызовут на допрос. Что еще хотят от него? Не успел он об этом подумать, как к двери подошли, и вамок шелкнул.

Молодой безусый и безбровый солдатик повел Ладо темным коридором.

— Откуда родом, братец? — спросил Ладо.

— Запрещено с вами разговаривать.

— От того, что я скажу тебе — здравствуй, беды не будет.

— Будет.

— А ты так, чтоб не слышали. Думал когда-нибудь, за что людей в тюрьме держат?

— Против царя идете.

— Раз против царя, значит, за народ. Верно?

— Поменьше бы вас, радетелей, и нам послабление было бы.

Сколько раз уже приходилось слышать эти слова. «Царь-батюшка и его министры заботятся о народе», «те, кто против царя, мешают ему проявлять заботу», «поменьше бы радетелей о народе, легче бы народу стало». Простая и надежная система. Но она изживает себя, подобно тому, как снашивается от долгой носки рубаха. Сколько ее ни латай, сколько ни стирай, а пятна становятся темнее, дыры больше.

Конвоир подвел Ладо к знакомой двери. Кто сегодня будет допрашивать — товарищ прокурора или Лунич?

В комнате за столом сидел ротмистр.

— Здравствуйте, господин Кецховелл, — мрачно произнес он. — Садитесь. Давненько вас не видел.

Ладо сел.

— Господин ротмистр! Прежде чем вы начнете, объясните, почему, несмотря на ваше обещание, мне до сих пор не передали книги, которые я просил?

— Не разрешено его превосходительством генералом Дебилем, — сказал Лунич, — ввиду специального подбора книг, направление которых совпадает с вашими политическими взглядами.

— Бойтесь, что чтение этих книг укрепит меня в моих взглядах? Трогательная забота. Ну, а Шекспира и Гейне почему не разрешили?

— Не знаю. Выясню. Получите своих Гейне и Шекспира, — проворчал Лунич. — Хотите еще что-нибудь спросить?

— Да. Когда вы закончите следствие и когда состоится суд?

— Следствие закончится тогда, когда вы соизволите наконец разговориться.

— Иначе говоря, продлится всю жизнь. Так? Но ведь существуют установленные законом сроки. Я буду жаловаться начальнику жандармского управления и губернатору. Сначала вы тянули, держали меня более трех месяцев без допросов, а теперь никак не закончите следствие. Будет суд или его вообще не назначат?

— Почему вы так заинтересованы в суде? Надеетесь на суде высказаться? Времена, когда подсудимым предоставляли в суде трибуну, миновали, господин Кецховели. Хотите, я расскажу вам, как это будет выглядеть?— Лунич усмехнулся.— На суде смогут присутствовать только те, кому председатель суда подпишет входные билеты, их мы тоже проверим на всякий случай. И зал для судебного заседания будет мал. В зале не будет ваших единомышленников, а представители газет ничего из того, что вы скажете, не напечатают, они поместят проверенный нами текст, если вообще получают разрешение на публикацию.

— Бойтесь гласности? Вы сами себя сечете. Ведь боятся гласности только слабые.

— Скорее всего вам объявят приговор прямо в тюрьме,— сказал Лунич.— Что ж, начнем допрос заново.

— Если вам не хочется, к чему повторять старые вопросы. Разнообразить ответы я вовсе не собираюсь!

— Надо. Служба.

Он действительно начал спрашивать заново, но без азарта, с которым вел допросы месяца два назад.

Лунич давно уверился, что Кецховели, который все известное жандармам брал на себя и никого из пособников не назвал, никогда не проговорится. На последней беседе с генералом Дебилем Луничу было сказано, что результатами следствия начальство не-

довольно и что, независимо от того, в чем Кецховели будет уличен, дело его необходимо всячески раздуть. «Нужно подобрать должные фактики и сделать необходимые следствию выводы». Луничу покорило. Конечно, он сделает требуемые начальству выводы, но сочинять факты?! Все-таки он привык работать с профессиональной основательностью.

У Луничу снова появилось ощущение неудачи. И вдобавок, чем чаще он виделся с Кецховели, тем больше нравился ему этот человек, особенно своей прямоотой и честностью в том, что не относилось к делу.

Лунич приказал, чтобы ему сообщали о поведении Кецховели в камере, и он знал, что его подследственный бывает и спокойным, и подавленным; и веселым — безо всяких явных внешних причин. Кецховели часто пел, по утрам он кричал петухом и звал по имени заключенных, устраивал нечто вроде утренней переключки, иногда переговаривался с горожанами через Куру, наконец, он рисовал в тетради и на стенах шаржи, в том числе и на Луничу. Разговоры Кецховели были совершенно безобидны и ничего нового следствию не дали.

Пора уже было дело закруглять, но Лунич тянул, надеясь, что все же удастся найти у Кецховели ахиллесову пяту, тянул и по какой-то неясной ему самой причине. Хитрить с Кецховели Лунич перестал, потому что боялся снова попасть в смешное положение, но отказаться от привычной системы следствия он тоже не мог, хотя не раз замечал насмешливую улыбку в глазах подследственного, из-за чего раздражался, выходил из себя, а потом жалел об этом.

Посмотрев в лицо Кецховели, он сказал:

— Такое впечатление, будто вы рады встрече со мной. Улыбаетесь...

— Все-таки нечто новое после одиночества и бедности крыс.

— Гм... Что ж, приступим.

Задавая вопросы и записывая ответы, Лунич думал о том, каким образом Кецховели оказывает такое сильное влияние на всех арестантов, даже на уголовников. Смотритель тюремного замка Милов пожаловался Луничу: порядок в тюрьме зависит не от начальства, а от Кецховели. «Перевели бы вы его, ваше высокоблагородие, в военную тюрьму...» При всей смехотворности жалоб Милова понять его можно. Милов, чтобы прекратить разговоры заключенных, распорядился забить окна щитами, или, как их называли, гробами. Кецховели передал через надзирателя, чтобы гробы сняли. Милов, разумеется, своего приказа не отменил. На другой день в тюрьме начался бунт — арестанты кричали, разбивали стекла табуретками, не впускали надзирателей в камеры. Шум был такой, что вокруг замка собралась толпа горожан. Начались разговоры об истязаниях арестантов. Милова пригласили к губернатору, и тот распорядился, чтобы щиты с окон сняли.

Лунич был уверен, что если бы протест был высказан кем-либо другим из арестантов, тюрьма, возможно, его не поддержала бы, а вот Кецховели послушались все, и это было совершенно необъяснимо, особенно трудно такое понять, когда видишь перед собой спокойного, с задумчивыми глазами человека, ничем не напоминающего грозного вожака, властного атамана бунтовщиков.

Луница иногда тянуло вернуться к их первому разговору, к тому, почему Кецховели спросил его, не участвовал ли он в карательной экспедиции. Кецховели не мог, в этом Лунич был уверен, видеть или знать о том, как он сбил конем мальчишку, но само

совпадение вопроса Кецховели и воспоминания о том незначительном случае, вдруг ожившем в памяти, вызывало неприятную настороженность.

— Значит, вы подтверждаете, что вами лично было доставлено в Баку около шести пудов нелегальной литературы?— спросил он и, не дожидаясь ответа, вписал в протокол: «Подтверждаю».

— Да,— сказал Ладю.

— Откуда?

— Отказываюсь отвечать.

Записывая ответы Кецховели, Лунич отвлекся, задумался об Амалии. Отношения с ней складывались иначе, чем с другими женщинами. У нее Лунич теперь почти не бывал. Чаще она приезжала к нему. Разгильдяй Гришка, всегда фыркавший по поводу мамзелей, которых приводил к себе Лунич, при виде Амалии расплывался в улыбке. Амалия, как и прежде, мало говорила, но слова ее или замечания бывали естественными и искренними. Несколько раз Лунич поймал себя на том, что любит ее, а на прошлой неделе он поцеловал ее с нежностью, которой никогда в себе не замечал. «Расслаб и разнюхался»,— с досадой тут же подумал он и принялся издеваться над ней, постепенно ожесточаясь. Она разрыдалась. Он успокоился и заснул. Проснулся от пристального взгляда и увидел, что она сидит и смотрит на него какими-то странными глазами.

Лунич взглянул на Кецховели. Интересно, была у него возлюбленная или нет?

— Где находится тайная типография?

— Я спрятал ее в надежном месте.

— Где именно?

— Отказываюсь отвечать.

— Бывали ли вы за границей, а именно— в Швейцарии, Франции, Бельгии и Германии?

— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.

Лунич записал ответ и вдруг вспомнил, что раньше Кецховели подтвердил, что был за границей. Почему он держится теперь другой тактики?

— Где вы приобрели паспорт на имя Бастьяпа?

— Отказываюсь отвечать.

Ладо решил не отвечать на многие вопросы Лунича, чтобы от усталости случайно не сбиться. А слова «отказываюсь отвечать» падежны, как глухой занавес.

Лунич задумался. Независимо от ответов Кецховели связь с заграничными центрами эсдеков можно считать установленной. Так и запишем, на радость Дебилю.

Глядя на Лунича, Ладо приблизительно догадывался, о чем он размышляет. Но Луничу не разгадать ничего. Ни разу он не спросил о «Брдзоле», а это подтверждает — ротмистр уверен, что «Брдзола» доставляется из-за границы. Статьи Ладо «По поводу столетнего юбилея» и «Рабочее движение на Кавказе» были без подписи. Не только Луничу, большинству эсдеков неизвестно, кто был их автор. Не знал следовательно и о его поездках по Грузии, по России, о том, что он в 1900 году работал во Владикавказе...

Похоже, что Лунич устал или махнул рукой на результаты следствия. Лунич чем-то примечателен, в нем заметно внутреннее беспокойство, совершенно отсутствующее у Милова или товарища прокурора. В остальном он такой же, как они, так же не понимает, что государство разваливается, что задержать, приостановить этот процесс невозможно, что, лишая людей свободы, заключая их в тюрьмы, наказывая и убивая, жандармы сами ускоряют разложение режима, которому служат, потому что чем ревностнее они



служат государству, тем сильнее становится недовольство.

— С Курнатовским знакомы? — спросил Лунич. — С Аллилуевым? С Ваню Стурца?

— Нет. Нет. Не знаком, — отвечал Ладю.

— А с князем Ильей Чавчавадзе вы лично знакомы?

— Нет.

Значит и Илья под негласным надзором полиции? Илья — руководитель и участник многих полезных начинаний — от распространения грамотности до помощи несправедливо осужденному крестьянину. Он самый большой в Грузии писатель-прозаик. И он крупный помещик. Но в рассказах своих всей душой на стороне бедняка-крестьянина. Он родовитый, потомственный дворянин, князь, но в повести «Человек ли он?» создал яркий образ обнищавшего духом, превратившегося в полуживотное провинциального дворянина Луарсаба Таткаридзе. Служилое дворянство, помещики обвиняют из-за этого Илью в том, что он не патриот. Социал-демократы приветствуют рассказы Чавчавадзе за их социальную направленность и клеймят дворянство нарицательным прозвищем Луарсаба Таткаридзе. Но Илья считает, что, борясь с колониальным гнетом России, все сословия должны объединиться на родной грузинской почве, что забастовки ослабляют силу народа, и когда забастовали наборщики типографии Шарадзе, где печаталась «Иверия», вызвал полицию для расправы с забастовщиками. Дебили и Лунич одобряют такие шаги Чавчавадзе, но взгляды его, и рассказы, и вся общественная деятельность приходится им не по вкусу. Какая сложная и трагическая фигура!

— Так-с, — сказал Лунич. — И последний вопрос, тоже для вас не новый. Даю слово, что ни вопрос,

ни ответ ваш я не занесу в протокол. Почему все-таки вы отделились в руки бакинской жандармерии?

Непонятно было, какого скрытого смысла доискивается ротмистр в поступке Ладо, почему его так это занимает и беспокоит.

— Я много раз уже объяснял, что хотел уберечь людей, не имеющих отношения к созданной мной типографии, — устало ответил Ладо, — они не должны отвечать за меня.

Черт его знает, почему, но Лунич вдруг поверил. Отодвинув лксты протокола, он откинулся на спинку стула. Подумав, удивился еще более. Неужто другие политические арестанты такие же, и Лунич не замечал этого раньше, ведя дознания? Нет, не может быть, чтобы все были такими, это было бы слишком невероятно, слишком страшно. Можно ли представить себе, чтобы Дебиль пожертвовал собой ради спасения Лунича или чтобы он — Лунич — отдал себя в руки врагов ради спасения денщика Гришки? Да он и кончика ногтя за Гришку не отдаст. Государство российское стояло и стоит на том, что Гришка обязан жертвовать собой за Лунича, а если этот незыблемый порядок изменится, если все революционеры такие, как Кецховели, — империи конец, всему конец!..

— Нет, — сказал Лунич, — нет, вы не потому называли себя. Вы понадеялись на растерянность подковника Порошина, и не ошиблись. Пока Порошин и Вальтер занимались вами, ваши сообщники успели спрятать типографию, на это вы и рассчитывали.

Ладо пожал плечами.

— Типографию спрятал я. Но если бы даже и так, как вы говорите, то что из того?

Лунич помрачнел.

— Ничего.

В самом деле, это ничего не меняет.

— Вы ведь отпустили Виктора Бакрадзе и других, убедились, что они непричастны к делу? — сказал Ладо, не понимая нервозности ротмистра.

— Это верно. Скажите, господин Кецховели, — подавленно спросил Лунич, — а что вы думаете обо мне?

— О вас? В каком смысле?

— Будь я в Баку на месте Вальтера и Порошина, отпустил бы я Бакрадзе?

Ладо недоумевающе посмотрел на ротмистра.

— Я думаю, что не отпустили бы, хотя теперь, возможно, пожалели бы об этом... Разве вам не приходилось жалеть о каких-то своих поступках?

Лунич сухо засмеялся.

— Мне еще не приходилось жалеть о содеянном, надеюсь, и в будущем не придется. Я верно служу отечеству.

— Но есть ведь и собственная совесть, — сказал Ладо, — хотя в вашем уставе о ней ничего не говорится, равно как и в присяге.

— Вижу, что роль проповедника, вернее, гадалки, вам по душе.

— Вы задали вопрос, не имеющий отношения к моему делу, я ответил, как думаю, и только.

— Скажите, а вы сами совершали что-либо такое, о чем, хотя это не сказано в вашем революционном уставе, вы жалеете с позиций собственной совести?

— Я человек, как и все. Только мой взгляд на совесть расходится с вашим.

Надо было прекратить этот противоестественный разговор. Лунич кашлянул.

— Вечно вы сбиваете меня, уводите в сторону от дела. Вот, подпишите.

— Я сбиваю?

Ладо внимательно посмотрел на Лунича и, не читая, расписался на каждой строке.

Лунич насторожился.

— Вы не прочитали протокол и расписываетесь. А вдруг там ошибки, неточности, вдруг я записал с намерением исказить факты?

Ладо сдержанно улыбнулся, потом расхохотался.

— Господин ротмистр, да что с вами? Я ведь знаком с типографским делом. Я читал, когда вы записывали.

«Хватит! — про себя сказал Лунич. — Хватит!» За каждым поступком Кецховели ему начинает чудиться скрытый смысл. Надо же было вообразить, что он стал ему доверять! Оскорбить бы, унижить Кецховели, доказать бы ему, что он наивен, смешон, что среди его сторонников, революционеров есть такие же грязные подлецы, какие всегда были, есть и будут в этом гнусном мире.

— Вы верите в людей, так ведь? — вкрадчиво спросил Лунич.

Ладо кивнул.

— И уже совсем, надо думать, доверяете своим единомышленникам? А ведь зря вы так доверчивы — среди них есть предатели.

Ладо передернуло. Лунич торжествующе ухмыльнулся.

— Помните обыски, которые я несколько раз, начиная с марта, производил в вашей камере? Ну, хотя бы тот, когда я нашел у вас стихотворение «Новая Марсельеза», открытое письмо от Виктора Бакрадзе и ваше письмо к брату? Или когда у вас было обнаружено письмо, имеющее отношение к комитету РСДРП? Вы не задумывались над тем, почему вдруг производились обыски?

— Нет.

— Один из ваших друзей, кто именно, я не имею права сказать, постоянно информирует управление о ваших действиях, переписке и тому подобное.

— Вы лжете,— сказал с отвращением Ладо.

— Клянусь честью офицера.

— Я вам не верю.

Лунич, ухмыляясь, смотрел на Ладо. На самом деле, несмотря на все усилия, Луничу и Лаврову так и не удалось установить личность человека, который время от времени подбрасывает под двери Дебиля или присылает по почте анонимные письма, написанные азбукой Морзе, и сообщает всякого рода новые сведения о Кецховели. Был ли то политический враг или личный ненавистник, но во всяком случае, сведения обычно оказывались достоверными. Если это личный враг, то за что он ненавидит Кецховели?

Лунич посмотрел в глаза Ладо, но не заметил в них ни страдания, ни огорчения. Кецховели ему не поверил и снова взял над ним верх.

Лунич резко встал и позвонил в колокольчик. Дверь открылась. На пороге появился конвоир.

— Уведите арестанта,— приказал Лунич.— До свидания, господин Кецховели.

Ладо поднялся и вышел из комнаты. Солдат зашагал за ним, осторожно прикрыв дверь.

Лунич сложил протокол в папку и направился к смотрителю тюрьмы Милову.

— Ну как, ваше благородие,— спросил Милов,— скоро закончите следствие?

— Следствие закончено. Я передаю дознание прокурору судебной палаты. Разве что появятся какие-либо новые материалы... А вы все жаждете скорее избавиться от Кецховели?

— Еще бы! — Милов вздохнул.

— По должности вашей,— сердито сказал Лу-

нич,— вы обязаны быть более строгим. Почему вы не применяете к нему дисциплинарные взыскания — лишение пищи, постели, темный карцер, наконец?

— Арестанты поднимают бунт.

— Я на вашем месте нашел бы вполне законные причины для наказания,— сказал Лунич, с пренебрежением поглядывая на Милова.— Скажите ему что-либо такое... словом, выведите его из себя и... Впрочем, это ваше личное дело. Скажите мне, пожалуйста, нет ли среди ваших арестантов телеграфиста или человека, владеющего азбукой Морзе?

— Насколько мне известно, нет.

— Поинтересуйтесь, если вас это не затруднит. Честь имею. И подумайте о моем совете насчет Кецховели.

Лунич вышел, звякнув шпорами. На душе у него было мутно. Допустить такую дичайшую оплошность — выболтать Кецховели об анонимном осведомителе! Поразмыслив, Кецховели может передать эти сведения своим, они скорее жандармов докопаются до автора писем. Одна надежда, что Кецховели ему действительно не поверил.

Ладо медленно шел по коридору.

— Вы не расстраивайтесь, господин,— услышал он голос конвоира,— перемелется, мука будет.

— Я просто задумался, братец,— сказал, оглянувшись, Ладо.— Чего мне расстраиваться? Мне моя дорога ясна.

— Вот и хорошо. Дай бог, сбудется, что задумали. Ладо почувствовал, как в груди у него потеплело.

— Спасибо, дорогой.

Камера-одиночка

За окном сразу стемнело. Лишь над горой Давида небо оставалось прозрачно-синим. Цвета, как голоса, бывают веселыми, сердитыми, тоскливыми, энергичными и равнодушными. Синева над горой была длительно печальной.

Где-то внизу заиграла шарманка. Мужские голоса, приближаясь, пели, то сливаясь, то распадаясь на три, но не теряя связи, и можно было угадать, что певцам радостно петь и каждый доволен тем, как слаженно они все поют.

Ладо встал у окна, привычно распластав на решетке разведенныеверху руки, и увидел огоньки факелов и неровный, пляшущий огонь между ними. По Куре двигался плот. Песня утихла. Ладо угадал на плоту мужчин, которые при свете костра наполняют вином из бурдюка стаканы, и протяжно крикнул:

— Здравствуйте, люди-и!

— Здравствуй,— отозвался снизу звонкий высокий голос.— Кто ты-и?

— Арестант!

— Свободы тебе-е-е! — согласно закричали несколько голосов.

Плот ушел под мост, и свет факелов и костра пропал. Снова, теперь левее, заиграла, отдаляясь, шарманка.

Снизу из окна тянуло влажной прохладой, а поверху еще гуляли остатки сухого дневного зноя. Он посмотрел на желтые дрожащие огоньки города, отошел и лег на койку, укрывшись от сырости одеялом. Одеяло прислали из дому, и от него пахло далеким детством. Одиночество в последние дни стало острее. Авеля Енукидзе недели две назад выслали куда-

то на Север. Восточку от Авеля передали на второй день после высылки. В записке, наспех нацарапанной карандашом, было всего несколько слов: «Прощай. Уверен, что увидимся. Куда нас повезут, не знаю. Определили на три года». На допросы к Луничу перестали вызывать. Тюремная типография из-за церковных праздников не работает несколько дней, и нельзя спустить на нитке письмо или получить записку. Записок присылают последнее время все больше и больше, и уже не только от политических, но и от уголовников — все спрашивают об одном: как жить, коротко рассказывают о своих бедах и заботах. Удивительно, что такая обширная переписка с ним до сих пор не раскрыта. А может быть, некоторые надзиратели знают, но молчат. Кто-то из арестантов написал: «В нашей камере сидит Гоги. У него никого нет. Хотел повеситься. Напишите ему, пожалуйста, ободрите беднягу». Оказалось, что Гоги — крестьянин из Юго-Осетии, убил помещика, защищая честь жены. Жена утопилась. В последней записке Гоги вывел каракулями: «Кланяюсь и благодарю. Жить хочу. Уцелею на каторге — разыщу вас, верным рабом буду». А ведь он ничем особенным не помог Гоги, просто проявил участие, сочувствие, показал, что тот не одинок, что другие люди тоже мучаются и страдают.

На прошлой неделе часовой заметил опущенную из окна нитку и закричал. Уговорить его умолкнуть и отвернуться оказалось легко. Досадно, что солдат так часто меняют. И повезло, что этот был таким податливым, — поднятая нитка принесла письмо от Сандро. Он все работает на лесоразработках в Атенском ущелье, организовал нелегальный рабочий кружок, потом еще несколько — среди крестьян. Сандро писал, что жандармы наведываются в Тквибзи с

обысками, следят за Нико, когда он куда-нибудь выезжает. Вано пишет редко, его забрили в армию, и полк, в который он попал, квартирует в Кутаисе. Соседи-дворяне ведут себя по-разному. Одни перестали здороваться с Нико и даже не ходят на богослужение в церковь, чтобы не слушать, как служит службу отец политического преступника, другие теперь чаще заходят к отцу, предложили ему денежную помощь, от которой он наотрез отказался. Крестьяне обещают в день возвращения Ладо устроить пир на все село. Георгий по-прежнему пытается пробиться в промышленники. Зря он занимается не своим делом. В нем мало жесткости, расчетливости и терпения. Сейчас дела у него, кажется, наладились, он прислал домой посылку. Больше других обрадовался посылке маленький Нико — он получил первые в своей жизни сапожки.

Ладо вспомнил свои редкие ночные наезды домой. Если малыш Нико спал, оставалось только полюбоваться тем, как он спит, крепко сжимая во сне кулачки. А если он еще бегал по комнате, его можно было подбросить к потолку и поцеловать в загорелые щеки. — Как дела, Николай Николаевич? — Малыш косился на отца и спрашивал у Ладо: — А ты кто? — Ах ты, собачий сын, дядю не узнаешь!

Старший Нико домовит, у него уже много детей, он занят своим питомником, обучает евронеискому садоводству крестьян, но дела его пока идут скверно — помещики отказались вложить деньги в постройку оросительного канала, а крестьяне боятся, что вода принесет с собой рознь и вражду, что все будут ссориться из-за полива. За революционным движением Нико следил со стороны — когда с интересом, когда с ревностью. О хождении в народ он давно уже не вспоминал, но, поругавшись с уездным

начальником или приставом, взрывался: — Террор — единственное, что может принести результаты! — Ладо подтрунивал над ним, Нико с досадой кричал: — Ты опять такой, каким был в детстве! — Потом сам начинал улыбаться, устыдившись своей горячности.

Ладо закутался в одеяло и прижал его к лицу.

В окно подул ветерок. Сильнее стало ворчание речной воды среди камней. Где-то очень далеко заупынно пел человек...

Ладо проснулся незаметно и не сразу понял, почему он лежит один, укрытый одеялом. Мысли и пробуждение слились в непрерывное, продолжающееся, и он ощутил, как никогда раньше, неотвратимость грядущего революционного сражения. Раньше Ладо в это верил, теперь он был в этом убежден, как убеждался мальчишкой в силе молнии. Его всегда забавляло, когда другие вздрагивали и крестились от удара грома и вспышки молнии, ему казалось, что молния и гром — всего лишь радостное представление, устраиваемое дождем, он выскакивал из дому и носился босиком по лужам и кричал, смеялся, когда по небу проскакивала светящаяся жила и гулко грохотал огромный небесный барабан. Потом он увидел, как молния вонзилась в навес на поле, грохот оглушил его, над навесом возникли огонь и дым. Все еще посмеиваясь, он побежал к навесу и увидел почерневшего мертвого сторожа. После того, как казаки заporоли насмерть сказочника Зураба и умерла мать, это была третья смерть, которую он увидел своими глазами. Через несколько дней гроза разразилась снова. Ладо не испугался, но и не побежал больше по лужам. Он стоял у окна и думал, почему молния убивает людей. — В ней электричество, — объяснил ему Нико, — электричество дает свет — такой же, как

газовый фонарь, — помнишь, я тебе показывал в Тифлисе? — и может убить. — Но почему, Никко, почему? Пусть дает свет, но почему она убивает? — Молния, как огонь, Ладо. Ты же знаешь, что огонь сжигает дерево, может сжечь и человека, если неосторожно обращаться с ним.

Видно, он очень затосковал по Тквиави, раз мысль все время возвращается к отцу и братьям. Конечно, затосковал. Будто в этом можно сомневаться. И тишины тквиавской хочется. Какой разной может быть тишина. Город давно спит, шагов часового не слышно, и крысы не бегают — наверное, отправились к Кура на водопой. Тихо. И все же это совсем не похоже на тишину деревни. Там ты слышишь, как спит мир, спит вместе с тобой, а здесь тишина твоей камеры принадлежит только тебе.

Ладо откинул одеяло, встал, подошел к окну. Отсюда было лучше слышно, как шумит, разбиваясь о камни, Кура.

Какая синяя ночь — городские крыши, и стены домов, и редкие купы деревьев, и крепость Шурисцихе — все по-разному синее и кажется прозрачным.

Вжавшись лицом в квадрат, образованный прутьями решетки, Ладо следил за движением синих и голубых теней на развалинах крепости.

«Удивительна судьба моего народа, — думал он, — самой природой своей и сердцем своим ты рожден для мира, для земледелия, для веселья и песен, характер твой мягок, душа широко распахнута для друга и гостя, ты, не задумываясь, протягиваешь руку человеку, попавшему в беду, матери твои никогда не бросают своих детей, а дети всегда почитают родителей и добрым словом поминают предков. Но из года в год, из века в век ты был вынужден оставлять соху в борозде и совершать то, что претило тебе

больше всего, — убивать, чтобы защитить свою землю. Правда, и в ненависти, и в убийстве ты продолжал оставаться самим собой — раненому пришельцу перевязывал раны, а убитого врага предавал земле, как человека. Бывало, что иные укоряли тебя за щедрость и доброту, за то, что радушно принимаешь ты беженцев из других краев, отдаешь им свои земли и живешь с ними, как с братьями, укоряли тебя и предрекали, что ослабнешь ты из-за доброты своей, разоришься и оскудеешь духом. Но ты в ответ лишь смеялся: у меня не только большое, но и сильное сердце!..»

Ладо услышал свой шепот — оказывается, он говорил вслух:

— Я люблю тебя, народ мой, не потому, что считаю тебя лучше всех других, я люблю тебя за то, что ты мой народ, за то, что еще в те далекие времена, когда все рьяно веровали в божественность царя, ты ниже, чем царям, поклонялся поэтам и поэтов почитал, как своих владык. Многие лета тебе, народ мой!

Ничего больше я не хочу для тебя, как ясного неба, которое не будет перечеркивать длинная рука русского царя, и более всего я хочу для тебя мира, жизни без виселиц и тюрем, без петушиного самоуправства князей, притворяющихся добрыми опекунами крестьянина, без взяточников-чиновников, плодящихся нынче, словно кролики.

Ты добр, ты мудр, ты мужественен, трудолюбив и весел, народ мой. Да не заразит тебя на твоём пути к свободе чума стяжательства, дворянской спеси и лени! Ты сохранил себя среди монголов, персов и турок, ты хранишь себя под нагайками казаков, так сохрани себя и в грядущих испытаниях! Многие лета тебе, народ мой!

Мрак и полное забытие грозит только тому, кто притесняет слабого. А несущему добро смерть не страшна — умерев, он возродится снова и снова. Многие лета тебе, народ мой!

Я — частица твоя, я уйду, как уходили бесчисленные твои сыновья, помяни же и меня, народ мой, в числе твоих ушедших сыновей...

Ладо вздохнул. В Тквиави тоже уже светает. Над крышами домов летают ласточки, с полей их зовет жаворонок. Поднимая лицо к солнцу, чтобы почувствовать тепло, ходит от дома к дому слепая Даре...

Ладо зажмурился, когда солнце, взошедшее где-то за тюрьмой, загло купола собора, отошел от окна, лег, заснул и увидел во сне, будто он снова маленький и бросается в Лиахви, чтобы переплыть ее.

Разговор в адском carcere

Все шло прахом. Самодовольный тупица Дебиль пожинал плоды стараний Лунича, был отмечен и переведен на более высокую должность. Прощаясь с подчиненными, генерал даже не считал нужным выразить им благодарность и лишь пожелал успешной службы со своим преемником, полковником Ковалевским. Удивительно, право, удивительно, что более всего продвигаются теперь любители загребать жар чужими руками и бездарности. Неужели правы были однокашники, осевшие в столичных канцеляриях? Отец во время последней встречи говорил, что люди мельчают, а мельчают они обычно тогда, когда правители не в силах внести в государственную повседневность ничего нового и пытаются сохранить существующее положение. Лунич,

подумав, возразил, что время призовет крупных людей, ибо движение снизу нарастает и для сопротивления ему потребны сильные деятели. Отец понял, что он думает о себе, и пробормотал:

— Я только рад буду.

Но, выходит, что отец прав — время призывало Дебиля, а Лунич требовался лишь как ступенька, по которой после Дебиля шагнет вверх Ковалевский. Даже осел Лавров, это, кажется, понял. Впрочем, обиженная миная его продержалась недолго, он вскоре стал есть глазами нового начальника. Вот они рядом — Лунич и Лавров. Вверх не движутся оба, хотя один умеет, а другой туница. Если интеллект не в почете, почему круглый дурак тоже не в фаворе? Наверное, потому, что ограниченность Лаврова слишком уж явная, он не умеет ее прятать. Да, сейчас лучше тем, кто не рассуждает, не облажает своей тупости и создает видимость усердной работы. Господи, на чем только держится государство? Поневоле признаешь, что те, кого Лунич допрашивает в Метехской тюрьме, куда значительно всех его начальников и сослуживцев. Особенно Кецховели. Иногда кажется, что Кецховели догадывается обо всем, что думает Лунич, знает о нем больше, чем кто-нибудь другой. Кецховели сейчас держат в карцере. Милов рассказывает, что Кецховели ни с того, ни с сего обругал его. Что-то явно не так. Без причины Кецховели не выругался бы. Видимо, Милов прислушался к совету Лунича и нашел повод отомстить за щиты на окнах.

Странное выработалось отношение к Кецховели. Он внес сильное беспокойство в жизнь Лунича и, как ни глупо быть суеверным, кажется, что из-за Кецховели его ждут большие неприятности. Но одновременно — нечего кривить душой — Кецховели

и притягивает к себе. Теперь, после окончания следствия, даже как будто не хватает разговоров с ним. Одно время, когда Лунич только стал офицером, нечто похожее было во взаимоотношениях с отцом. Не уважать отца было нельзя, но постоянно хотелось поспорить с ним, чем-то досадить, показать свое с ним равенство. Отец и не догадывался, как сын временами тайно его ненавидел.

Зазевавшись, Лунич налетел на какую-то даму и извинился.

Как же он забыл? Как мог он забыть? На прошлой неделе Амалия сказала, что она беременна. Лунич рассмеялся, представив, как загадят тифлисские кумушки, что у старого князя, застрявшего где-то в Париже, родился ребенок. Амалия удивленно на него посмотрела, не понимая, что он нашел смешного в ее положении. Он объяснил. Губы ее тоже тронула улыбка, потом она расплакалась.

Лунич не любил, когда Амалия редела. Нахмурившись, он подумал, что история эта сейчас ему совершенно ни к чему. Пойдут разговоры, и, учитывая, что с полковником Ковалевским отношения еще не определились, огласка может повредить ему. Долг чести офицера позаботиться о том, чтобы неприятные для женщины последствия были ликвидированы без сплетен и, конечно, за его счет.— Не волнуйся,— сказал он,— я найду акушерку.— Я думала,— тихо произнесла она,— я думала, что ты...— Что?— Лунич расхохотался так, что чуть не упал с постели. Амалия вскочила и набросила на себя капот.— Уходи! Уходи!— Он испугался, что крики ее услышат соседи, хотел зажать ей рот, но она вырвалась, убежала в конец комнаты и схватила со столика металлический нож для разрезания бумаги.— Уходи, а то я ударю тебя!— Она махала перед собой ножом,

наступала на Лунича. Лунич схватил ее за руку. Она перехватила нож левой рукой, и острое воткнулось ей в ладонь. Лунич отнял нож, надавал Амалии пощечин, швырнул ее на кровать и держал, чтобы она не могла встать. Она вырывалась, пыталась оцарапать ему лицо, укусила в щеку, и пришлось еще раз ударить ее. Луничу надоело играть мелодраму. Он встал, оделся, сказал, чтобы она завтра пришла к нему, и удалился.

Амалия не появлялась, он забыл о ней и вспомнил только сейчас. Какая-то женщина шла ему навстречу, задумавшись и улыбаясь. Лунич, заметив выступающий живот, угадал, что она улыбается жизни, которая зародилась в ней. Так же когда-то улыбалась и его мать, когда он шевелился в ее утробе. Черт побери, неужели в Амалии уже живет то, что продолжит Лунича, и его отца, и всех других Луничей, неужели может появиться мальчик — смуглый, с темными глазами? Никогда еще в голову не приходила мысль о возможности появления сына. До сих пор разговоры или предположения о женитьбе, о семье были такими же, как разговоры о переезде на новую квартиру или приобретении жеребца для верховой езды. Пожалуй, отец обрадовался бы, если бы Лунич привез ему внука. Что если в самом деле?.. Амалию можно поместить пока за городом, няньке заткнуть рот деньгами, затем договориться в Ольгинском повивальном институте, там имеются отдельные комнаты для секретных рожениц. Амалия родит, вернется домой, а Лунич наймет кормилицу и отвезет сына в имение к отцу. Все приличия при этом будут соблюдены.

Никогда раньше он не задумывался над тем, что его незадачливые любовницы покушались на него самого, убивая его, Лунича, наследников. Отцу вряд

ли следует объяснять, кто мать ребенка, у старика свои взгляды, переубеждать его совершенно бессмысленно. Отец тоже пошаливал, и не только в молодости. Но негоже интересоваться отцовскими грехами. В конце концов, человека должно занимать только то, что связано с ним самим и с его потомками.

Лунич развеселился и, разрешив себе вольно думать обо всем, шагал по Михайловскому проспекту, с удовольствием ощущая, как упруго и легко он идет, как приятно звенят шпоры и как смотрят на него прохожие. Не все его знали в лицо, но все, конечно, чувствовали, что имеют дело с личностью. В наше время это главное — знать себе цену, знать, что ты личность, и бог с ним, со всей той глупостью, которая растет, прыгает, пляшет вокруг тебя.

Лунич свернул в переулок и вошел в парикмахерскую. Маленький старичок-парикмахер при виде его вздрогнул, уронил книжечку, которую держал в руках, и вскочил.

— Здравствуйте, пан ротмистр, вы пожаловали... Давно не имел чести вас видеть. Прощу, прошу. Минуточку, я оботру кресло.

— Ну, ну, не суетитесь так, — сказал Лунич, поднимая брошюру. — Чем это вы были так увлечены? Письмо Домбровского Каткову. Издание старое, нелегальное. Где вы взяли эту брошюрку, господин Поклевский?

У парикмахера задрожали губы.

— У букиниста.

— Да? — Лунич бросил брошюрку на столик, устроился в кресле, расстегнул воротник и с улыбкой посмотрел на перепуганного поляка. — А может, у вас имеется что-либо поновее? Признайтесь лучше, а то придется явиться к вам с обыском. Приступайте, приступайте к делу.

Поклевский намылил Луничу лицо и принялся брить его.

— Все-таки как волка не корми, а он в лес смотрит,— посмеиваясь, лениво рассуждал Лунич.— Сколько уже лет прошло после польского восстания, давно Домбровского нет в живых, а вы все за старое. Кого из тифлиссских поляков вы знаете?

— Я живу одиноко, господин ротмистр,— тихо ответил Поклевский.

— Да, да, потому я и спрашиваю. Ваше заведение весьма удобно, скажем, для передачи нелегальщины. Один зайдет, забудет сверточек, другой захватит его. А вы вроде ни при чем. Расскажите, кто у вас забывал книжечки или газеты?

— Никто, господин ротмистр. Неужто вы в самом деле подозреваете меня? Езус Мария, я живу... меня только цветы интересуют, у меня садик. Я старый человек, господин ротмистр, мне недолго жить осталось, я и так уже наказан, за что же вы?

— Старый, говорите вы? Старым как раз и нечего бояться. Скажите, господин Поклевский, неужели когда вы ложитесь спать и перед сном думаете о жизни вашей и вообще о жизни, на ум вам не приходят мысли о том, допустим, что не все ладно в государстве нашем? У каждого мыслящего человека есть идея. Вы, надеюсь, тоже из мыслящих? Какова ваша тайная идея, в чем она?

Лунич улыбнулся и закрыл глаза.

Он сидел, запрокинув голову. Не услышав ответа, открыл глаза и увидел склонившееся к нему лицо Поклевского, со сведенными седыми бровями, с каким-то безумным лихорадочным взглядом. Пальцы Луничу сами, прежде чем он успел подумать, вцепились в руку Поклевского и вывернули ему кисть. Бритва упала на пол, Лунич вскочил и ударил Пок-

левского кулаком в подбородок. Старик упал легко, словно ожидал удара, и заплакал.

Лунич приподнял его, схватив за ворот халата.

— Ты что это, ты что задумал, сволочь польская?

— Я ничего,— с ужасом глядя на него, ответил Поклевский.

Лунич выпустил его, и он снова упал на пол. Лунич выпрямился, посмотрел в зеркало на свое серое лицо и ощутил, как холодок, словно от сквозняка, прошелся по спине. Не оборачиваясь, он поднял с пола бритву и принялся сам добривать себе шею.

— Встаньте,— сказал он,— сядьте в углу на стул и не двигайтесь.

Было слышно, как старик завожился, как у него хрустнули кости и как зашаркали по полу штиблеты. Когда Поклевский сел, в зеркале отразилась его физиономия — губы от удара Лунича были разбиты. Намеревался он или нет? Если намеревался, то открой Лунич глаза секундой-двумя позже, его уже не было бы. Неделию назад схватилась за нож Амалия, сегодня этот старикашка. Не жизнь, а авантюрный роман какой-то. Однако шутки шутками, но если Поклевский в самом деле намеревался... Подумать только, сколько лет подряд Лунич брился здесь и каждый раз, как садился в кресло, мог, оказывается, перестать существовать. Мгновение — и нет ни мыслей, ни желаний, ни отца, ни будущего сына — ничего. Что делать со стариком? Посадить в тюрьму? Прокурор запротестует. Внутреннее намерение не есть преступление или попытка совершить его. Намерение могло измениться. Что на это возразишь? Показалось странным выражение его глаз? Поставишь себя в идиотское положение. Даже если господин Поклевский подтвердит, что такое намерение

пришло ему в голову, осудить его невозможно, за мысли не наказывают.

Лунич отложил бритву, застегнул воротник и повернулся к старику.

— Слушайте, вы в самом деле намеревались полоснуть меня по горлу или мне показалось? Говорите, не бойтесь. К сожалению, вам ничто не грозит.

Поклевский поднял голову, обтер с лица кровь, посмотрел на свои пальцы, и потухшие глаза его оживились.

— Я больше не боюсь вас, господин ротмистр. Я жалею, что не успел... Что я говорю, что со мной?

Он обхватил руками голову, заплакал и закачался из стороны в сторону.

Лунич не ждал признания. Ему почему-то хотелось, чтобы старик отказался.

— Вы в самом деле намеревались? — повторил он. — Но почему, что я вам дурного сделал?

Поклевский не ответил. Матерно выругавшись, Лунич вышел. На проспекте он остановил фэзтон и поехал к Амалии.

Подумав, Лунич решил, что Поклевский сказал правду, и на душе у него полегчало, как у человека, мимо которого прошла смерть, не задев его. «Долго жить буду», — решил он, засмеялся и пошутил с кучером.

С моста был виден Метехский замок. Лунич подумал о том, как, должно быть, скверно чувствует себя Кецховели. Ловко придумало тюремное начальство. Зимой сажает арестантов в холодный карцер с выбитыми стеклами в окне, с водой, просачивающейся сквозь пол, а летом — в карцер без окна, прилегающий одной стеной к печи и дымоходу тюремной кухни. Арестанты называют карцер «адским».

Лунич остановил извозчика, купил в цветочном магазине букет роз и поехал дальше.

Горничная, румяная девка, осклабилась, увидев его. Он бросил ей монету и вошел в комнату.

Амалия лежала в постели. В комнате пахло аптекой и еще чем-то.

— Здравствуй, моя... хорошая,— сказал Лунич, наклонившись над кроватью, и коснулся губами горячего, сухого рта Амалии.— Почему ты лежишь?

Он придвинул стул, сел, взял ее руку и стал целовать — от запястья до локтя.

— Прости меня, я был груб. Что с тобой, скажи мне?

Не выпуская руки Амалии, он с нежностью всмотрелся в ее лицо. Оно осунулось, пропала припухлость щек, глаза посветлели.

Он рассказал о своих планах.

Амалия приподнялась немного, подоткнула подушку, чтобы голова была выше и, смотря Луничу прямо в глаза, жестко сказала:

— Ты, оказывается, палач.

Он засмеялся.

— Теперь у тебя нет больше причин сердиться. Какая ты была с ножом... Дай я тебя поцелую.

— Не прикасайся ко мне! Я говорю, что ты палач и по службе. Мне рассказали. Я думала, ты офицер. А ты, оказывается, мучишь арестантов в Метехи. Поэтому ты был таким со мной.

— Я следователь, Амалия. Ты ведь знаешь, что такое юрист? Следователь, прокурор, судья, адвокат...

— Нет, ты противный. Я думала, я поняла, тебе нравится быть таким.

— Перестань сердиться, я же сказал, что тебе нечего беспокоиться. Никто ничего не узнает. Сына я увезу.

— Ты грязный,— убежденно сказала она,— даже сам не замечаешь. Я как будто в пятнах, не отмыться. Сына у тебя не будет, никого не будет. Я вчера...

Лунич поверил ей сразу. Он понял теперь, чем пахло в комнате.

— Что ты натворила,— тихо сказал он.

Она перестала смеяться и холодно спросила:

— Думаешь, я боялась, что все узнают? Да я лучше бросилась бы в Куру, чем родила от тебя.

Она позвала няньку и сказала Луничу:

— Уходи.

Лунич побрел к двери. Его словно кто-то ударил под ложечку. Амалия ограбила, обворовала его еще до того, как он открыл для себя, что такое сын.

Он дошел до Дворянского собрания, выпил прямо у буфетной стойки полбутылки коньяку и снова вышел на проспект. Боль прошла.

Наверное, отец и мать того ребенка, которого он сбил конем, еще острее, еще оглушительнее переживали смерть сына, ведь сын Лунича еще не родился, а тот уже несколько лет бегал, смеялся, говорил. Сколько ему могло быть лет? Семь-восемь, не больше...

Лунич вернулся в ресторан Дворянского собрания, чтобы выпить еще коньяку. В дверях ему встретился полковник Габаев, высокий, худой, с неожиданно огромным, круглым животом, выпирающим из сухого туловища; лицо Габаева отличалось такой же странностью — длинное, скуластое, а подбородок тройной, словно взятый взаймы у другого, очень толстого человека.

— Здравия желаю, ротмистр,— пробасил Габаев.— Вы сюда, а я, увы, покидаю приятное застолье. Еду в Метехи.

— Так рано, ваше высокоблагородие? Может, выпьете со мной коньяку?

— Коньяк не жалую, предпочитаю вино. И служба, служба!.. Вот когда вы переловите всех бунтовщиков, нам станет полегче.

— Я все же налью вам рюмочку.

— Одну, так уж и быть.

Лунич взял еще коньяку, налил рюмку Габаеву, а остальное для себя вылил в большой фужер.

— Ого,— сказал Габаев.

— Лечусь, ваше высокоблагородие. В минуты горести незаменимая микстура. За ваши успехи! Вы вот говорите — «когда переловите». Про бакинскую стачку знаете? Почти месяц все стояло — промыслы, заводы, железная дорога, пароходы. А тифлисская забастовка! Кстати, это не ваш батальон по рабочим стрелял? А забастовки в Михайлово, Боржоме, Батуме, Поти? Знаете, сколько рабочих бастовало по Закавказью этим летом? Сто тысяч человек. Сто тысяч! А вы нас упрекаете.

— Помилуйте, ротмистр, и не думал упрекать.

— В душе все равно упрекаете. Армия всегда недовольна жандармерией. А сами? Что сумели сделать войска в Баку? Ничего. Так вы в Метехи?

— Мой батальон несет там охранную службу. Разве вы забыли?

— Поехали!

— Мне надо проверить несение службы, дать кое-какие дополнительные указания. А вам для чего, тем более после коньяку?

— Мне тоже надо,— с пьяным упрямством ответил Лунич.

— С обыском хотите нагрывнуть?

Они сели в коляску полковника.

Полковник Габаев был разговорчив, но Лунич не

слушал его. Выпивка странно подействовала на Луничу. Он был пьян. Но коньяк оглушил только одну часть мозга, другая вроде бы соображала. И эта трезвая половина спрашивала у пьяной: «Зачем ты едешь в тюрьму?» На что пьяная отвечала: «Я так хочу».

— Ротмистр, вы что, не слышите? — услышал он голос полковника. — В третий раз спрашиваю.

— Прошу прощения. Повторите, пожалуйста, еще.

— Я спрашиваю, кого вы собираетесь накрыть? Если это не секрет, конечно.

— Накрыть? Ах, накрыть... Я накрою одного заключенного. У него в камере часто что-нибудь обнаруживаешь. Впрочем, нет, он в карцере.

«Что если в самом деле еще раз допросить Кецховели? — подумал Лунич. — Вдруг карцер на него подействовал, и он устал, ослаб...»

— Должен допросить Кецховели, ваше высокоблагородие.

— А-а, беспокойная личность: Милову о нем не папоминай, за сердце хватается. Я распорядился, чтобы на пост номер шесть ставили самых надежных солдат, а то мой земляк — политик, действует на часовых, как лукавый змий. А ведь дворянин! Удивляет меня, что с такими, как он, позорящими наше дворянство, столь преданное государю-императору, так цацкаются.

— А вы не цацкайтесь! — сказал Лунич. — Вы покруче!

— Генерал Светлов то же самое приказал мне вчера. Особое внимание, мол, уделите Кецховели.

Они въехали во двор замка. Габаев пошел в дежурку, а Лунич, стараясь держаться прямо, в сопровождении унтер-офицера и надзирателя направился к летию карцеру.

Шаги их многократно отдавались в коридорах. Надзиратель отомкнул дверь карцера.

— Занеси фонарь и выйди,— приказал унтеру Лунич. Помедлив, он вошел в камеру величиной немногим больше стенового шкафа. Горячий воздух ударил ему в лицо. Унтер протянул в дверь руку и поставил «летучую мышь» на пол. Язычок пламени в фонаре съежился. При слабом свете Лунич увидел Кецховели, сидящего на полу, спиной к стене, глаза у него были открыты, веки часто мигали — тусклый свет фонаря после темноты оказался слишком ярким.

— Тут и сесть не на что,— сказал Лунич.

— Садиться можно прямо на пол,— хрипло произнес Ладо,— табуреты и кровать здесь, как вам известно, запрещены, да и не поместятся. К тому же, у пола сравнительно легче дышать.

— Здравствуйте,— сказал Лунич.— Черт побери, дверь лучше оставить открытой.

— Вы не лишены сообразительности, господин ротмистр.

— Вы еле говорите.

— А вы попробуйте посидеть в этой жаровне шесть суток.

— Унтер! — крикнул Лунич.— Принеси кувшин воды. Не думал, что здесь такое пекло.

— Разве не вы с Миловым придумали этот райский сейф? Если вам трудно стоять, присядьте на парашу, тем более что вы, кажется, пьяны.

Лунич промолчал. Он всматривался в лицо Кецховели. Борода у него, отросла, давно не стриженные волосы падали на лоб, он расстегнул ворот рубахи, подставляя грудь воздуху, вползавшему снизу от двери, и глубоко дышал.

Унтер принес глиняный кувшин с водой и железную кружку. Лунич показал на Кецховели. Унтер

наполнил кружку, Ладо взял ее и медленно, задерживая воду во рту, стал пить. Унтер опустил кувшин на пол и скрылся за дверью.

— Что вам угодно, господин ротмистр? — спросил Ладо. — Надеюсь, не просто в гости, иначе я попал бы в неловкое положение. Сегодня у меня голодный день, а вчерашнюю порцию хлеба я уже съел.

Лунич переступил с ноги на ногу. Только от быстрого опьянения могла прийти в голову дурацкая мысль, что на Кецховели подействовал карцер. Надо уйти. Недостойно офицера являться к голодному Кецховели сытым и пьяным.

— Извините меня. Я на самом деле выпил, но... На что все-таки сесть?

— Переверните кувшин — в нем уже нет воды, и садитесь. Я привык к полу.

Лунич сел на кувшин.

— Что за срочный вопрос вы хотите мне задать? — спросил Ладо.

— Я не для допроса. И ничего срочного. Приехал по другому делу и решил поговорить с вами. — Лунич провел ладонью по лицу. — Честно говоря, даже не знаю, чего меня сюда занесло. — Он то еще сильнее пьянел, то вдруг трезвел. — Скажите, а за что вас сюда посадили?

— Неужели не знаете? Я попросил, чтобы больную арестантку выпустили из карцера. А господин Милов на мои слова о возможной забастовке арестантов обозвал арестантку грязным словом. Я обругал его. Дать пощечину, к сожалению, не успел.

— Милов не дворянского происхождения, — скавал Лунич.

— Вы в самом деле верите в эту чепуху? Или вам неизвестно, что никого так не почитают в простом народе, как мать, как вообще женщину.

Разговор не налаживался.

Лунич оглянулся на дверь и пробормотал:

— Не люблю театра. Мое появление здесь словно из плохой пьесы.

— Почему обязательно плохой? У Шекспира в трагедиях тюремщики тоже приходят в башню поговорить с арестантом. Поговорят, даже сочувствие выразят и велют вести арестанта на плаху, сославшись на историческую необходимость.

Сознание Лунича снова затянулось пьяной пеленой. Кецховели прав, издеваясь над ним. Как бы он сам на его месте отнесся к приходу жандармского следователя? Кецховели и не подозревает, как у следователя мутно на душе, не хочет — и правильно делает, что не хочет, — замечать, как он расстроен, как ему тяжело от всего случившегося с ним, и от одиночества, и вообще от всей этой клоаки, называемой жизнью.

Он посмотрел в глаза Кецховели и вдруг сказал:

— Дважды за эти дни меня чуть не убили. А сегодня я потерял сына...

Кецховели поднял кружку надо ртом, поймал несколько капель воды.

— У меня не было сына, но я вас понимаю. Что с ним случилось?

Лунич увидел, что в глазах его появилось сочувствие. Словно обрадовавшись, он стал торопливо, захлебываясь словами, рассказывать о том, что случилось с ним в эти дни, одновременно досадуя на себя за свою пьяную болтливость.

Он замолк. Ладо поджал колени и оперся о них головой, обхватив ноги руками.

Лунич протрезвел. Заставив себя усмехнуться, он неловко сказал:

— Видите, я вам исповедовался, как священнику.

Ладо молчал.

Лунич спросил вполголоса, почти шепотом:

— Почему вы как-то задавали вопрос, не участвовал ли я в карательной экспедиции?

— Когда я был мальчиком, при мне казаки запытали насмерть одного старика, сказочника. У офицера было сходство с вами. По-моему, вы меня уже спрашивали об этом.

— Запомнил, видимо.

Лунич облегченно вздохнул.

В дверь просунулась голова унтера.

— Звали, ваше благородие?

— Нет. Прикрой дверь.

Стало душно, и от духоты голова Лунича снова отяжелела. Он спросил:

— Скажите, а возмездие существует?

Ладо посмотрел на него. У трезвого язык, конечно, так не развязался бы. Лунича грызет какая-то боль, и не только от того, что любовница не желала оставить ребенка, а парикмахер чуть не перерезал ему горло. Лунича мучает нечто более глубокое. Надо дослушать этого человека, не думая о том, что он один из его преследователей.

Ладо спросил:

— Какое возмездие вы имеете в виду?

— Бог ли, судьба, рок — какая разница, — пробормотал Лунич. — Допустим, понесла лошадь, на дороге человек, какой-то мальчишка, вы могли направить лошадь в сторону, почему-то не сделали этого, и смяли этого мальчишку, может быть, лошадь даже убила его. Я придумываю... Так вот: может ли потом, много лет спустя, из-за этого погибнуть ваш близкий?

— Сын, допустим, — сказал Кецховели.

— Сын или дочь, или сестра, я вообще говорю, я ведь не о себе.

Ладо подумал, что прийти сюда, в карцер, пьяным и затеять с арестантом такой разговор могли заставить Лунича муки совести. Совесть просыпается рано или поздно. Кажется, Енукидзе рассказывал, что сосед его, всеми уважаемый старик, умирая, кричал на всю улицу: — Уберите! Кровь, кровь! Простите! — Оказалось, что старик в молодости служил где-то в Сибири, в остроге для политических арестантов. Но Лунич не просто освобождает душу от грехов, он добивается какого-то ответа.

— Вы в самом деле хотите, чтобы я ответил вам? — спросил Ладо.

— Да. Я пьян, но все понимаю.

— Тогда скажите мне, почему вы решили, что у вашей возлюбленной должен был родиться именно ваш ребенок? Почему не ее? Почему не общий?

Лунич пожал плечами.

— Вы не поняли моего вопроса, — сказал Ладо. — Если бы вы любили женщину, которая понесла от вас, она родила бы. И в будущем ребенке вы тоже хотели полюбить только себя...

Лунич сделал движение рукой.

— Не я пришел к вам, а вы ко мне, — сказал Ладо, — вы в своих мыслях о себе, кажется, забыли, что я в карцере, в тюрьме, а вы один из тех, кто тщится, чтобы я просидел здесь как можно дольше, а то и остался навсегда. Хотите меня дослушать?

— Вы правы, я сам навязался. Говорите, я дослушаю до конца.

— Вы не любите людей. К сожалению, вы не единственный, кто людей не любит. Но земля ведь не необитаемый остров. Живя с людьми, надо выбирать — за них вы или против. Вы избрали второе, вы

служите тем, кто грабит и поработщает народ, служите старательно, по убеждению, и когда люди протестуют, сажаете их в тюрьму, мучаете и убиваете, называя убийство службой отечеству... Подождите, я сказал еще не все.

Лунич протянул руку и толкнул дверь. По глазам его Ладо увидел, что он почти совсем протрезвел.

— Вы спросили о возмездии, полагая, что оно пришло к вам, когда ваша возлюбленная избавилась от ребенка. Вы ошибаетесь — вы убили обоих — и того, кого сбили конем, и своего, еще не родившегося. Ваши мысли о возмездии не случайны. Вы боитесь, очень боитесь. Вы начали понимать, что защищаете то, что отомрет, а во мне видите представителя тех, кто вас уничтожит. Вы ощущаете приближение перемен и ищете не утешения, а спасения, оправдания перед судом будущего. Вы, по-моему, готовы даже на приговор: «Виновен, но заслуживает снисхождения», и рассчитываете, что о снисхождении скажу вам я.

— Я говорил с вами, как человек с человеком, — сдавленно произнес Лунич, — а вы говорите, как революционер с жандармом.

— Я сказал вам то, что думаю. В конце концов, каждый человек сам себе судья, и высший суд — это суд твоей собственной совести.

— Мне казалось, что вы добрее.

— Очень жаль, что вы так ничего и не поняли, — сказал Ладо, — вы получили от меня сегодня «добро» по высшей мере. Вы не понимаете языка, на котором я говорю.

— Я все понимаю, я не пьян. Могу попросить вас об одной услуге — никому не передавать содержание нашего разговора?

— Немедленно напишу начальнику жандармского управления.

Лунич чуть не задохнулся. Его били, как мальчишку.

— Вы угадали, господин Кецховели, кто на вас доносит?

— Доносит?

— Помните, я вам говорил?

— Не помню.

«Что ты за человек такой,— с ненавистью и с уважением подумал Лунич,— я по сравнению с тобой мелок и мерзок».

Он встал и, сделав над собой усилие, спросил:

— Чем я могу быть вам полезен? Скажите, я постараюсь исполнить.

Ладо подумал секунду и мягко произнес:

— Прикажите, чтобы мне принесли еще воды.

Лунич шумно выдохнул и скривил губы. Еще немного, и он застрелит этого человека, который все видит и все понимает.

— Я хочу спросить вас. Вы подали прошение, чтобы вас выслали в отдаленные места, не дожидаясь решения суда. Несколько необычная просьба. Чем вы ее можете объяснить?

— Моя камера по сравнению с карцером кажется мне сейчас очень приятной. А ссылка, на мой взгляд, значительно лучше камеры.

— Побольше возможности сбежать и снова бросать бомбы, убивать?

— Я не сторонник террора. Это убеждение, к которому я давно пришел.

— Как вас понять? Вы что, отказываетесь от борьбы?

— Борьба с теми, кто не дает народу дышать свободно,— святое дело, а святыню не попирают ногами.

Глупо было ожидать другого ответа на такие вопросы. Лунич деланно усмехнулся и вышел из карцера.

Унтер-офицер и надзиратель о чем-то лениво переговаривались. Лунич протянул надзирателю кувшин. Разве можно было приезжать сюда!

Во дворе замка Лунич наткнулся на полковника Габаева. Возле него стояли начальник караула и разводящий унтер-офицер.

— Закончили, ротмистр? — спросил Габаев. — Как операция прошла, успешно? Долго вы что-то.

— Повозиться пришлось, — сквозь зубы ответил Лунич.

— Вы что-то не в настроении.

— Этому Кецховели одна дорога — на виселицу, и чем скорее, тем лучше!

Габаев повернулся к начальнику караула.

— Пусть часовые не ловят ворон, а следят за окнами. Слышали, что сказал его благородие? — Габаев покосился на Лунича. — Вбейте солдатам в голову, что за излишнее усердие не наказывают. Поехали, ротмистр?

Лунич направился к коляске. Он немного остыл после разговора с Кецховели и рассуждал теперь вполне трезво. Такого человека нельзя выпускать из тюрьмы. С его отношением к людям, с его самоотреченностью и с его пониманием добра он способен увлечь за собой кого угодно. Надо помешать отправке Кецховели в Сибирь, написать завтра же полковнику Ковалевскому о своих соображениях по этому поводу.

— Не завидую вашей службе, — сказал Габаев, — вид у вас, доложу я вам... Скажите, ротмистр, а лупить их вам самому приходится или для этого имеете специальных людей?

— При ведении следствия законом запрещаются принудительные меры получения признания.

— Законы я знаю... Мне лично моя служба осточертела, жду не дождусь отставки. Как было бы хорошо жить, если б народ не бунтовал. Признаться, я с тревогой смотрю в будущее. Не за себя беспокоюсь, за детей. Иной раз так хочется обо всем позабыть.

— Давайте в самом деле забудемся, приглашаю вас в Ортачалские сады. Разумеется, я плачу за все, и за женщин тоже.

— Не знал, что вы любитель. Поедем! Но с условием — в воскресенье вы будете моим гостем.

НАЧАЛЬНИКУ ТИФЛИССКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

10 августа 1903 г.

Обвиняемый Владимир Кецховели в числе прочего, изложенного в донесении в Департамент полиции от 31 мая 1903 г. за № 3105, произведенным дознанием изобличен в том, что был главным организатором тайной типографии, печатавшей почти все прокламации и другие революционные издания, распространявшиеся до ареста Кецховели, т. е. до сентября 1902 г., в разное время в районах Тифлиской, Кутаисской и Бакинской губерний... Прокламации к тому же, как установлено, имели самое широкое распространение среди войск, маневрировавших под г. Тифлисом и собранных сюда в числе почти ста тысяч человек для смотра высочайших особ, бывшего в конце сентября 1901 г. по случаю празднования столетнего юбилея присоединения Грузии к России...

Кецховели, благодаря своим обширным революционным связям и знакомствам под чужими фами-

337

лиями и с подложными паспортами, во время розыска его, сумел совершенно безнаказанно несколько раз переезжать русскую границу и скрытно прожить в течение указанного промежутка времени в таких сравнительно больших центрах, как Тифлис и Баку, и организовать такое сложное и рискованное предприятие, как тайную типографию, функционировавшую в течение почти двух лет, часть коей к тому же до сих пор так и осталась необнаруженной... Донося вышеизложенное, имею честь доложить, что хотя предварительная высылка Кецховели в одну из отдаленнейших местностей и желательна, но было бы полезно ввиду доказанных дознанием серьезности и значения Кецховели для революционного движения,— чтобы против Кецховели были бы приняты какие-либо особые меры, так как Кецховели, получив свободу, при первой же возможности сбежит за границу и в будущем по своим крайним убеждениям, наверное, принесет много зла...

Отдельного корпуса жандармов
ротмистр Лунич.

Выстрел

Тенистый дворик. В глубине, под тутовым деревом, сидит седобородый генерал в отставке. В выцветших глазах ожидание, в руках колода карт — старик надеется, что сюда забредут любители преферанса. Но они не появляются, и уныние все сильнее горбит старику спину. Справа, сразу за воротами, дверь и окно. В окне виднеется красивое полное лицо попадья, вдовы Мариам. В черных с поволокой глазах вдовы тоже тоска, она ждет своего партнера, однако и ее надежды съезживаются, как

воздушный шар, проколотый булавкой. Рядом с Мариам живет еще одна вдова со взрослой дочерью Олей. В том же доме снимает у отставного генерала комнату домовый извозчик Вануа. Оля служит в Управлении Закавказской железной дороги, а Вануа на заводе госпожи Мадер — развозит по духанам и домам пиво и лимонад. Вануа угрюм, силен, необщителен. Только при виде Оли губы его раздвигаются, обнажая зубы, потемневшие от красного вина и табака. Она напоминает ему умершую от туберкулеза дочку. Оля маленькая, тоненькая, при знакомстве посмотрела на Ладо, словно спрашивая: вам помочь? Глазки у нее такие блестящие, что невольно зажмуриваешься, когда встречаешься с ней взглядом. Где они впервые увиделись — на занятиях кружка или у каких-то знакомых? Он ответил на ее взгляд вслух: — Да, помогите, мне негде переночевать. — Мать Оли обрадовалась, засуетилась, напоила его чаем и уложила спать на тахте во второй комнате, под портретом покойного мужа. В следующий раз он снова сказал: — Помогите, Оля. Познакомьте меня с Вануа. — Она их познакомила, и они посидели в духане раз и другой, а затем Вануа посадил на козлы своего друга Ладо, одетого в старую шинель, и они вместе развозили по городу лимонад и пиво, а заодно — ящики с нелегальной литературой. В третий раз Ладо сказал «Помогите», когда за ним увязался филер. Филер остался дежурить у ворот, а Оля открыла запертую обычно дверь, которая вела в квартиру Мариам, и попросила, чтобы Мариам выпустила Ладо через вторую дверь, выходящую на улицу. Вдова обрадовалась приключению. Они вдвоем, хихикая, переодели Ладо. Он благополучно ушел, а филер простоял у ворот до утра. И еще не раз Ладо соглашался, чтобы Оля помогла ему. Она покупала ему билет на бакинский поезд, приносила в

вагон свертки с листовками и брошюрами, сумки со шрифтом, встречала его и провожала... Казалось, что он делал одолжение, принимая ее помощь, а она молча благодарила за то, что он великодушно предоставлял ей такую возможность. Оля напоминала ему старого друга Датику Деметрашвили. Он тоже никогда ничего не требовал, лишь тихо радовался, когда видел Ладо, и с ним можно было хорошо молчать, не чувствуя ни стеснения, ни неловкости. Оля, как и Датику, незаметно исчезала из комнаты, если замечала, что Ладо задумался.

Ладо повернулся на койке, посмотрел в окно, за которым розовело рассветное небо, и снова закрыл глаза. Как же случилось, что он ничего не замечал тогда? Ни суетни старушки-матери — конечно, она радовалась, что дочка, наконец, стала приводить домой парня и куда-то с ним часто уходит. Ни помощи Оли, которую он принимал, как само собой разумеющееся. Как он не понял тогда — все, что делала Оля, делалось ею только ради него самого. Так умывают рожицу младшей сестре, так стирают белье брату. Оля в самом деле по ночам, когда он спал, стирала ему белье, и он, проснувшись, находил на стуле выглаженную рубашу и носки. Но Ладо не был ей братом...

Он снова повернулся на другой бок. Дурно. Не то, что он прошел мимо, не ответил, он не мог ничем ответить, а то, что он даже не заметил чувства, которое ничего не требовало взамен, которое было, потому что было. Он не может даже представить лица Оли, помнит лишь ее блестящие глаза. Наверное, она не узнала бы его с такой длинной бородой, в истрепанной одежде, сутулым — он сам ощущает, что сутулится, с запавшими щеками — трогая лицо, замечает, как ввалились у него щеки, постаревшим — конечно, он

выглядит намного старше своих двадцати семи лет. Однажды, когда он спускал из окна на нитке записку, часовой крикнул ему: — Эй, дед, ты что делаешь? — Кто-то передавал ему несколько раз виноград и персики, но он так и не узнал, кто приносил передачи. В тюрьме он не страдает, как другие заключенные, от отсутствия женщин, его плоть не ощущает голода. Ведь он не знал женской любви. Маша? Огонек, который так и не разгорелся и давно угас.

Ладо попытался вспомнить другие встречи, но не мог припомнить ни одной — с кем-то он говорил в поезде, с кем-то шутил на улице, с кем-то спорил в кружке, и все они остались в памяти, как бесполое существа, одетые в платья, в юбки и кофты. Может быть, иначе нельзя, может быть, любя всех людей, невозможно любить одного, потому что, отдавая любовь одному, обделяешь многих? Или, думая так, он лишь утешает себя, заглушает тоску по тому, чего не познал: по жене, по семье?

Свет раннего солнца, отраженный небом, заполнил камеру, пощекотал ему веки. Он открыл глаза и подумал, что с тех пор, как его привезли в Метехи, он видит только заходящее солнце. Но это лучше, чем совсем не видеть солнца. Если бы у него не отобрали тетради и карандаши, он написал бы стихи, которые сегодня, как почти всегда за последнее время, зарождаются в нем. Обидно, если жандармы не отдадут Сандро или Нико тетради со стихами. Он никогда не сохранял клочков бумаги, на которых записывал рифмованные строчки. Бог весть, были ли они удачными, он никогда не придавал этому значения, не мнил себя поэтом. Но стихи, которые записаны в тетрадях, выражают то, что беспокоит и тревожит, и хочется, чтобы они сохранились. Дежурного офицера содержание стихов перестало интересовать, когда он увидел,

что в них нет призывов идти на баррикады и свергнуть правительство, лишь одного он стал допытываться, кто тот Володя, памяти которого посвящены стихи, а когда Ладо напомнил, что его самого зовут Владимиром, офицер переглянулся с унтером и, проявляя проницательность, сказал: — Не морочьте нам голову, назовите фамилию. Раз он умер, ему ваше признание не повредит. — Ничего не добившись, они ушли и унесли обе тетради, и толстую, и ту, в которой были стихотворения, написанные начерно, он хотел переписать их заново. Особенно жалко толстую тетрадь, в которой записано почти сто стихотворений. Может быть, без подписи или под псевдонимом опубликуют те стихи, которые он сумел переправить на волю раньше? Тщеславное желание увидеть свои стихи напечатанными, видимо, присуще всем, кто берется за перо. Он усмехнулся. Какое, в самом деле, имеет значение, опубликуют его вирши или нет! Они будут дороги только близким как память о нем.

Послышался звон колокола в тюремной церкви. Заутрени. Сегодня какой-то праздник. Видимо, из-за праздника не пришли вовремя за парашей.

Ладо приподнялся и встал. Сегодня опять будет знойный день, и снова принесут теплую, отдающую гнилью воду. Он подошел к окну, посмотрел на оживший, уже покрывающийся пыльным маревом город. Со стороны Сионского собора тоже доносился колокольный звон. А в камерах тихо. Наверное, арестантов погнали в церковь. Какое издевательство над людьми! Как священники, верующие в бога, оправдывают для себя служение убийцам, нарушающим все заповеди Христа? Задумываются ли они вообще над этим? Сейчас в тюремной церкви священник говорит арестантам — людям, которых убивают, — «не убий» и призывает их прощать убийц!

Откуда-то снизу послышался плач ребенка, совсем еще маленького. Наверное, мать несет его на руках. Может быть, к врачу, потому что ребенок не капризничал, а плакал, как плачут, жалуясь на боль.

Глаза у Ладо стали влажными. И раньше он не стыдился слез, а теперь любое, самое пустячное переживание заставляет его плакать. Но это не от того, что он ослаб духом, просто душа его еще больше обнажилась, словно сбросив с себя последние покровы. Никогда он не навязывал своего другим, но и не понимал тех, кто запирает чувства на замок, остерегаясь открыто показать окружающим свою радость или горе. Разучается плакать тот солдат, который много убивал и душа которого стала опустошенной, как ограбленный дом. К чему стремятся люди, которые, насилуя свои чувства, стоят с сухими глазами у постели умирающего или разбрасывают саркастические остроты, в то время как их раздирает скорбь? Насилие над другими и над собой — родные братья. Надо уметь брать на свои плечи тяжкую ношу людей и, не скупясь, раздавать им свою даже самую малую радость, не боясь остаться ни с чем. Поймет ли это когда-нибудь Лунич? Он ушел из карцера с совершенной враждебностью, которой не проявлял даже в начале следствия. Но ничего другого ему нельзя было сказать — на искренность не отвечают словами лживого утешения. Лунич бессознательно ищет замену своим, тоже неосознанным стремлениям к высшему, но сумеет ли он понять свою слабость и стать хозяином своей судьбы?

Где-то внизу послышался крик:

— Земля, земля! Черноземный земля!

Если бы можно было заполучить горсть сырой, пахнущей древесными корнями земли, зарыться в нее лицом или помять в пальцах, радуясь тому, что она

такая жирная, плодородная... А еще лучше обвязать голову платком от солнца, взять в руки мотыгу, потрогать ее острые края и вонзить в землю, вырывая сорняк и подбивая холмик к свежему, крепкому ростку кукурузы. Кто он, этот мудрец, напоминающий горожанам своим зычным зовом о земле? Что поделяет сейчас Варлам — косит сено, пасет овец или выслушивает больного? Ладо словно увидел Варлама воочию, ощутил пожатие его крепкой, сильной руки.

Нет, не только Варлама хочется увидеть. Прийти бы вместе с Варламом к отцу и сказать ему, что его сын виноват, что он был жесток к отцу, когда грубо называл его попом, когда высыпал собранное отцом зерно в болото, когда... Да разве только к отцу своему он был жесток? В чем провинился бедняк-осетин, которого он в Джаве ударил овцой, и разве виновата была овца, которой он ударил? И разве не жестока была шутка, которую он разыграл с Дмитрием Каландаришвили, когда водил его полчаса по городу, заставляя думать, что позади жандарм? И не спешил ли он иной раз осудить человека, стесненного обстоятельствами жизни, необходимостью думать о матери или ребенке, который поступал, действовал не так, как он? Что заставляет человека совершать проступки, пусть даже незначительные, которые потом все чаще и чаще вспоминаются, жгут стыдом? Ничто дурное не может быть заглажено. Простить можно другого, но не себя. Что бы ты ни сделал, твоя ошибка, твоя грубость, твоя жестокость останутся с тобой, их не переложить на чужие плечи...

С подъема, огибающего подножье тюрьмы, доносились шаги подкованных сапог, голоса.

Он посмотрел вниз. Полицейские вели толпу арестованных. Они скрылись за выступом скалы.

Ладо прижался лбом к решетке.

Очнулся он от криков, доносившихся с другого берега Куры.

Крестьяне остановили у откоса арбы и по-армянски спрашивали, не здесь ли сидят их родичи. Чтобы лучше слышать, Ладо взобрался на подоконник. Откуда-то снизу часовой крикнул, чтобы Ладо перестал переговариваться. Ладо, не видя его, сказал:

— Зачем шумишь, братец? Дай поговорить, люди родных разыскивают. Твое дело стоять на посту, вот и стой, а нам не мешай.

Продолжая переговариваться с крестьянами, Ладо услышал, как часовой засвистел. Потом увидел самого часового — тот сошел с поста, подвинулся на скалу, снял с плеча винтовку и крикнул визгливым бабьим голосом:

— Замолчи, не то плохо тебе будет!

Маленький, в огромной, напозавшей на уши фуражке, он казался сверху недоразвитым и коротконогим. Ладо сказал ему, укоряя:

— Да перестань ты, братец, мешать! Что у тебя, отца-матери нету? Там вон сын об отце узнать хочет... Эгей, люди, про уезд и деревню понял, фамилии назовите, фамилии! Имена, фамилии, говорю!

Крестьяне, не расслышав, продолжали выкрикивать название деревни. Появились полицейские, стали прогонять крестьян.

Ладо, прижавшись грудью к решетке, просунул сквозь нее руки и, приложив ладони ко рту, закричал:

— Эй, городовые, оставьте людей в покое!

Часовой снова засвистел. К нему подошел подтянутый ефрейтор, угрюмо посмотрел вверх, на Ладо, и что-то сказал часовому. Часовой крикнул:

— Сойди с окна, стрелять буду!

Лицо у него было какое-то рыбье, бессмысленное. Новая смена тюремной охраны отличалась злобно-

стью и ожесточенностью. Пройдет немало времени, пока удастся разговорить их, смягчить.

На другом берегу реки была свалка. Городовой ударил по лицу старика, парень оттолкнул городского. Второй городской ударил парня по голове рукояткой шашки.

— Прекратите! — закричал Ладос. — Прекратите! Не имеете права!

В ответ он услышал громкую ругань городских и стал трясти руками решетку.

— Прекратите-е!

— Сойди, не то выстрелю! — вопил часовой.

— Не имеешь права стрелять. Уймись, братец, ради бога!

Часовой поднял винтовку и прицелился в него.

Видимо, часовой, стоящий на скале, был замечен с другого берега, потому что женщины принялись махать руками, чтобы Ладос сошел с окна. Он даже услышал тонкий крик:

— Спрячьтесь, спрячьтесь!

Они не знали, что часовой не выстрелит, что он только пугает, сам пугаясь своих угроз.

Прохожие остановились возле крестьян — одни выходили из бань, другие высыпали из лавок и духанов.

— Помогите им! — закричал Ладос. — Уймите городских!

Кто-то в студенческой фуражке встал между городовым и парнем, заслоняя его, другие подхватили на руки старика и стали объясняться с полицейскими.

— Стреляю! — проверещал часовой.

— Да что ты пристал ко мне! — с досадой отозвался Ладос. — Стреляй!

Женщины на другом берегу истошно закричали...

ТИФЛИССКОМУ ГУБЕРНАТОРУ

17 августа 1903 г. № 6723

Имею честь донести Вашему превосходительству, что сего числа около 10¹/₄ часов утра на посту № 6, часовым этого поста рядовым 2 роты I Стрелкового батальона Сергеем Дергилевым был произведен выстрел в окно второго этажа, где помещался в одиночной камере № 4 политический арестант Владимир КЕЦХОВЕЛИ, обвиняемый в преступлении, предусмотренном 251, 252 и 318 ст. ст. Уложения о наказаниях. За выстрелом последовала моментальная смерть Кецховели...

Заведующий Тифлиским Метехским тюремным замком

А. Милов.

Дыхание земли

За стеной тихо разговаривали сыновья и невестка.

Старый Буцефал громко всхрапывал в конюшне, рядом, в хлеву, пережевывала жвачку корова.

Все было как обычно, но Захарию казалось, что звуки эти доносятся из прошлого. С той минуты, как заплаканный Датиго Деметрашвили привез весть об убийстве Ладо, время для Захария словно пошло в обратном направлении.

Ладо надо было похоронить, и они поехали в город — и Нико, и Сандро, и Ваню, только освободившийся от солдатчины, и Датиго, который ни на шаг не отходил от Захария. Знакомый по прошлогоднему приезду в Тифлис Михо Бочоридзе посоветовал пойти в Метехи. Может быть, отцу, священнику, отдадут тело Ладо.

Они поехали в Метехи.

К смотрителю тюрьмы Милову Захария и Нико впустили через час.

Милов сидел за столом и что-то писал.

Увидев священника, Милов привстал, показал рукой на кресло.

— Прошу садиться. Слушаю вас.

Нико назвал отца и себя, сказал по-русски, что отец и он покорнейше просят выдать им тело убитого Владимира Кецховели для предания земле по христианскому обряду.

Милов снова привстал и, глядя на Захария, сказал:

— Я искренне соболезную вам в вашем горе. Я сам отец, я весьма понимаю вас.

Нико перевел, и Захарий облегченно вздохнул.

— Но,— продолжал Милов, сочувственно поглядывая на священника,— я вынужден отказать вам. Ваш сын содержался в тюрьме как политический преступник.

— Спроси у него,— сказал Захарий,— разве Ладое все еще заключенный? Разве после того, как его убили, он не обрел свободу и не стал просто моим сыном?

Милов выслушал вопрос и наклонил голову.

— Ваш отец прав как христианин. Однако именно он, служитель культа, должен понять, что все мы должны руководствоваться не личными интересами, а, в первую очередь, благом общества, государства.

— Государству не будет нанесен вред, если я предаю прах сына земле,— сказал Захарий.

— Я буду откровенен,— сказал Милов,— нам известно, что похороны вашего сына будут превращены в политическую демонстрацию. Могут быть беспорядки, новые жертвы...

— Мы увезем его в село Тквиави и похороним рядом с матерью,— сказал Захарий.— Вы говорите,

что вы сами отец. Представьте себе, что ваш сын...

— Мой сын? — Милов вдруг вскочил, подбежал к двери, вернулся к столу и, сцепив пальцы до белизны, быстро проговорил: — Мой сын? А вы знаете, что делал ваш сын? С того часа, как он поступил в тюрьму, у нас не было ни одного спокойного дня. Он пел песни, он смеялся, он был вожаком буйств и демонстраций политических арестантов, он потребовал, чтобы с окон были сняты щиты, он разбил табуреткой все стекла, он...

У Милова тряслись губы, он рухнул в кресло и посмотрел на священника глазами затравленного зверя.

— Видит бог, я не хотел его смерти, — сказал он, — поверьте мне, батюшка.

— Если он верит в бога, — сурово произнес Захарий, — пусть отдаст мне сына. Спроси его, Нико, он верит в бога?

Он встал. Милов посмотрел на стоптанные сапоги священника, потер рукой лоб и процедил сквозь зубы:

— Служителю культа негоже задавать мне такой вопрос. Все мы служим богу и государю-императору.

— Скажи ему, что он врет. Он не верит в бога. Пойдем, Нико.

Солдат, дожидавшийся в приемной, повел их темными коридорами и вывел на тюремный двор. Не успели они пройти несколько шагов, как во всех окнах, закрытых решетками, появились лица заключенных. Из одного окна высунулась рука с платком. Кто-то закричал:

— Ладо-о-о!..

Рев прокатился по двору, какой-то офицер догнал их и крикнул:

— Не останавливаться!

Нико помахал арестантам рукой. Захарий втянул голову в плечи и заторопился к воротам. По двору забегали офицеры и солдаты охраны.

Захарий и Нико стали спускаться по узенькой улочке к мосту, навстречу им бежали Сандро, Вано и Давид, а сверху со скалы из стен тюремного замка все несли протяжный крик:

— О-о-о-о...

Когда они подошли к мечети, Захарий оглянулся на стены тюрьмы и спросил:

— Где сидел Ладо?

— Во-он там, на втором этаже,— показал рукой Нико.

Захарий долго смотрел на темное зарешеченное окно, потом опустил голову и пошел вперед.

Они доехали на конке до Эриванской площади. Давид повел их по Сололакской улице до Лабораторной, на которой помещалась канцелярия тифлисского губернатора. Толстый, красноносый, довольный жизнью и собой офицер сказал, что им лучше обратиться в канцелярию. В канцелярии засуетились, пропустили их в кабинет самого полицмейстера, который басом произнес: «Только к губернатору. К самому губернатору». Губернатор их не принял, передав, чтобы они обратились к начальнику жандармского управления. Из канцелярии полковника их отправили в губернское управление. В губернском управлении очень вежливый молодой человек сказал, что им надлежит написать заявление и явиться за ответом на другой день утром. Нико написал заявление, а Захарий подписал его. Они переночевали на квартире Джугели, и когда пришли в губернское управление, вежливый молодой чиновник объявил им: начальник управления очень огорчен, что не может

исполнить просьбу священника, дело в том, что тело уже похоронено, а извлечь его из могилы, разумеется, невозможно. Сандро стал кричать, что их обманывают. Пусть покажут могилу. Чиновник сказал, что за разрешением надо пойти в жандармское управление. Они пошли в жандармское управление. Им попался в дверях смуглый худощавый ротмистр. Нико стал объяснять, что им нужно. Ротмистр окинул быстрым взглядом Захария и Сандро, нахмурился и объяснил, к кому им надо пройти. Нужный им человек оказался тем, с кем они говорили вчера, и он сказал, что могилу им покажут. Им дали казака в сопровождение, и они пошли через город, и долго шли под солнцем, пока не дошли до военного кладбища, обнесенного колючей проволокой, и там могильщик показал им свежую могилу с деревянным крестом, на котором была сделана надпись по-русски: «Владимир Захарьевич Кецховели. Умер 17 августа 1903 г.»

Сандро встал на колени и поцеловал могильный холм. Нико тоже. Давид и Вано заплакали.

Захарий посмотрел на колючую проволоку, обжигавшую кладбище.

— А рядом кто похоронен? — спросил он у Нико.

— Солдат какой-то.

Захарий подумал, что может быть здесь, на этом кладбище, будет лежать и тот солдат, который убил Ладю.

Он вдруг засомневался и спросил у могильщика, когда похоронили Ладю, могильщик ответил, что тело привезли из тюрьмы этой ночью и два солдата помогли ему вырыть могилу.

Казаки вывели их с кладбища. Захарий посмотрел на город, покрытый жаркой пыльной хмарью, и тихо сказал:

— Будьте вы прокляты пред всеми скотами и 351

пред всеми зверями, будете вы ходить на чреве вашем и будете есть прах во все дни жизни вашей!

Казак ушел. Они зашли в духан, чтобы поесть и выпить вина за упокой души Ладо, и взяли с собой могильщика. Сандро достал полученные им письма Ладо, которые он решил передать в комитет, и стал читать вслух последнее письмо.

Захарий сидел молча, потом поднял голову и посмотрел на сыновей.

— Только обрекая себя, можно добиться в наших условиях человеческого отношения со стороны тех, кто захватил в свои руки нашу судьбу... — читал Сандро. — «Терпи» — говоришь ты. Терпение — хорошее дело, достоинство человека. Однако там, где дело касается человеческого достоинства, прав и чувств, терпение — это либо трусость, либо несознательность, во всяком случае — позор и разложение человеческого характера. Жизнь дорога, всем хочется жить. Но если надругаются над твоей святыней, попирают ногами и душу твою и всякое человеческое достоинство, на что тогда или душа или жизнь?! «Сила соломинку ломит»... Нет, душа моя, не сила ломит соломинку, а только лишь истина ломит соломинку, равняет горы и доли. И если сегодня истину попирают свиньи, если они торжествуют и самодовольно похрюкивают, если рыла у них вымазаны кровью правды и справедливости и они орут во все горло: «Мы победили! Нет больше солнца! Да здравствует хлев и стойло!» — не верьте этому. Победа не на их стороне. Они могут одержать победу над Ладом, Петром, Иваном, но одержать победу над истиной свинье не дано, и не к лицу отдельному человеку, если он прежде всего человек, падать ниц и поклониться свинье, потому что она сильнее Ладом, Петра и Ивана. Пасть жертвой?.. Что ж, когда необходимо;

человек не должен останавливаться и перед жертвой, хотя бы даже грядущее сулило ему славу...

«Какую славу? — подумал Захарий. — Какой славой он жертвовал?»

— Самопожертвование — жертва в наше время и в наших условиях необходимая и неизбежная не только в том случае, когда, как говорят, нет силы выше головы, — читал Сандро. — Несчастье в том и заключается, что совершенно незначительного повода достаточно для того, чтобы человек принес себя в жертву в тех дурацких и запутанных условиях, что представляет собой современный строй...

— Правильно, — сказал могильщик, — сколько таких я закопал!

«Неужели он понял то, чего не могу понять я? — подумал Захарий и посмотрел на загорелое, здоровое лицо могильщика, лицо человека, уверенного в том, что без работы он не останется и семью свою всегда прокормит. — Нет, ничего могильщик не понял».

— Выпей еще, — сказал ему Захарий, — за вечную память о моем сыне...

Голоса за стеной умолкли. Было уже за полночь.

Захарий посмотрел на иконы. Фитиль лампадки свернулся набок, но Захарий не стал поправлять его, разделся, лег и забылся.

Разбудил его чей-то смех. Он поднял голову. Светало. Ему снова показалось, что во дворе кто-то смеется — открыто, широко, раскатисто, как мог смеяться только один Ладо.

После того, как Деметрашвили, задышавшись, сообщил: «Ладо убили», Захарий непрестанно думал о сыне, заново переживая обиды, которые терпел от него, ставшего за годы разлуки почти чужим, и при этом чувствовал непонятную вину перед ним и боль от того, что никогда уже не услышит его голос.

— Мой мальчик, — прошептал Захарий.

Он встал, надел старую рясу, нарубил дров, подоил корову, потом зашел в стойло, где спал его старый Буцефал, дал ему корм и зашагал к церкви.

Взошло солнце, крест на церкви загорелся, с карагачей слетела, каркая, стая ворон.

Захарий отпер дверь церкви, подмел пол, прибрал в алтаре, отошел к двери и, поглядывая на иконостас, стал снова вспоминать город, и тюрьму, и губернатора, и чиновников. Он смотрел на врата, через которые столько раз выходил к молящимся, на икону Спасителя, на икону Божьей Матери и горько думал: «Мое присутствие, моя канцелярия, и ряса на мне, как мундир, и крест вместо погон. Чему я служил здесь? Только не богу. Ладо это видел, а я был слепым».

Захарий вышел из церкви, отворил дверь сарайчика, в котором хранил топор с длинной ручкой для колки дров, взял его и снова пошел в церковь. Услышав чей-то шепот, он остановился и дал глазам привыкнуть к полумраку.

Посреди церкви стояла на коленях Даре. Незрячие глаза ее, казалось, смотрели на него, и он стал растерянно перекладывать топор из руки в руку.

Захарий вдруг услышал то, что она шептала или выкрикивала:

— Горе мне, горе... Почему ты ушел? Ты хороший, я люблю тебя... Я жду, когда ты вернешься... Ты ведь вернешься, Ладо?

Деревня знала о смерти Ладо, и Даре тоже об этом услышала. Она разговаривала с Ладо. Или, может, молилась ему?

Неужели эта слепая, безумная старуха понимает то, чего не мог понять он? Впервые Захарий пожалел Даре, захотел утешить, он чуть не сказал вслух: «Не

плачь, Ладо вернется», но сдержался, чтобы не испугать ее.

Выйдя из церкви, Захарий отшвырнул топор и пошел к дому, воле которого стояли соседские женщины в черных траурных платках. Не глядя на них, вошел к себе, сел на тахту и обхватил руками голову.

Сдержанный гул множества голосов донесся до его слуха. Скрипнула дверь. Вошел Нико.

— Отец, тебе надо выйти.

— Оставьте меня, — попросил Захарий.

— Отец, там люди...

Захарий со стоном поднялся и медленно вышел на балкон.

Лужайка перед домом была запружена народом. Тквиавские крестьяне и помещики, жители окрестных сел, ремесленники из Гори и пастухи-осетины в мохнатых бараньих шапках — сотни людей молча смотрели на Захария, и только бормотание Даре, которая ходила среди них, нарушало тишину. Чего они хотят, чего ждут от него? Он обвел глазами лица людей, знакомых и незнакомых, и теперь только понял, что Ладо всю свою жизнь пробивался к нему — не к тому, который служил в своей церковной канцелярии, а к тому, кто мотыжил землю и бросал в нее зерна кукурузы. А он отстранял сына и не принимал в себя. Воротник душил Захария, он поднял руку, сорвал с груди крест, разорвав цепочку, и бросил его на землю. По толпе пронесся общий вздох, вздох удивления, испуга.

Глядя на Даре, Захарий сказал:

— Он вернется.

— Старик помешался с горя, — прошептал кто-то. — Уведи его, Нико.

Круто повернувшись, Захарий ушел в свою комнату, плотно притворил за собой дверь, лег на тахту

и облегченно заплакал. Ладо был теперь в нем, и он был в Ладо. Можно умирать, потому что свершилось все, ради чего он породил Ладо. Со смертью сына закончилась и его жизнь, ибо он исполнил свое земное назначение.



У Лунича дергалось веко. Никогда он не читал ничего более мерзкого, чем приказ по Первой Кавказской стрелковой бригаде генерала Светлова. Полковнику Габаеву и всему батальону за «молодецкий поступок» часового Дергилева объявлялась искренняя благодарность. Караульный унтер-офицер Габуния награждался пятью рублями, разводящий, ефрейтор Егоров — четырьмя, а рядовой Дергилев — тремя рублями. Это было пакостно. И до чего наивны люди, даже некоторые сотрудники управления. Узнав о выстреле в Метехском замке, они предположили, что Милова снимут, а командира батальона Габаева разжалуют. Другие уверяли, что козлом отпущения окажется караульный унтер-офицер, а часового отдадут под суд. Полковник Ковалевский вызвал к себе Луничу и спросил, чем им может грозить столь досадное происшествие, слишком уж широка огласка. (Идиоты, не могли создать дело о попытке к бегству!) Лунич объяснил, что управление в данном случае ни при чем, а с Миловым и Габаевым пусть разбирается комиссия, которую назначили для расследования обстоятельств убийства.

Потом полковник Ковалевский вновь попросил его к себе и бодро приказал, чтобы Лунич написал на его имя рапорт, в котором перечислил бы все, какие помнит, нарушения со стороны покойного Кецховели инструкции о содержании политических арестантов.

Лунич вопросительно посмотрел на начальника.— Наверху,— улыбаясь, объяснил Ковалевский,— распорядились погасить дело.— Заботимся о Милове? — саркастически спросил Лунич.— Заботимся об авторитете власти, государства,— без улыбки ответил Ковалевский.— Прошу прощения,— сказал Лунич,— но более всего запачкал доброе имя государства генерал Светлов своим приказом.— Выражаю вам неодобрение,— буркнул Ковалевский,— раз приказ обнародован, значит... не положено обсуждать то, что одобрено свыше...

Узнав о том, что Кецховели нет в живых, Лунич сначала почувствовал успокоение и расслабленность. Смерть Кецховели разорвала зависимость, которую Лунич не переставал ощущать, часто думая об узнике Метехского замка. А сейчас на душе было мутно. Остолоп Гришка вдруг поинтересовался:

— Правду говорят, что в тюрьме хорошего человека убили?

Лунич рассвирепел и швырнул в Гришку сапогом.

— Пошел вон! Подожди. Принеси стакан водки с ледника и соленый огурец.

Сстроив презрительную мину, Гришка вышел, принес запотевший стакан с водкой и огурчик на тарелке. Лунич выпил водку залпом, закусил огурцом и лег. Он стал думать, что во всем происшедшем есть своя закономерность, от которой никому никуда не уйти. Все-таки жаль, что Кецховели застрелили. Да, это самое настоящее убийство, и все причастны к нему — и министр, и губернатор, и Дебиль, и полковник Габаев, и Милов, и тот подлец, который предавал Кецховели, присылая анонимные письма. Становись-ка и ты, ротмистр, рядом с часовым, рядом с Габаевым и Дебилем — это ты воспрепятствовал тому, чтобы Кецховели выслали в Сибирь, это ты подсказал

Милову, как упечь Кецховели в темный карцер, это ты сказал Габаеву: «Ему дорога на виселицу», — или еще как-то, и, в конце концов, не ты ли создавал дело Кецховели, не ты ли с азартом, подобно гончей, обнюхивал каждый его шаг, а потом, когда тебе некуда было деться, не к нему ли ты пошел и, услышав правду, не ты ли снова стал подталкивать его к смерти?

— Ты такой же негодяй, как и другие! — громко сказал Лунич и засмеялся. Все уйдет, как вода, — и позор, и злорадство, и подлость, все забудется, канет в прошлое. Когда-нибудь сойдет в землю и Лунич. Неужели это правда, что все уходит? Что-то ведь должно после человека оставаться?

Впервые, сколько Лунич себя помнил, ему не спалось. Основательно он все же переутомился. Надо подать рапорт об отпуске. Новых дел за ним не числится, и у Ковалевского не будет оснований задерживать его.

Заснул он с трудом, и во сне его что-то душило.

Лунич проснулся весь в поту.

Никак лето не отступит, с утра печет, и пыль, осевшая за ночь, уже вползает в окно, как вчера и позавчера. Начнутся дожди, и она превратится в грязь. Как в жизни — одна лишь смена и происходит: грязь превращается в пыль, пыль снова в грязь. Да, жаль, жаль, что ухлопали этого бородатого мученика. Он был совсем еще молод, и в нем чувствовалось благородство. Дворянин, ничего не скажешь. Дворянство тоже разрушается, на каждом шагу встречаешь интеллигентов из дворян — вывихнутых или юродивых, и все они, кто на словах, кто на деле, хотят сложить голову за народ. Что ж, сложат свои просвещенные головушки, и останутся из дворян на земле одни Дебилы. Мерзко, все мерзко, все надое-

ло — и служба, и ресторан Дворянского собрания, и Ортачалские сады, и породистая морда Ковалевского.

— Что ты вчера нес насчет убийства в Метехи? — спросил он во время завтрака у Гришки. — Кто тебе сказал?

— На каждом углу говорят. Убили, говорят, доброго человека.

— Разболтался! Иди мундир приготовь.

Он оделся, вышел и пошел обычным своим путем, по Михайловскому проспекту, и снова задумался о том, что оставляет после своей смерти человек, кроме, конечно, движимого и недвижимого имущества. Что, например, останется в мире после его смерти? Отца уже не будет в живых, офицеры управления сделают все, что полагается в таких случаях, — явятся на отпевание, взвод солдат трижды пальнет в небо. Никто и слезы не уронит, разве что дурак Гришка.

Лунич дошел до переулка, в котором находилась парикмахерская старика-поляка, и его обуяло любопытство посмотреть, как старик встретит его. Жалкий человек, зря Лунич так сильно ударил его тогда. Извиниться перед ним, что ли? Что было, то было, пан, я зло шутил с вами, но и вы хороши — чуть человека не зарезали, забудем о прошлом оба, и не станем таить в сердце зла. Тьфу, слюни какие-то!

Подойдя вплотную к месту, где была парикмахерская, он увидел разобрannую стену и двух каменщиков, укладывающих кирпичи. Надписи «Исключительно для господ. Парикмахер из Варшавы» не было. Кажется, старикан предпочел за лучшее подобру-поздорову унести ноги. Что ж, значит, не зря он дал ему кулаком по морде.

— Эй, вы, — спросил Лунич у рабочих, — куда парикмахерская делась?

Старик-каменщик выпрямился и, медленно подбирая русские слова, ответил:

— Нету. Больше нету. Хозяин на веревка себя повесил. Знаком был?

Лунич зашагал обратно. Задержалось веко. Нехватало еще пожалеть о смерти какого-то парикмахера! Не от угрызений же совести он повесился, скорее всего, с перепугу. Лунич засвистел траурный марш Шопена. Все прах, все тлен, все вращение жерновов жизни, неумолимых и равнодушных.

Будь Кецховели жив, Лунич, махнув на все рукой, снова, и не в пьяном виде, поехал бы в Метехи и рассказал обо всем, что тяжело, как у больного инфлюэнцей, ворочалось в голове. Но Кецховели лежит на военном кладбище... Не верится в это. Да, не верится!

Лунич круто остановился и посмотрел вокруг себя ничего не видящими глазами. Неужели это правда, неужели одни и живут мертво, а другие, как Кецховели, даже погибая, не уходят из жизни?

Мысли его теперь были какие-то туманные. Он вяло подумал: а что если поехать к Амалии? Не для того, чтобы вернуться к прошлому. К Амалии надо прийти с другим, нужно забыть о мужском достоинстве, вообще забыть о себе и сказать, что он во всем виноват, он, и один он.

Остановив фаэтон, Лунич поехал на Лермонтовскую.

Дом Амалии был заперт.

Лунич позвонил к соседям. Не знают ли они?.. Оказалось, что княгиня уехала в деревню в имение мужа.

Он вернулся домой рано, к перепугу Гришки, у которого в гостях оказалась молодая баба, по-деревенски повязанная платком.

— Родня,— соврал Гришка,— из Расеи приехала, место прислуги ищет.

— И уходить ей сейчас не хочется, верно? — спросил Лунич.

— Так точно, ваше-родие.

— Что ж, пусть побудет.

Вот уж не знал он, что его денщик умеет так хорошо улыбаться.

— Вам письмо. Под дверь подбросили, без штемпеля,— сказал Гришка.

Лунич переоделся, присел у окна в кресло и стал рассматривать конверт.

«Г-ну Луничу». Печатные буквы. Или безграмотен, или не хочет показать почерка. Он вскрыл конверт. Снова азбука Морзе. Взяв карандаш, Лунич расшифровал анонимку. Автор предлагал весьма ценные сведения, которые невозможно изложить в письменном виде. По причине исключительного доверия к господину Луничу хочет встретиться с ним, но без свидетелей, ибо остерегается огласки. Дабы не привлечь к себе внимания, господин Лунич должен быть в статском. Место свидания — за поселком Нахаловка, возле рощи. У автора сих строк будет в руках букет. Время — в понедельник, от 6 до 7 часов вечера. В случае отсутствия доверия со стороны господина Луничав автор вынужден будет адресоваться непосредственно к господину Ковалевскому.

Лунич отбросил письмо и задумался. Кого еще хочет предать «автор сих строк»? Или надеется сторговаться, договориться о постоянной службе? На ловушку не похоже, революционеры совершают террористические акты с шумом, с широкой оглаской, где-нибудь на главном проспекте. И эта просьба, чтобы Лунич был в статском. Осведомитель явно боится своих. Пойти, но предварительно выслать на место

филеров? Еще испугаешь осведомителя. Надо пойти, и пойти одному. Никто не успеет помешать Луничу выхватить револьвер и... Впрочем, пусть жизнь сама распорядится без его участия и вмешательства. Пустота, пустота! Какое совпадение: и история с Амалией, и случай с парикмахером, и служебные неприятности. Может быть, дело вовсе не в них, а в нем самом: что-то зрело внутри и прорвалось — сразу, как гнойник?

Лунич написал письмо отцу и лег спать.

Утром в управление принесли разбросанные по городу листовки, в которых говорилось об убийстве Кецховели. Лунич не стал их читать. После службы, переодевшись дома, он поехал на фазтоне в Нахаловку. Фазтон был здесь в диковинку, за ним бежали дети.

— Дальше дороги нет, господин, — сказал кучер, когда они добрались по ухабам до последних лачуг, — и так чуть рессоры не поломал.

Лунич пошел пешком.

— Подождешь меня здесь, час примерно.

Возле рощи никого не было видно. Лунич поднялся по склону, посмотрел на город, затянутый пыльной пеленой, и зашагал обратно, досадуя, что зря потратил время.

Из-за кустов появился парень с букетом бес-смертника в руках. Одно плечо у него было чуть выше другого, острый подбородок упирался в грудь, въедливые глаза впились в Лунича.

— Сюда, господин ротмистр, — громко позвал он.

Лунич, быстро переворошив в памяти случайных знакомых, припомнил горбуна, которому он в прошлом году дал тумака в Александровском саду. Видимо, уже тогда осведомитель искал с ним встречи.

Так вот кто был тайным врагом Кецховели! Лунич подошел ближе.

Горбун беспокойно осмотрелся.

— Тут пастухи ходят, господин ротмистр, — скавал он, — а мне не с руки, чтобы меня видели, я ведь приметный. Зайдемте за ежевику.

Он пошел вперед, Лунич за ним. Не успел он сделать несколько шагов, как на него набросилось несколько человек. Двое схватили за руки, кто-то вытянул из брючного кармана револьвер. Они возились, мешая друг другу, и старались повалить его на землю.

— Быстрее! Быстрее! — говорил кто-то. Лунич узнал голос горбуна.

Лунич не сопротивлялся, он был, как во сне, когда хочешь рвануться, высвободиться, но руки и ноги тебя не слушаются. Его повалили, связали ремнем руки за спиной, потом, немного поспорив, связали ноги. Вместе с горбуном их было четверо. Все, кроме него, держали в руках револьверы.

— Не тни, Темур, читай, — сказал кто-то.

Горбун достал из нагрудного кармана листок бумаги, развернул его и стал читать приговор. Лунич не слушал. Он уже все понял.

Наступило молчание. Лунич посмотрел на тех четверых, что стояли над ним. Двое были одеты лучше, и в их глазах нельзя было прочесть ничего, кроме спокойной решимости. Двое других старались не смотреть на него. В таком акте они, по-видимому, участвовали впервые. Заставив себя усмехнуться, он произнес:

— Поставьте меня. Я не хочу умирать лежа.

Они приподняли его, один распустил ремень, которым были связаны ноги, другой надел на голову Лунича шляпу.

Горбун скрикнул зубами.

— Приготовились!

Лунич посмотрел ему в глаза.

— Можно вас на два слова, господин Темур? Подойдите ближе.

Горбун сделал шаг вперед.

— На ваших письмах,— громко сказал Лунич,— сохранились отпечатки пальцев. Надеюсь, вам понятно, что это значит?

— Врешь, жандармская шкура! — крикнул горбун. Отскочив, он скомандовал: — Стреляйте!

* *
*

Варлам отложил мою рукопись и сказал:

— Как убили Лунича, я помню. Жандармы были в панике, но тех, кто убил его, не нашли.

Он сидел, как всегда, прямо, не опираясь на спинку стула. Я обнаружил, что сижу сгорбившись, и тоже выпрямился. В глазах Варлама промелькнули веселые искорки. Я люблю смотреть в глаза ему.

— Скажи мне, сынок,— спросил он,— а какова судьба рисунков и стихотворений Ладо?

— Я ничего не сумел найти, как и биографы жизни Ладо. Тетради со стихами и рисунками или уничтожены, или лежат в каком-нибудь архиве, ждут, пока их разыщут и установят, кто был автор.

Варлам задумался.

На кухне Машо вполголоса напевала песенку. Потом она заглянула в дверь. Удивительно они с Варламом похожи — не внешне даже, а в том, как ходят, говорят. Есть люди, весело опускающие себя на стул, есть другие — они неуверенно, робко, с боязнью даже садятся на табурет или на диван. А Варлам и Машо словно сливаются со стулом, на котором сидят, с зем-

лей, по которой ходят. Они не умеют и не хотят всегда заявлять о себе и только о себе, но они не умеют и виновато, снизу вверх смотреть на человека, будь он хоть трижды возвеличен и приподнят общественным, официальным мнением. И я, привыкнув к Варламу и Машо, чувствую себя с ними так, как в лесу, в горах, на море.

Варлам сжал мое плечо и спросил:

— Я не знал Темура, какова его дальнейшая судьба?

— Она за пределами книги. Вы уже знаете, что сказал ему перед смертью Лунич. Он выдумал насчет отпечатков пальцев, чтобы вселить в него страх. И Темур это понял. Он стал доносить на других революционеров, которые, как он считал, мешали ему двинуться, но, в конце концов, жандармы сумели установить личность автора анонимных доносов, и Темуру пришлось стать агентом охраны. История тех лет знает немало таких, как Темур. Вспомните хотя бы достаточно известного Азефа.

— Да, это самая мерзкая категория человечества, — сказал Варлам. — Ты заночуешь у нас?

— Нет, уеду.

— А ты знаешь, что и мы с Машо собираемся в путь?

— Вы?

— Да. Пойдем бродить. Сперва дойдем до Чаргали, потом в сторону Кахетии, через Картли спустимся в Имеретию и дальше... Ходить по земле вообще хорошо. Когда идешь — то в гору поднимаешься, на старую седую крепость взберешься и сверху на людей посмотришь, то спустишься в ущелье, взглянешь снизу на мир, и поймешь, что ты не великан, каким себе казался, когда стоял на горе, а трудяга-муравей, то пойдешь вброд через реку, и вода обдаст

тебя пеной, и начнет бить камнями, и ты ощутишь боль от ударов жизни, услышишь, как она клокочет...

— Разве отсюда нельзя услышать клочкотанье жизни и познать спокойствие? — спросил я. — Разве отсюда невозможно обернуться к прошлому и попытаться заглянуть в будущее? Разве не всюду человек может возомнить себя великаном и понять, что он всего лишь трудяга-муравей?

— Ты прав, жизнь всюду жизнь. Но я не могу не беспокоиться за Машо. Я хочу, чтобы она увидела и сравнила. Конечно, мы не будем в пути бездельничать и бродить зеваками-туристами. Я возьму с собой инструменты, и мы вдвоем всюду станем лечить людей.

Вошла Машо, накрыла на стол.

— Ты был в Тбилиси в январе 1946 года? — спросил Варлам.

— Нет.

— Могилу Ладо ведь долгое время не могли найти, но его младшему брату Ваню удалось разыскать того могильщика, который тайно, ночью хоронил Ладо, а потом привел к его могиле Захария с сыновьями и Датию Деметрашвили. Вместе со стариком-могильщиком Ваню нашел то место. Останки Ладо перенесли на старое Верийское кладбище. Спустя сорок три года после гибели Ладо, 14 января, я шел за его гробом...

Варлам разлил вино по бокалам и встал. Мы с Машо тоже встали.

— Ты помнишь, что писал Ладо в посвящении к своей статье «По поводу столетнего юбилея»? — спросил меня Варлам.

— Да, конечно.

— И ты ведь знаешь наш народный обычай — за иных ушедших из этого мира людей пить как за живых?

— Знаю.

— Выпьем именно так за Ладо. Я повторю его слова, они очень подходят к нему самому: за моего дорогого товарища, вращенного в горе и в радости, мученика за правду, того, кто возвышает нравственность человека, ободряет утомленных и угнетенных, разбивает оковы несправедливости, за защитника чести женщин, знаменосца свободы, любви и единства!

Мы встали. Я обнял Варлама. Мапо подставила мне щеку.

— Не провожайте меня,— сказал я,— и счастливого пути вам.

Варлам положил руки мне на плечи и посмотрел прямо в глаза.

— Ты кончил свою книгу, но разве ты больше не будешь приезжать к нам?

— Буду,— сказал я.— Вы же знаете... Может быть, вы еще что-то вспомните о Ладо, может, и я узнаю что-нибудь новое. А если нет, просто посидим, подумаем, поговорим о нем и о жизни.

Лохвицкий Михаил Юрьевич.

Л81 **Выстрел в Метехи. (Повесть о Ладо Кецохвели). 2-е изд. М., Политиздат, 1976.**

367 с, с ил. (Пламенные революционеры).

Л 10604—053
079(02)—76 БЗ—58—4—75

P2+9(C)17

Заведующий редакцией В. Г. Новохатко

Редактор А. П. Пастухова

Младший редактор А. Г. Мартынова

Иллюстрации художника Н. Н. Блиоха

Художественный редактор Г. Ф. Семиреченко

Технический редактор Н. Е. Трояновская

Подписано в печать с матриц 9 января 1976 г. Формат 70×108¹/₂. Бумага типографская № 1. Услови. печ. л. 16,71. Учетно-изд. л. 15,80. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. А 00004. Цена 74 коп.

Политиздат, 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано в типографии издательства «Уральский рабочий». Свердловск, проспект Ленина, 49. Заказ 559





